

**УФИМСКАЯ СИРЕНЬ**  
(Уфа в художественной и мемуарной литературе)

**Пётр Храмов**

**ИНОК**

**роман-воспоминание**

Уфа 2018

УДК 882  
ББК 84(2Рос=Рус)6-444  
Х 89

**Храмов, П. А.** Инок [Текст] : роман-воспоминание / Пётр Алексеевич Храмов ; подготовка текста А. Н. Борецкого и О. Г. Храмовой ; предисл. П. И. Фёдорова ; коммент. И. О. Прокофьевой, А. Л. Чечухи, Я. С. Свице ; дизайн обложки А. В. Кондрова. – Уфа : Изд-ль А.А. Словохотов, 2018. – 344 с. : ил. – (Уфимская сирень : Уфа в художественной и мемуарной литературе ; вып. 2).

*Легендарный роман уфимского художника Петра Алексеевича Храмова «Инок» о жизни православной семьи в советской Уфе в 40-80-е годы XX века уже публиковался в альманахе «Крещатик» (2003-2004), журнале «Бельские просторы» (2008-2011) и издательстве «Китан» (2012) и получил высокую оценку читателей и литературных критиков. Настоящее издание дополнено и переработано наследниками автора. Помимо самого произведения в книге впервые публикуются фотографии из семейного архива Храмовых, а также комментарии к роману и статьи об уфимских реалиях «Инока» и мозаиках Петра Храмова.*

**Редколлегия серии:** В.В. Борисова, Р.А. Гильмиянова, В.Н. Макарова, И.О. Прокофьева, С.Н. Сабирова, Я.С. Свице, Э.Ш. Файзуллина, П.И. Фёдоров, А.Л. Чечуха, С.Р. Чураева

## ЛЕТОПИСЬ СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН

Роман уфимского художника-монументалиста Петра Храмова (1939-1995) «Инок» был начат на излёте «золотого пятнадцатилетия» русской культуры (1953-1968), в 1966 году. В тот год в журнале «Москва» начал впервые публиковаться легендарный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», завершён знаменитый фильм Андрея Тарковского «Страсти по Андрею» («Андрей Рублёв»), а у писателя-деревенщика Василия Белова вышла знаковая повесть «Привычное дело». Последнюю же точку в своём произведении Храмов поставил через 27 лет – 12 октября 1993 года, в дни новой Русской Смуты, после расстрела в Москве Белого дома. Попытки напечатать роман в «Новом мире» и в других толстых литературных журналах не увенчались успехом, и автор так и не увидел в печати ни одной своей строчки.

Первая посмертная публикация нескольких глав первой части романа состоялась в 2003-2004 годах в российско-немецком альманахе «Крещатик», благодаря усилиям уфимского писателя Айдара Хусаинова. Отзывы первых читателей были положительными. Особенно запомнился один отклик из интернета: «Пётр Храмов написал пронзительно-ностальгическую эпопею о детстве, которое было и скрылось за поворотом, и уж никогда, никогда не вернётся снова... Честное слово, стану умирать, возьму его роман с собою».

А на родине автора, в Уфе, роман не принимали ещё пять лет. Наконец, через 15 лет после написания усилиями наследников автора – Андрея Борецкого и Олеси Храмовой, подготовивших текст к изданию, а также заместителя главного редактора журнала «Бельские просторы» Светланы Чураевой, сумевшей убедить скептиков в необходимости публикации этого необычного даже для постсоветской литературы произведения, роман был опубликован в журнале в три этапа с 2008 по 2011 годы. А в 2012 году в издательстве «Китап» молниеносно вышла новая редакция романа, весь тираж кото-

рого был так же быстро раскуплен ценителями хорошей литературы. В 2016 году наследниками автора была подготовлена третья редакция романа, в которую вошли некоторые опущенные фрагменты, по разным причинам не вошедшие в две первые версии. Кроме того, была проведена кропотливая работа по более чёткому структурированию произведения и возвращению к исходному авторскому языку и стилю.

Кто же такой был Пётр Алексеевич Храмов, и что заставило его взяться за перо вместо привычных для художника инструментов? Его отец, художник Алексей Васильевич Храмов (1909-1978), прошедший рядовым пехотинцем Великую Отечественную войну, был сыном белебеевского купца Василия Храмова (?-1919), убитого на глазах у семьи в годы гражданской войны, и дочери уфимского купца 2-й гильдии Михаила Андреевича Степанова-Зорина (1854-1921) – Прасковьи. Михаил Андреевич был известен в городе тем, что в годы Первой мировой и гражданской войны организовал и финансировал строительство в Уфе Вознесенского храма с оригинальным крестом из цельного горного хрусталя. Мать, урождённая Галина Фёдоровна Ковалёва, принадлежала к дворянскому сословию. Заброшенная революционными событиями из Ростова в Уфу, она преподавала в школе и в библиотечном техникуме. После ареста своего отца отказалась сменить фамилию на более безопасную.

Всю свою недолгую жизнь Пётр Храмов провёл в творческой атмосфере любящей и дружной христианской семьи, погружённой в советский быт и окружённой типичными советскими людьми. Окончив уфимскую школу, он осуществил мечту своего отца, для которого, как чуждого социального элемента, были закрыты двери художественных вузов, и поступил в Московский художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова. Став художником-монументалистом, он вернулся на родину украшать её города своими мозаичными картинами. Но постепенно уходили из жизни его близкие, унося с собой неповторимый дух русской право-

славной интеллигенции. Канула в прошлое и советская эпоха. Оставаясь одним из последних свидетелей жизни своей семьи в советские времена, Пётр Храмов взял на себя миссию её летописца. Его роман-воспоминание охватил историю уфимской семьи от суровых будней Великой Отечественной войны до смутных времён перестройки.

Произведение П.А. Храмова вобрало в себя традиции русской классической литературы. В нём легко замечаются переключки с «Семейной хроникой» и «Детскими годами Багрова-внука» С.Т. Аксакова, «Капитанской дочкой» А.С. Пушкина, произведениями Л.Н. Толстого, рассказами и пьесами А.П. Чехова, «Детством» А.М. Горького и с другими произведениями русской литературы. Но при этом все события романа пронизаны тихим и мягким евангельским светом. Обилие уменьшительно-ласкательных суффиксов в тексте произведения говорит не только об особом языке провинциального дворянства, но и о любви автора к своим героям и жизни, какой бы суровой и жестокой стороной она для него ни оборачивалась. Будучи сыном своего времени, он в своём произведении переосмыслил и воплотил творческие поиски писателей-деревенщиков и городской прозы, традиции древнерусской иконописи и русской реалистической живописи, шедевров советского и зарубежного кинематографа и военных мемуаров, текстов священного писания и журнальной публицистики эпохи перестройки и гласности.

Роман открывает эпиграф: «Тем, кого некому помянуть и чьи имена знает один Господь», настраивающий читателей на главную тему произведения – судьбы русских православных людей в трагическом XX веке. По жанру это не только роман-воспоминание, но и своеобразная летопись советской эпохи, отражённой сквозь призму христианского сознания. Структурно «Инок» состоит из трёх частей, охватывающих военное детство, послевоенное отрочество и юность, и зрелые годы эпохи застоя и перестройки. Роман открывается описанием дома на берегу реки Белой, куда весной 1943 года

переехал четырёхлетний герой воспоминаний со своей мамой и бабушкой. Особенностью авторского стиля является четырёхуровневое изложение событий. Такой подход можно сравнить с работой художника-монументалиста, который из разноцветных камешков создаёт рисунок, а тот, в свою очередь, размещается на какой-то стене. Если же эта стена находится не внутри помещения, а снаружи, то она тоже становится частью уже более обширного пейзажа. В этой же манере, как нам кажется, автор работал и со словом. Все события в романе передаются на бытовом, социальном, духовном и бытийном уровне. В этом автор следует традициям христианской культуры с её классическим делением на тело, душу и дух.

Так, в его первой главе на бытовом уровне происходит переезд семьи главного героя на новую квартиру. Мальчик любит дом и ледоходом на реке Белой, просит бабушку взять в дом уличную собачку, но получает отказ. После первого осмотра дома следует сцена переезда с вещами на телеге по уфимским улицам до нового дома. На социальном уровне в этой главе происходит перемена участи в жизни «бывших», ютившихся до этого по каким-то углам. Война требовала единства всех классов и сословий ради выживания страны, поэтому эта дворянско-купеческая семья получила от государства улучшение своих жилищных условий. Но проезжая мимо церкви, старшие члены семьи побоялись на неё перекреститься в отличие от возницы. На духовном уровне герой удивляется только необычному дому, а всё остальное его душа будто уже видела в прошлой жизни. В глазах перевозившей их скромное имущество лошади мальчик увидел удивительное сочетание «невыразимо вольного с невыразимо подневольным, что так роднит лошадей с хорошими русскими людьми». На уровне вечных сущностных категорий в первой главе проходят дом и река Белая. Меняясь много раз, они стали для героя одной из его жизненных опор, мерой естества и красоты, символами изменчивости и постоянства.

В начальных главах автор создаёт сложный внутренний мир ребёнка, живущего общей жизнью с окружающей его природой. Его дружба с тополем и собачкой Лобиком не вписываются в простецкую жизнь окружающей его детворы, порождая скрытность характера. Этому способствует и скрытность семьи, не отказавшейся от веры и христианских традиций в годы воинствующего атеизма.

Многомерная история жестокого обращения рабочих с лошадьми, тянувшими тяжёлые брёвна с берега по крутому подъёму на лесопилку, символизирует советскую мобилизационную модель экономики, достигающую своих целей за счёт нечеловеческого перенапряжения и полного истощения людских и природных ресурсов. Сатирическое изображение парторга этого предприятия, за чудовищной нехваткой времени справлявшего малую нужду на глазах у своих подчиненных, вызвано неприятием идеи «большого скачка», ведущего во всех странах к краху экономики и провальному качеству продукции. Любое насилие над природой и её естественным ритмом воспринимается автором как отступление от нормы. Зато церковное пение полюбилось ему за естественность звуков жизни. Писатель сравнивает наивную веру своей интеллигентной бабушки в потенциальную доброту кнутабойцев с выступлением академика А.Д. Сахарова на съезде народных депутатов, над которым откровенно глумились потомки этих извергов. Однако в отличие от иных обличителей тоталитарного советского прошлого П. Храмов укрощает ненависть маленького героя к мучителям несчастных животных тайной и кроткой молитвой за бедных лошадей и их мучителей, гася возникшее зло силой почти недетского смирения. К этому его приучила бабушка, не только словом, но и личным примером учившая не отвечать злом на зло. В ответ на оскорбления пьяного соседа по дому она одним лишь взглядом заставила его замолчать.

Постепенно доброта, обращённая к беззащитным животным, распространяется на людей. Появление в городе пленных немцев

вызвало сначала любопытство и страх в душе маленького героя, но потом, приглядевшись, он выделил среди них одного, похожего, по его мнению, на его отца, находящегося на фронте. Обмен добрыми взглядами и небольшими услугами привёл их к взаимной симпатии. И отъезд на барже немецких пленных, среди которых был его тайный друг, вызвал в душе героя чувство первой серьёзной потери в его начинающейся жизни.

Семья героя романа после всех революций, войн и репрессий продолжала жить тайной православной жизнью, подобно первым христианам в Римской империи. Это требовало от её членов особой осторожности и скрытности. Юный герой приучился жить в родной стране, как в тылу врага – скрытно и молчаливо. Пройдя обряд крещения, он догадкой души впервые увидел милосердное, простое и вечное лицо своей Родины, вобравшей в себя знамя великой Победы и простую нищенку на ступенях храма, поющую колыбельную. Связь советского с христианским особенно зримо представлена в эпизоде починки солдатских шапок. Бабушка и внук крестят каждую из них «от пули» в том месте, где обычно располагалась красная звезда. Живя на городской окраине военной Уфы, герой на духовном и бытийном уровне чувствовал себя частью Вечной России: «...мне казалось в те военные времена, что совсем разные вещи – и дожди, и туманы и даже розовые солнечные снега, и задумавшиеся люди, и озябшие старушки, и важничающие щенки, и вербочки, и осиротевшие книги – всё важное и значительное, что меня волновало, было освещено (или подсвечено) неярким светом плакучей свечечки, которая, погибая и возрождаясь, светила нам всю войну в медном, стареньком «ещё из Ростова», дореволюционном бабушкином подсвечнике. Словно бы та, ушедшая из этой жизни Россия, зная о нас и о войне, посылала нам молчаливый, неяркий и, как выяснилось позднее, никогда не гасимый свет».

День Победы в романе приходит неожиданно, без военного парада и праздничного салюта. Поздно вечером, услышав по радио

выступление Сталина, объявившего Победу, все семьи большой коммунальной квартиры вышли в коридор. Все двери были открыты, люди обнимались и плакали. В воспоминаниях героя-рассказчика возникает драматическая картина щемящей радости, пропитанной горем: «В каждой комнате горела свеча или керосиновая лампа. Свет был жёлтый и тёплый, тени почти чёрные и нервные. Они двигались, увеличиваясь и уменьшаясь и, ломаясь, пересекаясь и переплетаясь, принимали формы самые разнообразные. Казалось, что среди нас, живых, мечутся, мучаясь, тени павших на фронтах воинов». Бравой радости воинской доблести автор предпочитает простоту и скромность народного отношения к войне, основанную на мудрости веков.

Через весь роман проходит глубокая и сложная связь главного героя с природой. Здесь и созерцание реки Белой в разные времена года и в разные периоды жизни, и медитативная созерцательность героя при любовании садом, наполненная радостью весны и предвкушением будущей земной жизни и вечного путешествия души. К этому можно добавить и очарование неземной красотой Нагимы, и дружбу с собаками Лобиком и Кубиком, и жалость к беззащитным рабочим лошадям, и диалоги с тополем. Во всём этом чувствуется влияние не только классиков (С. Аксакова, Л. Толстого, И. Тургенева, А. Чехова), но и более близких автору представителей лирической (К. Паустовского, Ю. Казакова, В. Солоухина) и деревенской (В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина) прозы. В 10-й главе содержится контрастное противопоставление медитативного созерцания утренней реки Белой грубому материализму двух бодрых девушек, затеявших купание в столь раннее время. Хрупкое чувство созерцания красоты утренней тихой природы разбивается шумом, визгом и пошлой песней представительниц городской окраины. Позже автор вспоминает свой поход за Белую с отцом на этюды. Возле маленького лесного озера отец уже не просто созерцал красоту природы, но и творчески преображал её на своих полотнах.

В «Иноке» преобладает открытое и живое пространство. Главный герой с детства одушевляет природу, наделяя её человеческими качествами. Позже, став взрослым, он, как и его отец-художник, с помощью природных образов рассказывает о явлениях человеческого духа: «...какая стоическая, какая удивительная романтика – быть одиноким, никем и никогда не виданным деревом, в огромном, как жизнь, лесу. И только русские иноки и русские солдаты, неся в сердце своём Божью кротость безыменья, лучше всех служили Богу, царю и Отечеству. Их некому помянуть, их имена знает один Господь». Живому и гармоничному божественному созданию – природе в романе противопоставлена убогая мертвечина лесопилки, на которой люди и животные с надсадой поднимают и разделяют убитые деревья, и ремонтного завода, загрязняющего чистые воды реки Белой.

Маленький герой рос и развивался в интеллигентной, православной и любящей семье, которая, как кокон, защищала его от агрессивной советской действительности. Ни грубые и малообразованные обитатели рабочей окраины, ни переехавшие в город из деревень соседи-башкиры, ни школьные учителя, ни партийные работники не могли пробить культурный щит, созданный родителями и бабушкой главного героя. Этим, вероятно, и можно объяснить парадокс героя-рассказчика, вспоминающего суровое и тяжёлое военное и послевоенное время, как самое счастливое в своей жизни.

«Инок» - это ещё и роман воспитания. В семейные обязанности главного героя с дошкольных лет входила помощь родителям в ведении домашнего хозяйства: чистка картошки, доставка воды с колонки и другие работы по дому. В годы поражения бывших правящих классов в гражданских правах бабушка-дворянка воспитывала в своём внуке чувство собственного достоинства и благородство. Ещё в дошкольном возрасте бабушка запретила ему называть взрослых людей «дядями» и «тётями», а только по имени-отчеству. Она же научила внука читать по собственной азбуке, в которой бу-

ква «А» иллюстрировалась ангелом, а буква «Г» - государем. В свой первый школьный день герой, не задумываясь, отдал свой букет первокласснице Маше, которая осталась без цветов, отгоняя собаку. Позже, когда Маша предложила ему сушку, он отказался её взять, помня бабушкино наставление о том, что делать добрые поступки ради последующего вознаграждения – не благородно. При этом автор не идеализирует своего главного героя: какие-то черты жителей городской окраины он всё же перенял. Так, подобно соседу-милиционеру, плевавшему на икону, он плюнул вслед учительницам, не ответившим на его вежливое приветствие. В детском саду герой, посаженный в чулан за безобразное поведение, подбадривал себя непристойными частушками, услышанными от матросов на берегу Белой. Став школьником, он в истерике, страшно матерясь, набросился на парторга лесопилки, издевавшегося над бедными лошадьми. И только вмешательство соседки Нагимы Асхатовны спасло его от тяжёлых последствий этого безрассудного поступка. Оказавшемуся в инородной среде герою всё же повезло с соседями, большинство из которых составляли выходцы из башкирских и татарских деревень. Эти простые и малообразованные люди были ближе к Богу, чем русские горожане, развращённые реформами и революциями. Хотя и среди русских попадались не только кнутобойцы и парторги с лесопилок, но и такие светлые личности, как простая учительница в заштопанной кофточке, с натруженными, рабочими руками, поскольку именно она первая разглядела необычность героя, назвав его иноком. Эта особенность состояла в том, что он считал весь мир живым, не понимая абстракцию счёта и неживых предметов. При этом столкновение двух разных типов познания окружающего мира (научного и религиозного) не вызвало у учительницы желания переубедить своего необычного ученика или навязать ему свою волю. Именно эта широта души и терпимость к инакомыслию вызвала через много лет благодарность автора: «Ах, Анна Дмитриевна, Вас давно нет на свете – Царствие

Вам Небесное. Спасибо Вам за всё, за всё – я навсегда запомнил Ваши добрые глаза, Ваше справедливое сердце, усталые Ваши руки». Воистину, времена были суровее, а люди человечнее. В сцене беседы героя с учительницей хорошо виден переход от бытового созерцания падающих в школьном саду и на кладбище осенних листьев к бытийному размышлению учительницы о смысле жизни: «Вот листья падают, жёлтые, отжившие листья, и кто их считал когда-то живыми, кто о них думал, - и закончила совсем уж печальным голосом, - во всю-то жизнь, во всю-то жизнь». В этих словах можно усмотреть переключку с монологом Олега Табакова из фильма Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова», сравнивающего своего героя с древесным листом. Ещё один подобный переход можно увидеть в эпизоде с пирожком, приготовленном Машей. Через годы в воспоминаниях героя сквозь образ его маленькой подруги стали просвечивать реалии рублёвской «Троицы».

Если бабушка формировала во внуке дворянские черты и монархические убеждения, мать – осторожность, отец – творческое начало и чувство собственного достоинства, то вернувшийся из лагерей дед завершил его семейное воспитание. В последней главе первой части романа герой впервые по-настоящему встретился со смертью: его сосед по дому, милиционер Расих, которому он рассказывал сказки Пушкина, застрелился в кабинете своего начальника. Эта трагедия совпала с возвращением домой после десятилетнего заключения его деда по материнской линии – Фёдора Алексеевича Ковалёва. Прогулка деда и внука к зимней реке Белой символически соединила старое и молодое поколение не только в вере в Бога, но и в тех культурных традициях, которые составляли суть русского православного человека: «С необычайной, но тихой силой я чувствовал, что мы находимся с дедушкой в одном состоянии и созерцаем в нашей общей сейчас душе явление невидимого,

но сущего. Того, кто теплится в нас правдой, любовью и совестью. Того, кто ведет нас по этой неяркой и простой земле».

Вторая часть романа начинается с описания здания новой школы, уцелевшего от дивного монастыря, стоявшего до революции на высоком берегу реки Белой. Как и дом из первой части, здание бывшего монастыря стояло твёрдым напоминанием о прежней достойной и праведной жизни. Это был очередной молчаливый урок Вечной России. В этой части последовательное повествование сменяется более частыми переходами из послевоенного времени в эпохи оттепели и застоя. Прежняя сплочённость семьи главного героя даёт первую трещину. После десяти лет лагерей умирающему от туберкулёза деду не только отказали в лечении, но и не разрешили проживать в Уфе. Фёдор Алексеевич вынужден был работать последние месяцы своей жизни на рогожной фабричке в деревне Турбаслы. Бабушка уехала к нему, чтобы поддержать его в конце земного пути. Воспоминания о светлых отроческих годах с поиском кладов, чтением с Машей в одно и то же время «Войны и мира» Л. Толстого и «Острова сокровищ» Р. Стивенсона, зарождением чувства первой любви сменяются картинками взрослой жизни героев с проблемами смысла жизни и поисками своего призвания.

Став профессиональным художником, герой много лет пишет одну картину: ребёнка в концлагере. В этой работе он пытался передать главный итог XX века и сущность современной цивилизации: светлый детский взгляд, рождённый для жизни по образу и подобию Божию человека, и его маленькие руки, сгребавшие лагерную пыль, в которую превратился пепел сожжённых людей. На вопрос взрослой Маши о его работе он отвечает, что в живописи важна форма, а не содержание, поэтому его труд обречён на провал. По его словам, живопись – это творчество вне сфер добра и зла. Превращая свободу творчества в акт насилия над своей натурой, художник лишает свои работы выразительности, убивая тем самым свой талант. Маша же возражала ему, упирая на то, что мысли о

самоценности живописи ему внушают его бездарные и бессердечные дружки.

Первое детское посещение музея М.В. Нестерова и рассказ Елены Григорьевны о Сергии Радонежском сменяется рассуждениями автора о книжном и музейном Отечестве, ставшем для него впоследствии единственным напоминанием о прежней настоящей России. Воспоминания об осенней прогулке на кладбище с юными Машей и Агарью чередуются с авторскими размышлениями о судьбе еврейского народа и предназначении женщины. Итогом этой прогулки стал замысел картины, работа над которой растянулась на двадцать лет, но закончилась неудачей. Герой страстно хотел изобразить гармонию земного естества и Божьего милосердия, но, не сумев довериться тихим движениям своей души, а руководствуясь лишь человеческой логикой, не смог найти художественного решения своей идеи. Итогом этой бесплодной борьбы стал вывод о том, что «смирение перед Божьей волей есть единственно возможная форма существования человеческой души на этой земле».

И снова воспоминания о спасении Лобика из проруби в четвёртом классе и спасительной для зрения главного героя банке мёда, подаренной безвозмездно преподавательницей университета Сарой Гарифовной в голодные военные годы, сменяются картинками счастливой юношеской дружбы с Машей и Агарью.

В последних главах второй части происходит взросление главного героя и его прощание с детством. Четыре смерти потрясают его чуткую душу одна за другой. Ожидаемая всеми близкими смерть дедушки от туберкулёза воспринимается героем ещё с детским страхом покойников. Выйдя из больнички после прощания с дедушкой, он, подгоняемый страхом, бежит домой, но при этом успевает искупаться в Белой. И только вид убитой горем бабушки возвращает его к печальной действительности. Первой по-настоящему воспринятой смертью, как безвозвратной потерей

близкого существа, для героя стала смерть тополя. Всё его раннее детство прошло в общении с этим деревом, которое равнодушно срубили и тут же забыли об этом. И только герой со своими школьными подругами Машей и Агарью сходили проститься с остатками срубленного дерева. Это стало первым горем в его жизни. Другой смертью через несколько лет стала гибель любимой собачки Лобика, безжалостно распиленного пьяницами с лесопилки. Эти смерти перекликаются с идеей рассказа Л. Толстого «Три смерти» о простоте и благородстве ухода из жизни деревьев по сравнению с мучительными предсмертными страданиями людей. Завершает вторую часть романа смерть товарища Сталина, символизирующего для героя жестокий порядок, сплотивший народ на подвиг и победу в Великой Отечественной войне. В споре со взрослой Машей о тирании Сталина он назвал его монархом, бывшем в пору нашего народу. Работая над романом в годы перестройки, когда по всем вещательным каналам широким потоком шла информация о преступлениях вождя народов, Пётр Храмов подробнейшим образом воссоздал чувства и настроения прощания уфимцев со своим кумиром. Даже после разоблачения культа личности для героя романа Сталин оставался Верховным Главнокомандующим: «...я представил себе сорок первый год и товарища Сталина: он шёл не по Красной площади, а по российским полям – полям стылым и заснеженным. В солдатской шинели, фуражке и сапогах, он шёл не один – рядом с ним шла Зоя. Светлая наша Зоя - с лебяжьей свёрнутой шеей – живая ли, мёртвая – в растерзанном платье, поруганная, босоногая, родная. Вот так и шли они вместе, в пугающем, но странно-дружеском согласии – отец и дочь, монарх и святая, старый, грозный муж и доведённая до верности жена».

Образ Сталина в романе перекликается с образом Пугачёва из «Капитанской дочки» А. Пушкина. Как и между Гринёвым и Пугачёвым, между героем романа и Сталиным завязываются глубокие метафизические отношения, пронизанные светом христианской

культуры. Как и для Гринёва, для героя романа Сталин – не только жестокий тиран и правитель огромной страны, но и нравственно вменяемый Благородный разбойник, распятый рядом с Иисусом, по прихоти истории спасший русское православие от полного уничтожения, несущий в себе отражение образа Божьего, дающего возможность бесконечного благородства. В «Иноке» образ Сталина представлен в двух ипостасях: организатора массовых репрессий для интеллигенции и отца нации для значительной части народа, живущего по-прежнему в христианских традициях. Это противоречие пыталась осмыслить бабушка главного героя после сообщения по радио о Победе в Великой Отечественной войне.

В третьей части получают развитие и завершение все основные линии романа. Его пространство расширяется с исторической части города на берегу Белой до новых квартир Маши и главного героя. Временной охват составляет период со второй половины 50-х годов до начала перестройки. Юность героев совпала с периодом хрущёвской оттепели. Выросшие в годы войны и послевоенной нужды, они с недоверием отнеслись к разоблачениям своих прежних ценностей. Речи «разоблачителей» они оценили, опираясь на взгляды А.С. Пушкина и Г.Р. Державина. Автор ставит искренность и наивную веру сталинских комсомолочек в нравственном отношении выше расчётливого цинизма проводников нового партийного курса.

В завершающей части много авторских размышлений о свободе и творчестве, любви и вере, жизни и смерти. По мнению автора, «свобода – это смерть». Но в его понимании свобода близка к русскому понятию воли, выраженному в знаменитом пушкинском афоризме о русском бунте, бессмысленном и беспощадном. По мысли П. Храмова, русский народ выбрал свободу, и русская православная нация перестала существовать. В этих условиях героям романа уготован путь героического стоицизма и верности старой России и её ценностям. Отсюда и частые размышления героев о

«Капитанской дочке» и «Евгении Онегине», «Пармской обители» и творчестве А. Чехова. С этим связаны и ранние смерти самых близких друзей главного героя: военного лётчика Степана Курпея и учительницы литературы Маши Мироновой.

В образах самородков из народа – изобретателя двигателя для моторной лодки Виктора Ивановича и маленькой портнихи Рабиги – автор размышляет об обречённости таланта в России, воспринимаемого окружающими как покушение на привычный ход вещей. Эти размышления тесно связаны с выбором профессии главным героем, не желающим лгать и создавать зло своей будущей работой. После долгих раздумий он сформулировал мысль о том, что хочет заниматься естественным делом, не требующем коллективных усилий. В одиночку человек, по его мнению, не способен построить танк, авианосец, трактор, являющиеся орудиями зла. Они либо напрямую служат орудиями убийства, либо, как трактор, лишают человека естественной физической работы. По мысли героя, не естественно писать справки в конторе и учить вранью в школе, а рисовать естественно и для детей, и для простодушных варваров. Поэтому он решил стать художником.

Грубой и примитивной жизни рабочей окраины противопоставляется франко-итальянский фильм по роману Стендаля «Пармская обитель» (1948), захвативший юных героев романа красотой лиц европейских актёров (Жерар Филип, Рене Фор и другие), благородством чувств и несчастной судьбой его персонажей. В воспоминаниях героя об этом походе в кино сюжет фильма переплетается с нежной советской лирической песней «Случайный вальс». Их объединяла общая судьба: «Два любящих и, конечно же, разлучённых сердца». В образах героев фильма – Клелии и Фабрицио – предвосхищалось будущее Маши и главного героя: покорность печальной судьбе, но сохранение благородства и человеческого достоинства. Попутно здесь можно усмотреть переключки с «Капитанской дочкой». Крепость Фарнезе рифмуется с Белогорской крепо-

стью, а любовь Фабрицио к дочери коменданта Клелии Конти похожа на любовь Петра Гринёва к дочери другого коменданта Маше Мироновой. Уход же Фабрицио в монастырь и ранняя смерть Клелии перекликаются уже с дальнейшей судьбой героев романа. Неоднократный просмотр этого фильма вызвал в душе автора грусть о той красоте быта и человеческих отношений, которых он и его семья были лишены в силу трагических исторических событий на его родине.

Скупым и ненавязчивым фоном проходит трудовая жизнь героев романа. Главный герой пилит дрова с друзьями, может сутками работать над своими картинами, умеет хорошо готовить пищу. Маша помимо работы в школе пишет книгу об этике Чехова, всегда со вкусом и опрятно одета, её маленькая квартирка являет собой образец чистоты и аккуратности. Согласно чеховским принципам внешняя чистота героини соответствует чистоте её внутреннего мира. Все эти бытовые подробности необходимы автору для подтверждения сохранения человеческого достоинства главных героев в сложные времена столкновения их с разлагающей советской действительностью. Истоком этого достоинства автор считал их военное детство: «... в русской грамоте мы упражнялись, разбирая по складам приказы нашего Главнокомандующего. Мы хлопали в ладоши, когда русская армия освобождала от немцев русские города и, подражая старикам, затихали, когда кто-нибудь, в очередь, получал «похоронку». Двое из нас остались без отцов, наше детство совпало с тягчайшим на нашей земле горем и величайшей над ним Победой. Мы были маленькие и оборванные и совершенно чистые – страшные муки России и бессознательный (как всё вечное) её подвиг, спасли нас от проклятия цинизма, нигилизма и подлости».

Одним из столкновений героев с этой трагической действительностью стала их поездка в самые благополучные и позитивные для России в XX веке 60-е годы на место разрушенного дома, где прошло их детство. Недалеко от места, где стояли дом и срублен-

ный тополь, и где была могила Лобика, герой показал Маше место на берегу Белой, с которого М. Нестеров писал свою «Амазонку». Его дочь Ольга Шретер, позируя отцу, смотрела на дом его детства. А всего через полвека и этот дом, и дом, где жил и работал Нестеров, были безжалостно снесены беспамятными потомками. Вспоминая всё это, герой с яростью произнёс: «Жизнь, Маша, это война с забвением, а эта падаль – я кивнул на лесопилку – воюет с памятью, да с каждой собачкой они воюют, с каждым деревом, со всем, что живёт и дышит». Однако это столкновение героев со злом завершается не ответной злобой на породившее это зло общество или систему, а приятным ужином с домашними пельменями и самодельным тортом в уютной Машиной квартирке. Как опытный психотерапевт, она умело сняла стресс своего друга и призналась ему, что пишет книгу об этике А. Чехова. На вопрос героя: что представляет для неё философия Чехова? Она ответила, что это комфортный стоицизм культуры. К этому она добавила, что «Чехов единственный наш писатель, который понимал, что дело не в социальных и общественных идеях, которые неизбежно ссорят людей, не в «направлениях», которые тоже их разобщают, а в постоянном – как жизнедеятельность живого организма – нравственном усилии». На пороге застойных времён Маша в своих набросках писала по поводу «Трёх сестёр» об узости чувств и разума некоторых персонажей пьесы и о том, что Чехов осуждает конформизм.

А дальше герой вспоминает свои собственные творческие метания и встречи с конформизмом уже после смерти Маши. Ещё при её жизни, в один из ночных разговоров она, предчувствуя будущее, попросила героя не принимать всё на свете так близко к сердцу, иначе он превратится в совершенно незащитное существо в войне со злом. Проводив одного за другим всех своих близких и оставшись один, герой нашёл в себе силы сохранить честь и достоинство в память об ушедших «на другой берег».

Годы застоя и перестройки описаны очень бегло, с горечью и сарказмом. Уже снесён дом, где прошло детство, умерла Маша, где-то далеко выполнял боевые задания, а потом героически погиб друг детства и юности, военный лётчик Степан Курпей. Но ещё живы родители и бабушка. И вот эта старая русская дворянка беседует с внуком о современной культуре. Бабушка осуждает демократизацию культуры: «Культура и пошлость – несовместимы; а пошлость – идеал плебса – он понизит (это застанешь ещё ты) уровень культуры до самых примитивнейших инстинктов. Драки, приключения, порнография – вот простенькая триада массовой «культуры» американского образца <...> Женщина, которая принадлежит всем... Кто она? Так и культура. Её создают избранники небес, а не распущенные и вечно пьяные мерзавцы...». Внук слушал её с обострённым вниманием чувств, поскольку знал, что она была единственным человеком в его окружении, который сознательно жил в настоящей России.

В последних главах романа герой размышляет о вранье, которое составляет основу их внешней жизни. Маша не могла рассказывать своим ученикам об Ахматовой и Пастернаке, Цветаевой и Мандельштаме. Даже Есенин был за пределами её школьной программы. Ему самому постоянно приходилось делать обкомовские росписи: «румяные колхозницы, сурово-вдохновенные рабочие, нефтяные вышки, знамёна, гербы – маразм...». Но для души он двадцать лет вынашивал картину ребёнка в концлагере. Старый друг семьи Николай Андреевич говорил ему, что ни один выставком его работу не примет. Эти люди могут простить ему любые формалистические изыски, но сострадание и милосердие не простят никогда. На упрёк героя в том, почему же он сам состоит в партии, которая всё это поощряет, Николай Андреевич ответил, что вступил в неё в 1942 году под Сталинградом. И принимали его туда не нынешние прохиндеи, а политрук, который первым бросался под пули. А сегодня его и помянуть некому, потому что он был круг-

лый сирота, подкидыш, его на крыльце нашли. Не случайно в романе Дашенька Крыльцова носит фамилию этого политрука, у которого не осталось физических наследников. Её можно назвать его духовной дочерью, поскольку она так же отважна и бескомпромиссна в борьбе со злом.

Через всю третью часть романа проходит тема чести, достоинства и благородства. Уже в первой главе при семейной лепке пельменей бабушка урезонила свою дочь, заметив, что настроения могут быть у кухарок и горничных, а люди воспитанные не имеют права на кривляния души. В пятой главе во время просмотра фильма «Пармская обитель» герой романа делает для себя вывод о том, что «И Клелия, и Фабрицио покорялись судьбе, лишь печалась глазами, но не опуская головы и не теряя человеческого достоинства». Потом герой ходил на этот фильм много раз, как круглый сирота, впервые увидевший фотографию своих родителей. В тринадцатой главе во время ночной беседы героя с Машей разговор перешёл на коллег героя, местных художников. По мнению Маши, многие из них не имели ни чести, ни совести, ни таланта. В этой связи характерен диалог Маши Мироновой с её ученицей Дашей Крыльцовой о Татьяне Лариной. На реплику Даши: «Злая она: любовь свою, Онегина, и, наверное, своего мужа она погубила... Любовь погубила... Злопамятная она» Маша отвечает с высоты своего печального жизненного опыта: «Вы, Дашенька, по-своему правы, но лично мне кажется, что для Татьяны Лариной самым главным в жизни была не любовь, а человеческое достоинство, и она была верна ему до конца». В пятнадцатой главе герой размышляет о благородной пунктуальности Маши, которая, презирая мещанские ужимки советских дурочек, никогда не опаздывала и к тому же обладала королевской походкой.

Роман завершается звонком в школу и весёлым разговором с Машей, обещавшей прийти к восьми часам вечера. Затем следует поход в магазин за продуктами и приготовление к ужину. В ожида-

нии Маши герой вспоминает любимые ими пейзажи Левитана. Глядя за окно, он видит падающие красные кленовые листья, которые рифмуются с его и Машиной жизнями и напоминают о давнем разговоре с учительницей, впервые назвавшей его иноком. Далее взгляд героя упал на незаконченный эскиз его главной картины. Из его подсознания выплыла голова ребёнка в концлагере, которая светилась не радостью, не печалью, а сама собой. Ребёнок, как щенок, «смотрел глазами, но видел своим естеством». Закрыв глаза, герой ощутил в этом щенке человеческом последнюю свою надежду. Встав, он осмотрел свои стены с портретом Чехова и рублёвской «Троицей», перекликающиеся с образом Маши. Герой сел в кресло, повертел стакан на подоконнике, наполнил. Вино стало уже не красным, а почти чёрным. На бытовом уровне это означало, что наступил вечер, а на бытийном – любовь подошла к порогу смерти.

Строгие ревнители веры увидели в «Иноке» лицемерие и греховность. По их логике, религиозные устремления главных героев расходятся с их делами. Вопреки своим нравственным убеждениям они вынуждены идти на компромисс с господствующей системой. В личной жизни главный герой равнодушен к алкоголю, изменяет Маше с Нагимой и при этом гордится своей верностью ей. И здесь нет каких-то преувеличений и натяжек. Всё это так. Но подобного рода критики не учитывают времени, в котором выросли герои. Это была эпоха первых полётов в космос, научно-технического прогресса, сексуальной революции, молодёжной контркультуры и относительной свободы творческого самовыражения в рамках социалистической системы. Именно во времена оттепели и застоя произошёл самый массовый и радикальный разрыв с православными традициями, превзошедший даже мрачную эпоху открытых гонений на церковь. И то, что герои романа вопреки всем соблазнам и угрозам своего времени сохранили веру отцов, дорогого стоит. В отличие от предприимчивой и умеющей выживать Скарлетт О'Хара из «Унесённых ветром» они не стали приспособ-

ливаться к новой жизни, не пошли на конформизм ради успешной карьеры. Подобно персонажу фильма А. Тарковского «Ностальгия», герои романа пронесли свои свечи православной культуры по дну пустого бассейна массового безверия поздней советской эпохи. Пушкинская «Капитанская дочка» стала для них не просто любимой книгой, а чудесным совпадением сюжета и вечности. Как и герои Пушкина, они сохранили свою честь и любовь друг к другу.

Оставшись наедине со своей главной картиной, герой размышляет о зрительном подобии своего художественного образа. В который раз он возвратился к своему давнему спору с Машей о самодостаточности живописи. Думая о реалистическом методе, он разделял реализм сюжета и реализм воспоминаний. И здесь произошёл большой временной скачок в будущее, почти на двадцать лет вперёд, в 1985 год, в начало горбачёвской перестройки. Решив, что он не художник, герой простился со своей неудавшейся картиной и поехал на берег Белой, туда, где прошло его детство. Глядя на реку, он размышлял о земном и небесном времени, и о третьем времени, которое существует между ещё живущим им и умершей Машей. Думая о предстоящей встрече с Машей, которая навсегда осталась двадцатидевятилетней, герой медленно шёл домой и встретил красивую молодую женщину с ребёнком, в которую превратилась младшая сестрёнка Агарь – Женечка. Беседуя с ними, он узнал, что она назвала своих детей Машей и Стёпой в честь их ушедших друзей, у которых не было своих детей. Беседа завершилась сценой созерцания маленьким Стеней реки Белой, на которую много лет назад так же смотрели герой и его друг Степан Курпей. И вновь бытовое событие с очередным «русским мальчиком» переходит на бытийный план созерцания вечного течения реки.

А дальше происходит возвращение на двадцать лет назад, в памятный вечер ожидания Маши, составивший удивительный финал романа, в котором совершенно конкретные бытовые детали

приобретают духовный и бытийный уровень. На этом реализме памяти построен весь роман, но в его финальной части он особенно важен для понимания авторского замысла. По мере приближения назначенного времени возникает ощущение того, что за этими простыми действиями: сервировкой стола, нарезкой сыра, жарением мяса, кормлением Кубика и разрезанием торта с розочкой стоит главный – духовный план прощания с жизнью. До последней строчки в романе герой сохраняет детскую радость жизни, подобно ребёнку в концлагере, видящему перед собой не горы трупов, а ласковую улыбку Бога. При этом он до конца остался верен своей идее, высказанной когда-то Маше: «...жить – это значит любить. Всё. Всех. Всегда». В тот памятный вечер радость в душе героя не погасла. А Маша уже поднималась на пятый этаж, держа в левой руке подобранный во дворе опавший кленовый лист. Этот красный лист символизировал судьбу главных героев романа. Наконец, ровно в восемь раздаётся долгожданный Машин звонок, и герой открывает дверь, за которой заканчивается его печальная и красивая земная жизнь. И сигналом о встрече двух разлученных сердец служит фраза: «Ах, какой это был дом», впервые возникшая в сознании героя накануне ночью и ставшая началом и концом его романа. Круг замкнулся и перешёл в вечность. Как и в пушкинской «Капитанской дочке» и в булгаковских «Мастере и Маргарите», в храмовском «Иноке» любовь побеждает смерть не на бытовом, а на бытийном уровне по закону реализма воспоминаний.

*Пётр Фёдоров*

*Пётр ХРАМОВ*

**Инок**  
**Роман-воспоминание**

*Тем, кого некому помянуть  
И чьи имена знает один Господь.*

## **Часть первая**

### 1

Ах, какой это был дом! Он не был похож ни на что виденное мною до четырех лет, а видел я к тому времени хоть и немного, но ведь почти всё – в первый раз. Я говорю «почти», ибо некоторые вещи, виденные мною впервые, возбуждали не удивление, а совершенно особенное чувство таинственной и родственной к ним сопричастности: словно небеса, речку, внимательный взгляд щенка, листву деревьев или материнскую печаль впервые видели мои глаза, но не впервые – моя душа.

А вот дом удивил. Весь деревянный (только лестница белокаменная), бревенчатый, с дивно вырезанными орнаментами наличников, карнизов и балкончиков, с крутой крышей и флюгером на ней, с островерхими ажурными башенками, он как бы стремился к небесам и походил на остановившееся пламя. И был он весь розовый, а там, где облупилась розовая краска, как пепел мерцало старое, в светло-серых ворсинках дерево.

Ах, какой это был дом! Он менялся: по мере моего взросления в нём проступали то сказочное простодушие хором царя Салтана, то привлекательная чуждость вальтерскоттовских замков, то совестливая и смиренная интеллигентность чеховского дома с мезонином. Впервые мы смотрели на этот дом вместе с бабушкой, и я по сей день помню ощущение своей руки в её большой и мощной ладони. Бабушкины руки меня удивляли: громадные, загорелые и очень крепкие, были они с чрезвычайно ухоженными ногтями – полиро-

ванными, светло-луночными, имевшими чистый, невинный, почти девичий вид.

Подняв головы, мы обошли дом с трёх сторон, и бабушка тихо и медленно сказала: «Здесь мы будем жить». Я опустил голову и не поверил. Мне казалось невероятным, что в таком красивом, таком сказочном доме, будут жить такие изгои, как бабушка, мама и я. Я был в замешательстве и, вроде как за поддержкой, обернулся налево – там текла река, а по реке шел лед.

Я впервые в жизни видел реку, тем более ледоход на ней, но не чувствовал ничего диковинного, напротив, всё происходящее казалось мне само собой разумеющимся и совершенно естественным. Диковинное произошло позже, когда река очистилась ото льда и я увидел на ней тёмно-жёлтенький пароходик, со страшным напряжением шедший против течения и, как мне показалось, против естества – я даже кулаки сжал, привстал на цыпочки и сморщился, вроде бы помогая. Это напряжение почудилось мне излишним и недостойным: я уже был «опытен» и уже знал, что нельзя идти против природы – нельзя насильно кормить щенка или кошку, надо ждать. Странно, но детское это ощущение жизнь постепенно превратила в убеждение – непоколебимое и твердое.

А вот на ледоход смотреть было и легко и весело – всё шло натурально, всё шло само собой, шурша, посверкивая, уменьшаясь. А надо мной и бабушкой белым, лимонным и нежно-голубым сияли и сияли небеса, а по краям, у горизонта, они сизо туманились, словно бы затихая. Много лет смотрел я на Белую, видел бесчисленное множество её никогда не повторяющихся состояний, и стала она одной из моих жизненных опор, мерой естества и красоты, символом изменчивости и постоянства.

Такой же постоянной, как река, и изменчивой, как её состояния, была моя бабушка – русская дворянка с крепкими мужицкими руками, молчаливая, твёрдая, светлоглазая, невероятно впечатлительная, до смешного самостоятельная и до странности добрая.

Взявшись за руки, мы стояли у вырвавшейся на свободу реки, и по бабушкиному лицу я понял, что она кого-то вспоминает и мысленно с кем-то говорит. Я догадался – с мужем, моим дедушкой. Уже шесть лет (я знал это из разговоров взрослых) дедушка был где-то немыслимо далеко, и неизвестно, был ли, но бабушка верила, что был, и вот сейчас, как я чувствовал, делилась с ним семейными новостями. Сколько же миллионов русских семей могли общаться тогда – шёл сорок третий год – только так: остановившимся взором памяти, верностью душ и мучительным нетерпением сердца? Задумавшись, бабушка говорила, бывало, вслух кусочек какого-нибудь стихотворения. Вот и сейчас, светло глядя на блестящую воду, она сказала, слабенько прищурившись: «И от судеб защиты нет». Мы с бабушкой стояли и смотрели на реку, а лед все шёл и шёл, совершенно не печалась о своей обреченности. Вдруг я почувствовал, что нас уже трое. Посмотрел: рядом с нами дивился ледоходу маленький светло-коричневый щенок – лобастенький и скромный. Как бывало уже не раз, сердце моё мгновенно преисполнилось любовью и нежностью почти болезненными. Я стал канючить – просить, чтобы щенок жил с нами. Я особо напирал на то, что мы теперь не «снимаем угол», а «сами себе хозяева», и у нас есть своя комната. Бабушка молча слушала мои причитания и отразила их доводом неотразимым: «Бегая по помойкам, он что-нибудь да поест, а у нас и самих есть нечего и Лобик (в ходе выклянчивания я уже придумал ему имя, и мне казалось, что это увеличивает мои шансы) помрёт». Печально спустил я с рук щенка, а бабушка подняла на руки меня, видимо в моё, да и своё утешение тоже. А лед всё шёл и шёл, а вдоль берега пошёл щенок – маленький и скромный, лобастенький и одинокий.

А на другой день мы переезжали на новое место. Вещей было мало – всё разместилось на одной телеге. Помню важнейшие: швейную черно-золотую машинку «Зингер», зеркало «еще из Ростова» и несколько связок книг, нот и журналы «Нива». Меня так

беспокоила судьба моего зелёного одеяльца (может забыли, может потеряли) что мне показали его при отъезде, по приезде и пару раз в пути. На телеге я почти не сидел, а шёл рядом с неторопливой и покорной лошастью, стараясь ещё и ещё раз заглянуть ей в глаза, которые обожгли меня выражением нездешнего смирения. И вообще, лошадь чрезвычайно понравилась мне и всей своей статью, и тем, что, останавливаясь, помаргивала как-то простецки рассеянно, и ещё тем удивительным сочетанием невыразимо вольного с невыразимо подневольным, что так роднит лошадей с хорошими русскими людьми.

Ехали долго - то по островкам асфальта, то по сырой земле, то по упрямым сизым булыжникам – путь к новому дому оказался разнообразным. Я увидел много старинных и милых домов, их резные наличники и балконы осенялись тихими липами. Мне показалось, что бабушка едва заметно кивала им со слабой полуулыбкой сожаления.

Миновав белую пожарную каланчу, мы проехали мимо чёрного завода горного оборудования. «Раньше он был Гутмана», - пояснила бабушка. Завод мне не понравился. Закопчённый и грязный, он, казалось, осквернял все, что было с ним рядом, даже деревья в его дворе производили впечатление тягостное и жалкое. Нелепо и розно стоящие с перекрученными, казалось, стволами, с обломанными, едва зазеленевшими ветками, они походили на женщин, только что подравшихся в очереди за мукой. С облегчением смотрел я направо – ах, река, со вчерашнего она стала вроде бы шире и выпуклей, льдин стало совсем мало, иплыли они, словно одумавшись, медленней.

Телега наша спустилась под гору, на которой сейчас стоит Монумент Дружбы, и по гулкому под копытами мосту переехала малую речонку Сутолоку, коричневым блеском мерцающую на дне глубокого оврага. Из оврага тянуло сыростью и запахом шиповника. Налево показалась церковь – стройненькая, голубая и радостная

себе самой. Возница снял холщовую фуражку и перекрестился. Я подивился его смелости. Мама и бабушка замерли уважительно, но примеру его не последовали. Забоялись. Увлечённый дорожными видами и покорным обаянием лошади, я не вдруг заметил возницу, который после привычного ему жеста привлек любопытное моё внимание. Он явно не походил на обычных своих собратьев – не избивал лошадь, не корчил из себя «рабочую косточку», не сквернословил. Напротив, был молчалив, скромн и трезв. Запомнилась общая незаметность неяркого, смиренного и простого облика, и особенно его ботиночки, размером почти подростковые, опрятные, ухоженные, старенькие. А потом мелькнул его взгляд – взгляд покорно раздумчивой безысходности, который, казалось, порою вмещает всю человеческую жизнь. Странно, но на руке его было золотое или медное колечко. Он помог нам сгрузиться, неумело принял плату и поехал, бабушка вежливо ему поклонилась. Торопливо кивнув, он как-то стеснённо ссутулился и чем-то неуловимым дал нам понять, что на новом месте он желает нам счастья. Бабушка долго стояла задумавшись.

## 2

И вот стали мы жить в сказочном доме. Тогда я имел весьма смутные понятия о времени и, вероятно, уже через месяц полагал, что мы давным-давно обитаем в большом и диковинном тереме. Ниспосланная нам комната была маленькой, но о трёх окнах. Два окна были прямо против входа, с видом на близкий забор, за коим оживал весною большой и красивый сад. Сей сад был частью поместья весьма странной семьи, виртуозно сочетавшей в себе патриархальщину, уголовщину и «патриотическое» доноительство. Последнее обстоятельство, очевидно, и избавило от фронта молодых и здоровенных парней этого образцового для сталинского режима семейства Молчаливо-наглые, эти парни неспешно бродили по на-

шей окраине, искусно совмещая в себе хулиганскую приклатнённость шпаны с вельможной значительностью райкомовских баев.

В солнечные дни элитарный сад был как праздник и сиял так, как может сиять только сад. Были в нем и вишнёвые деревья. И когда я уже был старшеклассником, то, расцветая, эти пленные, казалось, деревья неуместно, печально и трогательно напоминали мне Чехова. В нашей комнате был постоянный полумрак, солнце заглядывало к нам только перед самым закатом, дивно высвечивая смуглую радугу на торце старинного зеркала. Этот полумрак очень мне нравился, он казался уютным и чётко отделяющим нашу семейную неповторимость от мира внешнего – чуждого, непонятного и враждебного.

А за садом была рыжая глинистая гора, на горе морг, а над моргом – тополь. Впоследствии я ходил в школу мимо осенённого тополем морга с чувством неясности и смятения. Но еще в первом классе эти чувства как-то упорядочились - бабушка прочитала мне вслух жизнеописание Пушкина и показала из него картинки. И тополь мой стал, словно из Лицейского садика, по аллеям которого то скучно бродил, то бегал вприпрыжку родненький наш арапчонок. А морг напоминал мне строки Жуковского о последних минутах Александра Сергеевича. Эти слова так поразили меня, что я попросил бабушку прочитать их ещё раз и, слушая её, машинально встал со скамеечки.

А смерть Пушкина я и по сей день воспринимаю как вообще Смерть. Да, смерть впечатлительного и благородного, великого и простого сердца превратила ужас абстрактного небытия в суть христианского прощания души.

Тополь над моргом.... Ах, какой это был тополь! Он стал моим другом – по степени его освещённости я почти безошибочно узнавал время, по виду его листочков или обнажённых ветвей – погоду, а его состояния я всегда сопрягал с состоянием своей души. Когда он замирал в неподвижности, я тоже как-то стихал и вроде тре-

вожился, и вроде чего-то ждал. Я чувствовал, что это ненадолго, и действительно, только что оцепенелый, тополь мой оживал под ветерком, и ветви и листья его принимали формы самые разнообразные, напоминающие всё, что угодно – успевай только следить. И я следил, следил и фантазировал, расширяя глаза (я это чувствовал) и забывая положение рук и ног. А иногда, в тихие летние златонебесные вечера, не шелохнувшись ни единым листиком, он мог стоять в совершеннейшей неподвижности очень долго, чрезвычайно трогая меня мирным своим стоицизмом. Тополь не только приятно волновал меня многообразием своих жизнепроявлений, но, как мне казалось, знал о моем существовании и даже понимал меня. Это меня ободряло, и я залезал на печку, дабы без помех переживать радостную таинственность этих, никому, кроме нас, не известных отношений. Перед сном я обязательно выглядывал в окно - вроде бы проститься с ним до утра; иногда тополь был слабо освещён снизу - значит, в морге творились дела жуткие. Тут я быстренько ложился в постель, радостно кутаясь в зелёное одеяльце, довольный тем обстоятельством, что я ещё живой, хотя разницу между жизнью и смертью представлял не совсем отчётливо. А если мы засиживались допоздна, то над тополем появлялась звезда – очень ясная. Бабушка с несколько мистической полуулыбкой ребёнка легонечко и благосклонно кивала «звёздоньке», словно горничной, нуждающейся в ободрении: «Здравствуйте, моя милая, вот и вы». Помолчав, бабушка приглашала меня полюбоваться на «это чудо», но, видя мою вялость, интересовалась, какая же краса способна меня тронуть. «Глаза собак, - отвечал я и, подумавши, добавлял, - и лошадей». «Ах, - говорила бабушка и, живо переменив позу, вопрошала: - А людей?». Я помалкивал. Что делать, я и по сей день полагаю, что самое прекрасное, непорочное и чистое на свете – это глаза собак и лошадей.

А тополиную звёздочку бабушка называла «вещей». Сидели мы однажды при свечке, ждали маму из школы и вечернего радио-

сообщения о положении на фронтах. Бабушка стояла у карты Европейской России, которая была утыкана булавками с флажками, кои она, сообразуясь с обстановкой, перекалывала с выражениями весьма разнообразными – судьба русской армии (бабушка никогда не говорила «Красная Армия») болезненно её волновала. Составив себе мнение, бабушка подошла к окошку, увидела «звёздоньку» и спросила: «Ну, что нам сейчас скажет Левитан, вещунья моя милая?». «Мигнула», - сообщила бабушка с иронической значительностью и, подойдя к круглому чёрному радио, сжала руки и стала, глядя в пол, ждать. В положенное время «тарелка» ожила и бодрым голосом стала перечислять бои и сражения, населённые пункты и города, а потом стала называть фамилии и звания полководцев. Я сидел у печки и «мусорил» - выстругивал из чурки очередной пистолетик. Вдруг я заметил, что бабушка очень взволнована – ходит, сжимая и разжимая руки, то кутается в шальку, то её снимает... и приласкала меня как-то рассеянно. Наконец пришла мама с двумя стопками тетрадей. Бабушка с несколько напряжённой торжественностью села за стол и сказала: «Галя...» Потом, перебарывая волнение, погладила рукой клеёнку и, вроде бы цитируя радио, сказала: «Сегодня нашими героическими войсками...», но не сдержалась, заплакала. Потом, утирая слёзы, но не убирая морщин со лба, почти спокойно сказала: «Наши Ростов взяли». Мама положила тетради и перекрестилась. Я впервые видел, чтобы она при мне осенила себя крёстным знамением. Да, перекреститься – совершить тысячелетний жест предков - можно было лишь втайне от доверчивого простодушия собственных детей. Но мама, конечно, напрасно беспокоилась: я, как и все дети, был гораздо проницательнее, чем предполагалось, и совершенно ясно сознавал, что о тёплой глубинной внутрисемейной нашей жизни в мире внешнем и поверхностном нужно помалкивать. Странно, но именно скрытность внутреннего моего характера породила простецкую открытость характера внешнего.

Рядом с высоким, стройным и розовым нашим теремом распласталась похожая на барак лесопилка – организация весьма разнообразная: от работников – мрачная, от пил – звонкая, от опилок и стружек – пахучая. Сырьё для этого предприятия приплывало по Белой в виде бесконечно длинных плотов и доставлялось под пилы способом совершенно варварским. Несколько брёвен связывались цепью, и две лошади по бокам их тащили «долготьё» вверх по довольно крутой горе. Связку из трёх брёвен лошади влекли споро и даже хвостами помахивали от возбуждения, хотя упирались, конечно, и шеи выгибали с напряжением. Так бы работать и работать, но нет. Погонщики лошадей, как и все нетерпеливые натуры, воображение имели извращённое и мятежное: почти постоянно будучи «выпимши», они наивно полагали, что чем больше связать брёвен и чем страшнее погонять лошадей, тем работа пойдёт успешнее. Укреплял их в этом заблуждении и парторг лесопилки, человек нечеловеческой энергии, словом своим пролетарским, страстью своей партийною. «Больше связывать брёвен и стьоже с этими клячами, бить их и бить, и план, и план, а вам, товаищи, – пьемиальные», – грассируя, скандировал он, за чудовищным неимением времени справляя малую нужду тут же на берегу, даже не отворачиваясь.

Угрюмые погонщики безнадёжно смотрели на его срам, мысленно сопрягая его вид с будущими своими дивидендами. Повинуясь воле партии и химерам своего невежества, мужики-фантазёры связывали вместе пять, семь и даже девять брёвен. Мат и побои увеличивались соответственно. При девяти брёвнах лошади явно надрывались, но погонщики невменяемо гнали и гнали их вверх похабными воплями и истязаниями.

Господи, как же они их били: мученически вытягивая шеи и тыкаясь губами в грязь, лошади падали на колени, а потом валились на бок в конвульсиях, хрипели, их кроткие глаза выкатывались

и, глядя в одну точку, замирали в горестном и недвижном недоумении. Тут погонщики с «широким русским надрывом» картинно бросали оземь кнуты и, матерясь до пены, ее, лежащую, избивали уже сапогами, светясь особым пролетарским сладострастием. А она, не владея уже телом, вздрагивала только кожей, и отрешенный ее взор, вроде бы намекая на мольбу, по-прежнему оставался неподвижным, даже когда появлялась кровь.

Сердце мое разрывалось – я мучился не меньше четвероногих своих братьев. Ведь это ясно как день: три раза по три бревна гораздо быстрее, чем один раз по девять брёвен. «Так же быстрее» - говорила бабушка истязателям, показывая на отвергнутую связку из трёх брёвен. «Просто быстрее», - повторяла и повторяла она с нервическим подёргиванием головы и, нелепо, смешно и жалко сжимая мощные свои ладони, умоляюще глядела на стоящих животных, опасаясь глянуть на распластанное живое существо. Засуетилась. Потерялась. Отчаялась. Наконец, бабушка взяла себя в руки, «успокоилась» и вместе с одним пожилым башкиром с трудом помогла лошади встать на ноги. И та стояла, родимая, пошатываясь, растопырив ноги, в крови, сначала низко-низко опустив голову, а потом, приподняв её, всё-таки держалась, слабо помаргивая и как бы ища точку опоры.

Как я понял значительно позже, зрелище это было весьма символическим: бабушка стояла перед «народом», просто-таки олицетворяя трагедию русской интеллигенции, – в шляпке (нарочито барской), в чёрном, «ещё из Ростова», штопаном-перештопаном английском костюме, таковых же «счастливых» перчатках, в пенсне, с завитым маленьким локончиком около большого уха - потерянным изумлением перед бессмысленной жестокостью и родственным состраданием к живому существу. На глаза её наворачивались слёзы бессилия – её было жалко не меньше лошадей. Она говорила с «народом» о добре. О, господи! Меня почти до озноба трогали её деликатное заступничество, вежливая попытка лицемер-

рия: «Вы же советские люди», её верность своему классу в чувствах, поступках, манерах, даже в облике своём, для окружающих чуждом и нелепом, «не нашем».

И тридцать лет спустя она продолжала верить интеллигентским своим заблуждениям: «Если с людьми говорить по-доброму, по-человечески, они поймут», - говорила она. Истязатели слушали и смотрели на бабушку с иронически уклончивой глумливостью, с молчаливым достоинством охраняя известную только им пролетарскую тайну-истину. Всем своим покорным высшему суеверию видом они словно бы говорили, что эту великую пролетарскую истину никогда не поймёт тот, кто не бьёт и не мучает, тот, кто не врёт и не пресмыкается, тот, кто не может увечить живое естество жизни. «Вы поймёте, вы поймёте», - говорила бабушка, мелко кивая головой и моргая со счастливой задумчивостью. Никогда и ничего они не поймут: через сорок четыре года одряхлевшие кнутобойцы или несчастные зачатые «по пьяни» их отпрыски, став волею судеб народными депутатами, на первом же своём съезде, недолго думая, стали верноподданно и «патриотически» глумиться над Андреем Дмитриевичем Сахаровым. А он стоял перед ними, беззащитная наша защита, стоял, как стояла некогда моя бабушка перед пролетариями-кнутобойцами, стоял, как та только что вставшая на ноги, избитая в кровь лошадь, стоял, слабо помаргивая и как бы ища глазами точку опоры.

Нет – не поймут.

Внезапно на крыльцо лесопилкиной конторы выскочила девочка и радостно выкликнула фамилии кнутарей с приглашением на партийное собрание. Раздумчиво матерясь, беспощадные люди поплелись в административные чертоги, оставив лошадей на попечение пожилого и озабоченного башкира. Между ним и бабушкой тотчас же начался осторожный, нащупывающий вероятную степень доносительства, но дружелюбный разговор.

Мне скучно было их слушать, и я занялся внезапно появившимся Лобиком, заметно подросшим за время нашего знакомства. За это время сам собою выработался ритуал наших встреч. Увидев Лобика, я обязан был упасть оземь, раскинуть крестом руки и «умереть». Лобик же должен был, вихляя хвостиком, взобраться мне на грудь, громко обнюхать и заскулить. Тут я должен был внезапно вскочить, взвизгнуть и носиться кругами, а Лобик за мной. Замечательно. Это – если сухо, если же сырость и грязь, то я просто пожимал ему лапку, а он, прикрывая глаза, подставлял мне горлышко – чесать. Так было и на сей раз: я присел на бревно рядом с пожилым башкиром и бабушкой, слушал мерный успокоительный тон их беседы, почёсывал Лобикино горлышко и поглядывал на свой тополь, не вдруг его узнавая. После сильного и горького напряжения с лошадьми и унижений бабушкиного заступничества душа как-то успокаивалась, вроде уютно укладывалась где-то в глубине меня, и всё окружающее, казалось, снова появилось на свет и не совсем таким, как обычно, а вроде проще, понятней, родней.

Но всё же что-то томило краешек души, что-то надсадно её тревожило. Я догадался – злоба. А бабушка, едва я научился говорить, всегда внушала мне, что злоба, направленная наружу, – яд, и она перестаёт быть ядом, если направлена вовнутрь, против своих грехов. Я встал, походил, нашёл среди штабелей долготья укромный уголок, где меня никто не мог видеть, огляделся и освоился. Лобик обнюхал все углы и сел, подняв ко мне мордочку. Я встал лицом к брёвнам, закрыл глаза и помолился, уж как умел, помолился за кротких и несчастных лошадей и за буйных и несчастных их обидчиков. Вроде бы полегчало.

Не без таинственности выбрались мы с Лобиком из древесного лабиринта, и я опять сел на брёвнышко и опять стал смотреть на свой тополь. Я смотрел на невесёлую и негрустную его естественность, на серенькое наволочное небо и его неяркий свет покоя над этой неяркой и простой землёй. И в душе моей творилось что-то

простое, неяркое и тихое. И Лобик рядом сидел тоже тихонький. И вдруг где-то слабо почувствовалось солнце – всё изменилось вокруг, и показалось, что небо хочет что-то сказать, но стесняется; или Господь, подумалось мне, так улыбчиво ответил на мою молитву и молчаливо призвал к терпению.

#### 4

О немцах я слышал ежедневно: соседи говорили о них как о стихии, которая вроде дождя - когда-нибудь все же кончится; радио же упоминало о них тоном совершенно непонятным из-за вечной своей грозной и официальной торжественности. Мама о них и «слышать не хотела», а бабушка, читая в газете описания фашистских зверств, покачивала на них головою, но удивлялась не очень: «немцы же». Немцы. Я страшно взволновался поэтому, когда в самом конце войны услышал в темном коридоре: «Вон немцев-гадов пригнали баржи разгружать, склад у нас во дворе будет». И невидимый голос добавил с плутовской шkodливой и подло усмешливой растяжкой слов: «С дровишками будем».

Я рассматривал пленных немцев с любопытством необычайным и пугливым – злодеи же, но потом, подстраиваясь под взрослых, стал корчить безразличие с оттенком «патриотической» гадливости. В глубине души мне казалось, что взрослые тоже изображали суровое своё негодование, не понимал я только, что в основе этого лицемерия многих был привычный и вездесущий страх. Запомнились немцы странными своими шинелями и какой-то особой настороженной молчаливостью. Даже на внезапный шум, обрушившуюся поленницу, например, они реагировали как-то заторможенно: поворачивали на звук не столько головы, сколько глаза. Впрочем, иногда они что-то горячо обсуждали между собой, с удивительным согласием начиная и заканчивая свой галдёж. Отдыхая, они не обменивались шуточками, не бравировали, как русские, сво-

ей усталостью, а тихо покуривали и почему-то часто смотрели на Белую.

Меня удивило, что наши конвоиры на немцев не злобствовались, - напротив, после обеда наш солдат, приподняв половник, кричал: «Добавки кому?» В ответ несмело приподнималось несколько (не более пяти из полусотни) плоских котелков. Всегда разных. Я догадался, что немцы по очереди подкармливали друг друга. Странно, но только на примере других наций – башкир, евреев, немцев - я узнал, что между людьми одной национальности существует братская и кровная связь. Русским же, как мне смутно чувствовалось, для осознания своей национальной общности требовались условия особые и противоестественные: бунт и пожар, смерть и война или, на худой конец, героическая пьянка с мордобоем. «Мы же все свои, руски мы, ё- моё», - рыдал один слесарь с лесопилки, избитый в кровь буйными своими собутыльниками.

Эта немецкая взаимопомощь весьма меня тронула: в ту пору я был очень внимателен к еде и человеческой дружбе. И вот с одним из этих пленных я бессловесно подружился. Он казался мне очень похожим на отца, не внешностью, просто тем, что был молчаливее, печальнее других и как-то особенно одинок. Таким, казалось мне, должен быть отец там, на войне, - печальным и одиноким, без мамы и меня. Немец, видимо, почувствовал симпатию в случайных (и не случайных) моих взглядах, и в ответ что-то смягчалось в нездешних его глазах.

Мне понравилось, что он осматривал удивительный наш дом, как дети осматривают новогоднюю ёлку, то поднимая голову для восхищения, то опуская её для уяснения виденной красоты. Однажды он меня выручил.

В ту пору я имел обязанность собирать для печки щепочки и кору в большую сумку, которую с несколько мелодраматическим выражением бабушка надевала мне через плечо. Я был впечатлительным человеком с уклоном в созерцательность и, заглядевшись

на пророческое отражение облаков в реке (мне многое в детстве казалось пророческим - и направление дождя, и цвет снега, и полет птиц) или на нелепую драку слесарей на лесопилке, я «забывался» и являлся домой с «непузатой» торбой, за что бабушка осыпала меня укоризнами.

Однажды, решив доказать «всем» свою «приспособленность к жизни», я украл берёзовое полешко и потащил его восвояси меж высоких белых поленниц. Преисполненный гордостью, предвкушая радостное изумление домашних, я очень торопился и вдруг наткнулся на двух немцев. Один крикнул, забормотал нечто осуждающее и рывком отобрал у меня добычу. Другой же, «мой», что-то сказав товарищу и несколько его даже потеснив, отобрал полешко, вернул его мне и как-то дружелюбно сморщился. Сначала медленно, а потом быстрее я пошёл домой, очень довольный своей «жизнеспособностью» и избранником своего воображения. Потом на белом от поленниц дворе мы встречались уже знакомыми взорами, но все равно – встречались и отводили глаза.

Я стал обдумывать план, чем порадовать мне моего заступника. Постоянное чувство голода подвигнуло меня на решение самое натуральное: я украл дома две большие (очень большие) варёные картошки, соль и тайком принёс ему. Одну картошку он протянул мне. Я отказался и ушёл домой с тихой радостью, впервые в жизни ощутив в душе тот удивительный свет, который вложен в нас Богом, но я не знал, как он называется. Выходя во двор, я всегда искал его глазами, и, если работала не его смена, мне становилось как-то скучно, даже щенки не так радовали. Я заметил, что он тоже симпатизирует щенкам, особенно одному, степенному и важному. Однажды, тоже тайком и вроде бы между прочим, он подарил мне солдатскую алюминиевую пупырчатую пуговицу и карточку кошки. Чтобы домашние не приставали с расспросами, я спрятал подарки в сарайчике – таинственность этих отношений, безмолвная их многозначительность сильно меня волновали. И во всю мою последую-

щую жизнь меня очень трогали вещи таинственные и невыразимые никаким человеческим словом: церковь, Родина, могила матери, полонез Огинского, посмертная маска Пушкина, рублёвская «Троица», старческий взор.

А потом немцев увезли. Я стоял на берегу и смотрел, как они грузились на баржу. Грузились чётко, строем, беспогонные их офицеры ими командовали. Уже на барже, среди толпы, я разглядел «своего». Мы встретились взглядами. Я боялся махнуть ему рукой, да и он, видимо, тоже: неуверенно приподнял было руку, но поправил только воротник и стал смотреть в сторону. Внезапно пароход закричал, захлопал колёсами и, дрогнув тросом, повлёк баржу. Я посмотрел на небо, Бог знает почему, и было на нём великое множество облачков вроде перламутровых булыжников. Я долго стоял на берегу, пока баржа и пароход не стали совсем маленькими. Как ни странно, это была первая потеря в моей жизни.

## 5

Мы жили в предпоследней квартире, а в самой последней, четырнадцатой, жила не просто соседка, но и сотрудница отца по художественному фонду, тётя Лена. Впрочем, «тётей» я мог называть её мысленно, ибо бабушка запретила мне называть кого-либо «дядями», «тётями», а только по имени-отчеству. Много «свободного» моего времени уходило на заучивание соседских имен-отчеств, зачастую весьма экзотических. Но я старался, чувствуя, что людям приятно, когда после «здравствуйте» я без запинки добавлял «Минсагит Муллашаихович» или «Тагзима Нурисламовна». Елена Григорьевна была женщиной необыкновенной: в фонде она считалась одной из лучших исполнительниц портретов вождей, в церкви же, почти ежедневно ею посещаемой, она считалась знатоком евангельских текстов и многих обрядов и правил православной веры. До войны такое сочетание столь различных добродетелей было бы

невозможно, но во время войны на это никто не обращал внимания. У неё была дочка, чуть старше меня, но она ходила в садик, и, когда мамы и бабушки не было дома, Елена Григорьевна приглашала меня к себе, скучая одиночеством. Я шёл к ней с большим удовольствием: портреты вождей она исполняла дома, и мне очень нравился запах масляной краски, разбавителя и сам почти благодатный процесс постепенного появления на холсте лиц таинственных и легендарных. Портреты простых и человеческих товарищей Сталина, Молотова, Ворошилова и Берии Елена Григорьевна выполняла с почти религиозным усердием и перед изображением самых важных мест - глаз, ртов и наград осеняла себя крестным знаменем. Было тихо и хорошо, особенно когда на дворе свирепела непогода, а в печке успокоительно потрескивал огонь. Я садился на «свой» сундучок, поглядывая, как Елена Григорьевна работает, слушая её неторопливые рассказы из жизни Христа, тёмный лик которого бесстрастно и просто смотрел на меня из-за рубиновой лампадки. Да, так уж получилось, что добрым светом этой лампадки вместе с Христом были освещены в детском моем сознании простые и человеческие лики членов сталинского Политбюро.

Я слушал Елену Григорьевну, всей душой впитывая интонации добра, смирения и покоя, тихо и глубоко радовался, что ради меня, такого маленького, так старается взрослый человек: меняет выражения лица, тональность голоса и степень душевного напряжения. Я чувствовал, что в этих разговорах Елена Григорьевна и сама успокаивается и обретает покой в неведомой мне, но несомненной тверди. А то, что у неё тревожно на душе, я по малолетству своему догадался раньше всех. Вскоре всё разъяснилось: её муж Василий нашел на фронте другую женщину и женился на ней, оставив Елену Григорьевну с дочкой на произвол судьбы.

Однажды, выходя гулять, я встретился в сенях с роковым Василием, «заскочившим» к прежней семье, дабы покончить с нею дела «по-человечески». Я поздоровался с ним и вышел на крыльцо.

Оглянулся и увидел женщину, Она стояла слева от входа, прижавшись заплечным рюкзачком к стене, смотрела вниз и, видимо, волновалась. Я поздоровался, она мне кивнула, и я проскрипел мимо неё по снегу смотреть двор: где и как намело снегу, и есть ли собачьи следы возле нашего сарайчика. Разведав все, я взглянул на свой тополь: ветви его были обнажены и, казалось, что-то просили у неба. «Снега, наверное», – подумал я и опять подошёл к незнакомке. Потоптавшись немного, оглядел её ладные сапожки, ладную шинельку и, наконец, взглянул в её лицо под серенькой ушаночкой, лицо простенькое и удивительно милое. Долго не мог я отвести взора от света простоты, ясности и миловидности, даже не предполагая, что только такие женские лица будут волновать меня всю оставшуюся жизнь. «Вы партизанка? - спросил я шёпотом, желая сделать ей приятное, но чтоб она не решила, что я дурак дураком, уточняяще добавил: – В отпуске?». Наконец-то она меня заметила, посветлела лицом и вдруг быстро и гибко присела передо мной: «Рыжик, - сказала она с дружелюбной укоризной, - ты фантазёр. Я военврач». Я сказал не без важности, что тоже умею лечить собачек: вылечил Лобика, Майку и Самогона. При последнем слове ласковые, чуть припухлые глаза её расширились. «Са-мо-го-на», - начала она улыбочиво и по складам, но тут из дома вышел дядя Вася, очень сосредоточенный. Он потрепал меня по шапке, мне показалось, что от него пахнет водкой, она взяла его под руку, и они пошли к горе, возвышавшейся над нашим двором, на которой чуть в стороне стоял, худенький по зиме, мой тополь. Я шёл сзади, объясняя, что «Самогон» просто очень шустрый пёс, они переговаривались, не оборачиваясь, и я отстал от них и стал смотреть, как они поднимались в гору.

Им было трудно – скользота, а они с двумя чемоданами и рюкзачками, да и тропинка вверх была им незнакомой. Иногда они как-то неуклюже скатывались вниз, но помогали друг другу, взаимно ободряясь возгласами, несколько преувеличенными. Мне по-

чему-то стало их жаль. Наконец они взобрались на гору и остановились передохнуть, повернувшись в сторону Белой и мою тоже. Я знал, что оттуда они сейчас видят очень далеко и помахал им рукою. Они мне ответили. Она, показалось мне, сделала это с большей охотою. Я поулыбался и шутливо поклонился им в пояс. Они мне тоже. Но вполпояса. И ушли.

Пошёл ожидаемый мною снег, нехотя, словно его силком посылали на землю. Я повернулся к тополи и стал думать, чем отличается снег, падающий на тополь, от снега, что ложится на землю и крыши. Мне показалось, что и крыши и земля принимают снег покорно, а вот тополь, словно бы встречая гостей. На снегопад я мог смотреть очень долго, забывая себя. Зная это, бабушка позвала меня: «До-о-мой!», выдав в форточку большую отцову кисть, коей я очищал от снега свои валенки – взрослый веник был чуть не с меня ростом. Дома я поставил валенки в углубление печи, словно для них созданное, что очень меня умиляло. «Вот ваш домик», - приговаривал я, устраивая валенки в нише. Мне казалось, что они тоже рады, что у них есть место, ибо стояли там дружно с каким-то особым домашним видом.

Пока я, по бабушкиному выражению, «рассупонивался», пришла Елена Григорьевна, чрезвычайно печальная, с бутылочкой темной настойки и корзиночкой с пирогом, укрытым салфеткой. Мама моя стала её утешать, хоть и сама была сильно расстроена, да и знобило её сильно, ёжилась она над тетрадками в двух шалях, своей и бабушкиной, Потом они сидели за столом: выпили по рюмочке (бабушка отказалась и выпить и «судить людей»), «поклевали» пирога и осудили поступок Василия. Мама, по-учительски сложив руки на груди, говорила: «Когда ж это началось, принеси-ка, Ленусь, его письма, особенно то, осеннее».

Елена Григорьевна пошла такая понурая, что у меня сжалось сердце. Я ел печёную картошку и раскладывал, чтоб отвлечься от человеческих печалей, кожуру в виде узоров; и так увлёкся, что не

вдруг обратил внимание на мамино восклицание: «Это она, она виновата, подлая», - и мама показывала печальной Елене Григорьевне «хитрое» слово из письма неверного капитана. Подруги стали порицать «разлучницу» и ужасаться её безнравственности. Матушка сказала, что на чужом несчастье своего счастья не построишь. Очень они «её» ругали. Я вспомнил незнакомку, вспомнил её беззащитную готовность упасть на крутой и скользкой тропочке и простодушную её настырность, с которой она преодолевала трудности горы. И представил я её маленькой и пожалел я её, и решил за неё вступить. Поправляя кожуркины узоры на газете, я неожиданно для себя сказал: «Не ругайте её – она добрая, красивая и простая, и весёлая она». – «Ты её видел!?!». Я всё рассказал. Обменявшись взглядами, быстрыми и страшными, и опустив головы, подруги молча слушали. Мне прискучило отвечать на их расспросы, и я подошёл к бабушке, которая смотрела на метель и показалась мне печальною.

Было два способа развеселить маму и бабушку, когда они предавались грусти и унынию. Первый был очень прост: нужно было подойти и приласкаться, второй же требовал некоторых артистических способностей: нужно было сутуло сидеть и говорить взрослым и покорным тоном на темы житейские и печальные. Очевидно, это было смешно, и бабушка и мама веселились прямо на глазах. Но сейчас, в присутствии Елены Григорьевны, оба способа казались мне неуместными. Я поступил проще: попросил бабушку почитать мне сказку. Она качнулась ко мне: «Какую?» - «Ту, - сказал я, - где коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил». Бабушка просияла: «Запомнил, умничек». «Запомнил, хлопчик, запомнил», - счастливо обернулась она к неподвижным подругам, которые, несмотря на печаль, рассуждали о качестве пирога и советовались, разогреть его или так поесть. В поисках книги бабушка рылась на полочке, настороженно прислушиваясь к неясному бормотанию приглушенного радио. Вдруг, нахмурившись, бабушка прибавила звук,

и все мы услышали голос торжественный, скорбный и отлетающий: «Красная Армия склоняет свои боевые знамёна перед гробом генерала Черняховского». Бабушка охнула, села с лицом испуганным, но подсвеченным оживлением новости, сказала: «Боже мой, Черняховский, такой молодой». На всю жизнь запомнил я предвесенний метельный этот вечер: Иван Данилович Черняховский, Дважды Герой Советского Союза, Генерал Армии, Командующий третьим Белорусским фронтом. Потом я увидел его фотографии – симпатичный, с длинной шеей, с красивыми, очевидно, карими глазами украинской панночки, и казалось, что на плечах его не четырехзвёздные генеральские погоны, а прелесть новизны и молодого легендарного счастья.

Много лет спустя, я прочитал в книге И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» об Иване Даниловиче строки, меня взволновавшие и по-новому осветившие детские мои впечатления. Эренбург писал, что Иван Данилович был любимцем судьбы – весёлый, простой, был счастлив в сражениях, любил стихи и под аккомпанемент орудий делился с автором мудрыми и горькими наблюдениями.

А в тот далёкий-далёкий вечер я почему-то решил, что Черняховский сирота, и я ушёл за печку, чтобы за него помолиться. Молитву я придумал сам – была она простая: «Спи спокойно, русский воин, – вечная тебе слава, вечная тебе память». Слова «вечная память, вечная слава» бабушка прочитала в темно-жёлтом журнале «Нива» над многочисленными фотографиями русских воинов, павших ещё в «ту войну» с немцами. Я помолился и, чтоб успокоиться, вытащил и съел несколько капустиннок из пирога, который грелся на печи в чёрной чугунной сковородке. Потом я вышел к столу, за коим уговаривали бабушку «приголубить» рюмочку. Бабушка покачала головой, но рюмочку взяла, оцепенела на секунду и, не чокаясь, стоя выпила – помянула.

Потом матушка с Еленой Григорьевной очистили стол, каждую крошку убрали, и стали гадать на картах на Васю, на Лену и

«эту». Меня неприятно кольнуло, что подруги почти никак не откликнулись на смерть молодого полководца, поэтому, когда они для успеха гадания спросили, какого цвета волосы у «этой», я вытащил из бабушкиной корзиночки с нитками самую красивую (и лживую) бледно-жёлтую шпульку и, приложив её к виску, состроил «ангельское» оскорбительно прекрасное лицо. «Блондинка», - упавшим голосом сказала Елена Григорьевна. «Крашенная», - сказала мама и стала раскладывать карты с совершенно деловым лицом. Неожиданно бабушка сказала: «Зачем тебе, внучек, зависеть от чтецов – давай я буду учить тебя читать». - «Давай», - восхитился я. Так в предвесенний снегопад сорок пятого года я стал учиться самому важному из человеческих дел – чтению.

## 6

Проснувшись и еще не открывая глаз, я пытался обычно предугадать, какая на дворе погода, под каким светом я сегодня буду жить: под ярким и резким светом суетного и слепящего солнечного дня или под неярким и мягким светом мечтательного и задумчивого дня пасмурного. Состояния природы были совершенно неотделимы от состояния моей души.

Однажды, с привычным уже любопытством открыв глаза, я не увидел ни по бликам на потолке, ни по степени освещённости стен никаких признаков знакомых мне состояний погоды. Был странный полумрак, обычный при сильном и затяжном дожде, но не слышно было успокоительного шума, напротив – была удивительная тишина. Я глянул в окно и замер – за окном не было ничего, за двумя другими окнами тоже ничего не было. Я растерялся. Бабушка уже пила утренний шиповник за кухонным столиком, не без лукавого любопытства наблюдая за моим недоумением. Я подошёл к ней и, косясь на окно, показал на свою ярко-коричневую кружечку: «И мне налей». Бабушка ужаснулась: «А умываться?» Немного поспо-

рили. «Умываться, - сомневался я, - а за окном вон и вообще ничего нет». «Хлопчик намекает на конец света», - сказала бабушка, обращаясь к портрету Сталина и повернув в мою сторону мощные свои ладони. С победоносной полуулыбкой товарищ Сталин смотрел в будущее и словно говорил: «Конец света для большевиков – это не проблема».

Видя, что я весьма озабочен, бабушка меня ободрила: «Что за паника, голубчик, это же туман». – «Что это?» - спросил я с живостью. Бабушка «научно» мне всё объяснила. Конечно же, я ничего не понял - «конденсация», видите ли. «Откушавши» шиповнику, я запросился на улицу, мысленно готовясь к встрече с неведомым. Было сыро, сапожки мои прохутились, и бабушка достала ботинки, кои маме как жене фронтовика выдали давным-давно и бесплатно в какой-то организации, но тогда те были ещё слишком велики и чуть ли не год «ждали мою ногу» в сереньком сундучке. Я внимательно осмотрел и даже понюхал темно-жёлтые крепенькие ботинки с не-нашими буквами на подошве песочного цвета. Они мне очень понравились, тем более что были они весьма загадочного происхождения: мама говорила, что эти ботинки мне «подарил Сталин», бабушка же утверждала, что мне их «прислал президент Рузвельт».

Призвав меня к вниманию, бабушка «в первый и последний раз» зашнуровала мне старую обнову, я потопал ногами и не без волнения пошёл прояснять вопрос о тумане. Конечно же, в сенях встретила соседка и ласково запричитала: «Ой, какой ботинка – новый-новый, где взял такой, красивый какой». Подумавши, я сказал, что один ботинок (вот этот) мне подарил Сталин, другой – президент Рузвельт. «Па-а-а-ташь», - пропела Тагзима Нурисламовна и удалилась в совершенном восхищении. Я вышел во двор.

Не полной была мгла: рассмотреть можно было только очень близкое; всё удалявшееся тихо, нежно и таинственно превращалось в туман, в ничто, в грандиозность. Около нашего сарайчика я присел на корточки – и к ботинкам поближе, и чтоб обдумать туман –

явление для меня новое и очень важное. Неизвестно откуда возник Лобик и, помахивая хвостиком, притулился ко мне. Я его погладил: «Туман, Лобик, туман». Лобик потупился. У него вообще была манера вдруг скромненько так потупить совсем неожиданно и вне связи с окружающей обстановкой. А потом, и тоже вдруг, он обращившись ко мне и, сделав бровки домиком, поводит на меня простецким навывкате взглядом. Этот навывкате взгляд, смиренный и несколько диковатый своей естественностью, чрезвычайно и глубоко меня умилял, и трогал, и казался мне таинственным проявлением каких-то высших, неясных как туман, но всезнающих и всемогущих сил.

Всё сущее вокруг, неслышно, но зримо тающее, казалось мне странным, волшебным и пророческим. Это – «он» (как-то туманно, но сильно чувствовалось мне), «он» - кому я молился, кого я угадывал во всех проявлениях жизни, и кто бесстрастно и просто смотрел на меня из-за рубиновой лампадки Елены Григорьевны. Я пытался даже «соображать»: вот ведь – радостно мелькнуло в душе – вот я не вижу моего тополя, а он есть, и только туман мешает его видеть. А может, и не мешает, а так надо, чтобы знать, что невидимое – есть.

Тут мысли мои окончательно смешались, превратились в нечто бесформенное, но глубокое, тайно и остро радостное, такое почти физически радостное, что я не вытерпел, вскочил на ноги, подсвистнул Лобика, и мы вместе помчались к реке – я молча радуясь, а он во весь голос. Непривычно и странно звучал в тумане весёлый его лай. На реке тоже было удивительно: лёд уже прошел, и только несколько маленьких льдинок-сирот, крутясь, прошмыгнули мимо нас из тумана в туман. Было слышно, как невидимые матросы с невидимой баржи говорили разноязыко, потом загрели цепью, хохотнули и успокоились. Вода в Белой была светло-коричневой, как Лобик, что опять-таки на что-то неясно намекало и с чем-то таинственно было связано. Мне показалось интересным поговорить с

видимой пустотой, и я спросил в сторону предполагаемой баржи: «Который час, дяденьки?» Меня переспросили, помешкали и ответили. Странно было слышать осмысленный ответ из бессмысленной, казалось, пустоты. Засунув руки в карманы «зипуна» и уже почти привыкая к ощущению новых ботинок, я пошел домой, наблюдая, как Лобик присоединился к стайке бодрых собачек. Странное чувство испытываешь, когда близкое тебе существо присоединяется к сообществу себе подобных. Тревожится душа, очевидно догадываясь, что себе подобных не имеет ни одно живое существо.

Вернувшись домой, я присел возле красочной таблицы, дабы продолжить изучение русской грамоты. Таблицу эту, где каждой букве соответствовал рисуночек, сделала мне бабушка, выразив в этой таблице простодушные фантазии своей самобытности. Она получилась настолько оригинальной, что мама велела повесить её за печкою, подальше от нескромных людских взоров. И действительно: букве «А», например, соответствовал кудрявый толстенький и голенький парнишка – «Ангел». Бабушка срисовала ангела с «амурчика» из отцовской художественной монографии, и был он действительно парнишкой со всеми несомненными признаками своего пола. Мама с молчаливою укоризною указала бабушке на несомненные признаки и спросила: «Ну, какой же это ангел?». Бабушка заморгала и потупилась: «Я ему пририсую трусики, маленькие такие трусики», - и была она такая растерянная и милая, что я не утерпел и стал целовать её, утешая словами смешными и ласковыми. Над другими рисунками мама тоже вздыхала: «Буква «Б» - бутылка, Господи». Но вот рисунок к букве «Г» вызвал у нее почти ужас. Олицетворял букву «Г» приятный человек в усах и бородке, в военной фуражке русского образца (с овальной кокардой), в кителе с погонами и орденским крестиком у горла – «Государь». С плаксивым лицом мама выговорила бабушке, упрямо, как школьница нагибавшей голову: «Ты, мама, хочешь, чтоб нас всех пересадили, мало тебе, что отец сидит». «Но кто ж поймёт, что это государь -

офицер и всё», - с кротким испугом возражала бабушка, но по её косвенному, в мою сторону, заговорщицкому взгляду, я понял, что от своего она не отступится. Конечно же, всей душой я был на стороне бабушки и жалел её, и сочувствовал и ей, и её трогательной привязанности ко всем несчастным и гонимым.

Однажды в ненастный осенний день (шел затяжной дождь, но небо было странно жёлтое) мы рассматривали с нею пожелтевшие подшивки журнала «Нива» за 1915 и 1916 годы, и бабушка, изменившись в лице, обратила рассеянное мое внимание на фотографию русского офицера (полковника) среди иностранных военных представителей. Вроде бы обычный русский офицер, приятно трогала только общая скромность интеллигентного и простого, чисто русского облика. «Это император», - и по дрогнувшему её голосу и совершенно особенному затуманенному взору я понял, что относится она к нему с любовью, уважением и, как мне показалось, состраданием. Последнее тут же объяснилось: «Его убили». В ответ на мои расспросы бабушка цитировала Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь». Позднее, в комнате был светлый полумрак от густого снегопада, мы с бабушкой рассматривали кнебелевское издание монографии И. Э. Грабаря «Валентин Серов», в коем увидели два портрета государя, исполненные Серовым в 1900 году. На одном император был «в форме Великобританского Шотландского № 2 драгунского полка», на другом – в простенькой военной курточке. Второй портрет мне чрезвычайно понравился: странно было думать, что такой приятный, скромный молодой человек с домашним, печально-стоическим выражением прекрасных глаз – повелитель громадной империи, самодержец всея Руси. Ещё более странно мне было узнать впоследствии, что он был именно таким, каким возник в детском моём воображении

Бабушка в юности своей видела императора, но более рассказывала со слов своего брата, Виктора Алексеевича Павленко, который, будучи одним из первых русских авиаторов, командовал во-

енно-воздушной охраной императорской ставки. По словам сестры и брата (они были дворяне и лгать не могли), в моем сознании воссоздался образ человека простого и беззлобного, глубоко чуждого всяческой рисовке и легко угадываемой игре в «скромное величие». Скромность его была природною, но, дабы избежать искушений неограниченной власти, он укреплял её воспитанностью удивительно тонкою. Он был доброжелателен, трудолюбив, трудолюбив даже физически – сам чистил снег, пилил и колол дрова, седлал коня. Виктор Алексеевич рассказывал, что государь любил «покурить» с кем-нибудь из конвойных казаков. Одной из таких бесед он оказался свидетелем: говорили о ценах на овёс, о разнице казачьих и общевойсковых сёдел, о погоде, о житье-бытье. Взаимозаинтересованные разговором, собеседники не казались людьми, стоящими на противоположных ступенях социальной иерархии, – нет, что-то незримо их объединяло. Может быть сходство характеров, а возможно, то простое, но раньше в России решающее обстоятельство, что оба были христианами и отцами больших семейств.

Зашел разговор о детях. Ободрённый естественной простотою беседы, казак задал императору «бестактный» вопрос о здоровье сына. В тех условиях этот вопрос был уже не семейный, но Николай Александрович совершенно не обратил внимания на «бестактность» вопроса, чуть дрогнув погонями и принагнув голову, отвечал печально и просто: «Лечат». Виктор Алексеевич говорил сестре, что он хорошо понимал и чувствовал этого человека, – понимал, что живётся ему нелегко: бремя власти было для него тяжёлым и не всегда приятным долгом, ибо по природе своей был Николай Александрович мягкосердечен, нерешителен, добр и прекрасно разбирался в тщете крутых и однозначных решений. Виктору Алексеевичу казалось, что из всех своих горячо любимых детей он как-то особенно нежен с Алёшей и Машей – самыми в семье слабенькими.

Брат с улыбкой рассказывал бабушке, что император с удивлением, почти горестным, узнал, что Виктор Алексеевич абсолют-

ный трезвенник. «Вы что ж, полковник, из кержаков, наверное?» - поинтересовался он, вроде бы с сочувствием. «Нет, Ваше Величество, не кержак, а авиатор», - отвечал Виктор Алексеевич с «дерзостью». Николай Александрович примирительно улыбнулся: «Да, сферы высокие». Когда бабушка рассказывала мне всё это, глаза её заволокли слёзы воспоминания, а лицо дрожало от борения сложных чувств – нежности, преданности и печально-горького сожаления: «Ведь он любил Россию и умер вместе с ней». Видимо, от отца, императора Александра, к нему перешла неафишируемая любовь ко всему истинно русскому – русскому укладу жизни, русской вере, русскому фатализму даже, но любил он Россию не громогласно, как отец, а как-то смиренно и тихо, вроде бы чуть опустив голову. «И руки», - добавила бабушка голосом строгим «гражданским» и укоризненным. «А вообще-то он был настоящим чеховским интеллигентом», - закончила бабушка таким тоном, словно это объясняло всё. Не всё, но многое, как понял я гораздо позже, читая и перечитывая «Вишнёвый сад».

## 7

С самого начала войны, примерно раз в год, мама и бабушка получали от какой-то организации сто или двести солдатских шапок, кои нужно было выстирать, высушить, где надо починить и через ту же организацию вернуть в действующую армию. В эти дни мы жили среди шапок, они были везде - рядами, ровненькими, покорными судьбе и жутковатыми.

Однажды мы сидели с бабушкой над очередной партией шапок – она чинила, а я, польщённый доверием, помогал ей: почти торжественно. На днях наша армия начала штурмовать Берлин, и мы полагали, что эта партия шапок - последняя. Мы ещё не знали о будущей войне с Японией. Закончив чинить шапку, бабушка осматривала её со всех сторон, одобрительно поворачивая голову, по-

том, склоняясь над ней, как над живым существом, то место, где звёздочка, мелко-мелко крестила – «от пули» и затем передавала мне. Я должен был выдернуть белые нитки намёток, почистить щёткой и положить в мешок. Если бабушка не видела, я тоже старался перекрестить шапку, но уже в других местах – «для верности».

Я очень внимательно следил, чтоб ни одна шапка не осталась без нашего благословения. Работали не торопясь, но споро: кучечка белых ниток увеличивалась и мешок наполнялся. Было уютно, тихо и ласково: бабушка с доброй усмешкою рассказывала о том, как я был «маленьким», и о том, как тотчас же по объявлении войны отец повёл меня фотографировать, чтоб взять на фронт мою карточку. Посмеиваясь, бабушка говорила, что когда меня перед съёмкой прихорашивали – подравнивали «чуба» и причёсывали, я упорно зажмуривал глаза. Боялся смотреть в зеркало. Бабушка лукаво улыбалась «Ну ладно, тогда ты боялся, что волосы в глаза попадут, но вот я заметила, что ты, дурачишка, по сей день в зеркало никогда не смотришься – как собачонка на него косишься. Отчего так, внучек? - спрашивала она уже серьёзно. – Объясни, мне это интересно, ну давай». Я помолчал, помялся и, дабы прояснить вопрос, подошёл к зеркалу. Со знакомым уже выражением пережидания я смотрел в него и не мог понять, что есть общего между этим выражением и мною. Бабушка меня подзадоривала: «Ну что там за тайны такие, видимые-невидимые? Язычник ты, что ли?» - совсем уж смеялась она. Мне радостно было, что бабушка смеётся, и сам я вроде улыбался, но, ещё улыбаясь, задумался. Несколько минут ворочал я в себе очень сложные вещи, вещи невыразимые для шестилетней души, ибо то, что я считал собою, включало в себя почти всё, что волновало свежесть моего воображения. Тут были и дожди – то кроткие, то вспыльчивые, тут был и таинственный туман, похожий на божье сотворение мира, и беспощадно ясное солнце, похожее на конец его. Тут были и замедляющие жизнь матовые морозы, и убы-

стряющие её ослепительные ручьи; тут были и тревожащие мир мятежные птицы, и успокаивающая его, на все согласная Белая – родная моя река. Тут были и неожиданные вспышки глубочайшей, головокружительно-внезапной нежности к людям, совсем разным, даже незнакомым прохожим. Была нежность даже к тому, с чем соприкасались их душа, тело, взор; так я испытывал любовь к пальтишку (я его даже гладил), которое согревало маму, и испытывал благодарность к своему тополю за то, что мама взглядывает на него порою, словно припоминая что-то хорошее и надежное.

И еще было одно ощущение: мне казалось в те военные времена, что совсем разные вещи – и дожди, и туманы и даже розовые солнечные снега, и задумавшиеся люди, и озябшие старушки, и важничающие щенки, и вербочки, и осиротевшие книги – всё важное и значительное, что меня волновало, было освещено (или подсвечено) неярким светом плакучей свечечки, которая, погибая и возрождаясь, светила нам всю войну в медном, стареньком «ещё из Ростова», дореволюционном бабушкином подсвечнике. Словно бы та, ушедшая из этой жизни Россия, зная о нас и о войне, посылала нам молчаливый, неяркий и, как выяснилось позднее, никогда не гасимый свет. Как я мог в неполные шесть лет объяснить бабушке эти переполнявшие меня чувства, ощущения, предчувствия, их-то я и считал собою. Но отвечать было надо, и простодушная бабушкина заинтересованность, и её искреннее любопытство к моей персоне, вероятно, впервые в жизни подвинуло меня на «обобщение». Тогда я сказал, что зеркало показывает не меня, а моё лицо. Очевидно, бабушка меня поняла: она встала, ближе подошла к окну и, слабо прищурясь, стала смотреть на мой тополь. Я тоже затих, прислушиваясь к тишине во дворе, в душе и в доме. Помолчав, бабушка сказала с той тихой, искренней простотой, которая при внешней нейтральности тона как-то неожиданно и естественно превращается в сердечность: «Я тоже так думаю». Мы помолчали немного и продолжили кроткую радость дела несомненного и полезного.

Внезапно (мы аж вздрогнули) в нашу дверь что-то сильно ударило – так сильно, что она затрещала, потом еще и еще раздались удары, сотрясавшие не только дверь, но и стены. Бабушка подошла к зеркалу, поправив маленький локончик у большого уха, поправила шальку на плечах и с «бесстрастным» лицом пошла узнавать причину грохота, необыкновенного и наглого. Резко откинув крючок, бабушка вышла в сени, я вышмыгнул следом – перед нами отступил, открыв рот, покачивая головой и делая «сонные» глаза, совершенно хмельной Афзал Гимаевич – сосед и демобилизованный воин. В новенькой гимнастёрке с множеством наград, он держал в руке помойное ведро со смерзшимися нечистотами, коим он и колотил в нашу дверь – ошметки помоев валялись перед нею. «Что здесь происходит? - спросила бабушка «спокойным» голосом. - Что Вам угодно, Афзал Гимаевич?».

Решив, что выражение «сонных» глаз следует изменить, Афзал Гимаевич вытаращил их совсем уж по-безумному и захрипел: «А-а, выползла, дворянская крыса, сука, падла белогвардейская, интилл-и-генка бродячая, испугалась пролетарского гнева. Что мне угодно? Мне угодно не жить под одной крышей с врагами народа, я – коммунист, я не могу, я кровь проливал за Савецку власть!» Далее пошли слова нецензурные, но все-таки, хоть и в истерике, он увидел бабушкин взгляд. Взгляд был очень светлый и в выражении его коммунист, очевидно, увидел что-то такое, отчего истошный его хрип перешел в неясное бормотание, закончившееся икотой и рвотой уже во дворе. Бабушка стояла чрезвычайно прямо, вроде ещё и ещё выпрямляясь, стояла спокойно, но смотреть на неё было тяжело и страшно. Не сразу бабушка вздохнула, зашла в дом, взяла веник, ржавенький совочек и стала выметать нечистоты из сеней. Увидев, что я топчусь тут в сереньких носочках, бабушка меня прогнала.

Дома я оделся потеплее, несмотря на конец апреля, было холодно, и вышел во двор разузнать, отчего большинство жильцов

нашего дома толпятся во дворе, у самых ворот. Оказалось, ждут свадьбу. Женился один из родичей Афзала Гимаевича, чем и объяснялось преждевременное его буйство и пьянство. Как и все дети, я не выносил пьяных и посему даже не стал смотреть, как несчастного и подлого Афзала приводили в чувство более трезвые его приятели. Мальчики и девочки объяснили мне, что невеста приедет из деревни – свадьба будет «богатая», и зрителей будут одаривать конфетами и даже пирожками. Это показалось мне странным – всё показное я считал стыдным, фальшивым и тайно – корыстным. Девочка Ира – большеглазая, белобровая и сопливая, с красными озябшими руками, доверительно сообщила мне, что «люди говорят» о необычайной красоте невесты, и что ради нее-то она тут и «торчит». «А вовсе не из-за конфет», - добавила она с гордостью. Я живо с ней согласился, сразу же зауважав несокрушимую мощь бескорыстия, теплившуюся в промёрзшем и худеньком теле маленькой девчонки. Поматывая из стороны в сторону бедовой своей головой, примчался Самогон (девочка Ира посторонилась), я почесал ему уши, он отдышался и умчался с таким видом, словно без него, где-то там, всё пропадёт.

Внезапно с дороги возле лесопилки раздались возгласы, призывающие людей на подмогу: свадебная «полупорка» забуксовала в грязи, украшенной узорами шин, пересекавшихся с удивительным разнообразием. Сколько ни рассматривал я людей, слезших с машины, я не видел ничего похожего не только на красу, но даже на невесту. Ира объяснила, что невеста приедет чуть позже в «в легковушке же», а не в грузовике. Так и случилось: когда полупорку без воплей выкатили на твердь, показалась легковушка – старенькая и смешная, но украшенная бумажными цветами и ленточками. Дело случилось у самых ворот нашего дома, и все ждали, что невеста тут-то и явится народу. Хотела этого, судя по её движениям, и девушка, но дверь древней легковушки то ли перекосило от ухабов, то ли еще что случилось, но заклинило. Дело принимало оборот не-

предвиденный: потрепетавши как птица, невеста потихонечку успокоилась, но беспокойство на воле увеличилось – наиболее нетерпеливые притащили топоры и, даже не без торжественности, проплыл лом в притихшей от такого радикализма толпе. Последнее обстоятельство было причиной шуток, кои девочка Ира объяснила мне как «неприличные». В конце концов дверь как-то открылась, и невеста вышла, опустив голову и внимательно смотря себе под ноги – ступала она не то чтобы с радостью, а с неявным, но хорошо чувствуемым уважением и к людям, и к единственной в её жизни ситуации. Сделав несколько шагов, она, наконец, подняла голову и оглядела, чуть поворачиваясь, удивительный наш дом.

Что-то открылось у меня в душе, и что-то не то в неё впорхнуло, не то из неё выпорхнуло – я увидел неземную красоту. Впервые в жизни. У неё был чистый, выпуклый серьёзный лоб с детскими подвижными бровями, небольшой нос, губы с ребяческим складом, широкие и высокие скулы с немыслимой плавностью вливались в детское простодушие щёк, щёк не улыбающихся, но молчаливо приветливых. При некоторых поворотах лицо её казалось совершенно европейским, а при других было несомненно – это башкирка, это гордо-смирная женственность Азии. И вот это редкое сочетание черт зрелой женственности с видом простодушно ребяческим, это тончайшее созвучие форм европейской правильности с пластикой азиатской выразительности и было, видимо, той уводящей из этого мира прелестью, которой невольно светило её божеественно прекрасное лицо. Свет женственности и красоты освещал, казалось, не только её облик, но и всех нас, таких обычных, всю нашу окраину и весь весенний, ещё не прогретый белый свет. С естественной грацией участвовала она в ритуале свадебной встречи – не манерничала, не печалилась, да и не очень, видимо, радовалась – а исполняла всё очень просто, серьёзно, деликатно, с какой-то, очень тронувшей меня, дружелюбной облегчённостью души.

Случайно я услышал имя – Нагима – её ли было оно или её подружки, не знал, но мне оно понравилось, и мысленно я так её и называл.

Нравится мне это имя и сейчас: есть в нём и девичья откровенность гибкой сексуальности, и женская покорность бытовой согбенности.

Я перестал замечать внешние события, совершенно не имея сил отвести взор от созерцания удивительного лица, сошедшего в наш привычный мир с возмутительностью волшебной сказки. Из состояния сладостной замороженности чувств меня вывела девочка Ира. «Смотри, - тронула она меня за рукав, - жених-то какой страшный». Тут только я заметил и жениха: широкоскулый башкирский парень с медленным взором, желтоглазый, с тонким носом и крепкими ноздрями. Несмотря на холод, шинель его была «внакидку» только на плечах, да и сам он, казалось, чувствовал себя не совсем уверенно. Потом раздавали конфеты в розовых бумажках – в рассеянности я взял одну. Девочка Ира, опустив голову, отказалась. «Спасибо», - прошептала она, но решительно шагнула назад. «Ты чего?» - спросил я её. С лицом надменно-упрямым она ничего мне не ответила, но потом, почти в ухо выдохнула мне тихонечко: «Ни-че-го я сроду не возьму от эн-ка-ве-дешников». Я задумался: я уже знал, кто такие энкаведешники, но демонстрация недружелюбия, но забвение приличий, но показная неучтивость всегда болезненно меня волновали.

Тут с горы стремительно сбежала моя мама – у неё было «окно» в расписании, и она забежала домой перекусить. Моментально во всём разобравшись и передав мне стопку тетрадей, мама поздравила молодых – невесту поцеловала, жениха потрогала по погону. «Повезло вам, Талгат, – такая красавица, такая скромница». Я поднял голову и увидел у мамы в глазах влагу растроганности, чтоб скрыть её, она полушутя продекламовала: «Совет вам да любовь». Талгат, опустив голову, кивал, очевидно, прочувствовав-

шись. Елена Григорьевна, которая тоже была тут, но в сторонке, в присутствии мамы осмелела, решилась поздравить молодых, со скромностью ей присущей. Вдруг мама вернула меня на землю вопросом: «Шапки кончили?» В любых жизненных обстоятельствах мама никогда не забывала «о деле и долге» - от растроганности к деловитости она переходила с удивляющей меня скоростью.

Внезапно чердачное окошко растворилось, и в круглом его вырезе появился Афзал Гимаевич, спрятанный друзьями на чердаке для всеобщего спокойствия и благолепия. Он обратился к обществу со словом своим пролетарским, со страстью своей партийною; но не совсем понятен и не совсем цензурен был пламенный глагол его – все потупились. Нагима подняла голову, и тут я заметил, что при взгляде вверх её глаза чуточку косят, придавая взору некий оттенок взгрустнувшей томности; чердачное напутствие она выслушала, чуть приоткрыв рот, без улыбки и вздохнула без всякого выражения.

Дома мы втроем поели оранжевой тыквенной каши, мама скрутила какую-то физическую таблицу и «умчалась», попрощавшись уже за дверью. Мы с бабушкой опять сели за шапки. Но сейчас работа утратила тихую уютность добродетельного ритуала: всё время воображение моё волновали различные выражения удивительного и прекрасного девичьего лица. Пропало спокойствие, даже выглядывая в окно на свой тополь, я думал не о том, как он выглядит, а видели ли её глаза моё внезапно поскромневшее дерево. Я даже опечалился, что вот вроде бы предал своего друга – думаю не о нём, а об отношении к нему «новенькой». И тогда я почувствовал, а сейчас размышляю: зачем Господь посылает на землю такую смущающую людские сердца красоту. Однажды, через много лет, я задал этот вопрос самой Нагиме Асхатовне. Она ничего не ответила, только посмотрела на меня уклончивым взглядом доброжелательного естества, который как-то само собою из длинного моего вопроса оставил только два слова: «Господь посылает».

Проснувшись на другой день, я тотчас же вспомнил вчерашний праздник красоты и, по привычке, стал воображать чудесную девушку в ситуациях сказочных и волшебных. Но недолго пребывал я в мире прекрасном и правильном, нотка тревоги, искажившая журчание бесед между мамой и бабушкой, вернула меня на землю. Буквально, ибо спал я на печи, не столько из нужды, сколь для разнообразия. Постепенно прояснилось, что мама получила письмо, в коем отец просит не писать ему до тех пор, пока он не пришлёт новый номер полевой почты. Тревога объяснилась: даже я знал, что новый номер полевой почты означает новый фронт, тем более невероятный, что наша армия штурмовала Берлин успешно и героически. «Степенно» (для оживления женщин) спустившись с печи, я «старческой» походкой «доковылял» до умывальника, подержал немного нос под стружкой воды и, утираясь холстиною, спросил с «мудрым равнодушием»: «О чем гутарите, казачки?» - «Доброе утро», - сказала бабушка с укоризною. А мама ко мне нагнулась: «Папа велел тебя поцеловать». - «Когда он приедет?» - спросил я с живостью. Не без волнений мне объяснили, что отец, судя по всему, задержится на войне и, средь противоречивости различных предположений, вдруг вспомнили, что товарищ Сталин обещал президенту Рузвельту (недавно усопшему) после окончания войны в Европе помочь Америке «управиться» с Японией - «выполнить свой союзнический долг», - добавила бабушка с официальной строгостью.

Всё это путало наши планы: мы ждали отца со дня на день и вот, судя по всему, нам опять предстояло ждать и надеяться. «Ждать» и «Надеяться» - сколько раз во всю мою жизнь мне приходилось то в большом, то в малом приравнивать эти слова к молитве. Сколько раз уже бывало, так скрутит жизнь, что и жить-то не хочется, и вдруг увидишь одинокое дерево, обязательно с откору-

ченной, поникшей веткою, худенькое, кривенькое такое деревце - деревце вроде бы беззащитное и слабенькое, а вот живёт себе и живёт, стоит себе и стоит и растёт ещё потихонечку - и как-то совестно станет, и окрепнет душа, и вновь готова она ждать и надеяться. Мы все притихли за утренним шиповником, я смотрел в окно на свой тополь, и он казался мне смущённым, как человек, не выполнивший обещания. Пока мама с бабушкой не ушли на работу, я вышел во двор «подышать», а по сути, с тайной надеждою - увидеть легендарную красу.

Возле окон Елены Григорьевны Лобик усердно закапывал носом в землю то, что он, видимо, считал косточкою. Он так старался, что на мой подсвист только мельком оглянулся с рассеянной естественностью дружбы. Я стал с ним шутливо разговаривать, дабы внезапно появившаяся Нагима не подумала, что я жду именно её. Я ждал не напрасно: она вышла на крыльцо с пожилой женщиной, и они вместе пошли к своему сарайчику. Что-то они там хлопотали, в сарайчике было темно, и Нагима выносила к дверям баночки и туески - рассматривать. Невероятно странно было видеть неземную, сказочную красу, занятую совершенно земным делом. Я смотрел во все глаза, догадываясь душою, что на моих глазах происходит событие такое же важное, как рассвет, дождь или снегопад: будничная «смирная» её одежда высвечивала праздник красы с какой-то неяркой, но фантастической выразительностью. Впоследствии я узнал, что это контраст - первопричина почти всех сильных впечатлений.

Дома перед уходом мама с бабушкой стали давать мне наставления, обилие коих придавало им характер чисто символический. Наконец я остался один, выслушав последние наставления из-за двери уже «хорошо» запертой. Радость свободного труда подвигнула меня на действия хаотические - хватался то за одно, то за другое, но постепенно я успокоился и составил план. Во исполнение первого его пункта я сел чистить картошку, и дело это было гораз-

до сложнее, чем представляется несведущему уму, ибо пользоваться ножом было (в целях безопасности) запрещено, а дозволенная скоблилка раздражала меня своей примитивностью. Я сел на кухне (кухней у нас назывался закуток за печкою) и, поглядывая в окно, стал скоблить; небо удивило меня странным своим видом: казалось, что с него вот-вот пойдет снег. Я чистил и чистил, то радуясь на растущее количество ошкурков, то сердясь на глупую скоблилку, то воображая спрятанный острый ножик. Мне очень хотелось посмотреть в окно на зимний вид весеннего неба, но я дал себе задание, посмотреть в окно только тогда, когда количество очищенных «картох» будет равно количеству пальцев на одной руке. Такие промежуточные условия разнообразят занятия, и я был горд, что сам додумался до украшения скучных дел. И ещё меж трудов было очень интересно поджидать маленькие пузырьки, которые выпускает очищенная картошка в мисочке с водой.

Наконец можно было взглянуть в окно. Я ахнул: снег действительно пошёл, он шёл, но не ложился - таял. Возможно оттого, что мои предчувствия насчёт снега сбылись, я очень обрадовался и раза два лазил на печку переживать нечаянную свою радость, ибо резонно полагал, что сбудется и другое моё предчувствие, и отец живым и здоровым вернётся с войны. Я часто вспоминал отца, хотя помнил его не совсем отчетливо - когда в июле сорок первого он ушёл на фронт, мне не было ещё и двух лет - хорошо помнил только очень серые и очень весёлые глаза, колючую щёку и внезапный, тихий и короткий хохоток, всё остальное заволакивалось общим ощущением неторопливо степенной надёжности. Закончив дела хозяйственные, я посидел немного под столом, поёжился от уютного полумрака, спел песню о трёх танкистах и, постепенно присмирив, стал вспоминать «прошлое». Это было любимым моим занятием. Прошлое всегда мило, и может быть оттого, что всё сиюминутное слишком уж материально и таит в глубине своей неуверенное беспокойство предвкушения, планов и надежд. Я вспомнил, как во

время зимней моей болезни бабушка читала мне сказки Пушкина. Как она склонялась над моей постелью, и как дружелюбно старался ради нас огонь в печи. Как было тихо, и как розово-голубые узоры на морозном окне получали различное значение в зависимости от бабушкиного чтения: они становились сказочно заиндевелым лесом, то парчовыми разводами на боярских шубах, то просто морозным окном в одинокой лесной избушке.

Поёжившись от уютных воспоминаний, я незаметно перешёл к жажде познания, источником коих был растрёпанный и толстенный павленковский словарь с картинками и бабушкиными пометками. Я разложил словарь на широком белом подоконнике и, поглядывая на тополь, стал рассматривать картинки - большей частью это были портретики, рисованные тончайшими штрихами; среди неизвестных мне физиономий императоров, полководцев и учёных неожиданно встретилось уже знакомое лицо Пушкина. Я обрадовался: «Здравствуйте». Под одним портретиком, изображавшем человека круглолицего, усатого и длинноволосого я не без труда разобрал похвальное слово царю-реформатору: герой Полтавы, создал промышленность и флот, прорубил в Европу окно и построил на Неве новую столицу государства Российского. «Молодец», - подумал я и посмотрел в окно на недоступный мне сад, на тополь, волнующийся на рыжей горе, на тускло отсвечивающую крышу морга, на серое быстродвижущееся небо. Вдруг что-то двинулось в моей душе: ведь это - небо, тополь, морг, сад, гора, забор - тоже государство Российское. Я поразился. Я даже встал - за окошком было Отечество. Император - щекастый, усатый, твердоглазый - неуловимо, но несомненно подтверждал это моё предположение. Взволновавшись, я немного побегал по комнате, слазил на печку и потом полез под стол, дабы с чувством съесть один из оставленных мне бутербродиков с луком и селёдкой, корки их бабушка натирала чесноком - «от микробов».

В дверь постучали. Это пришла Елена Григорьевна со своей дочкой. Люда должна была остаться у нас домовничать, а мы с Еленой Григорьевной должны были пойти «в одно место». Меня попросили умыться и одеться «получше». Я повиновался не без удивления. Елена Григорьевна была в «парадной шали» и с сумкой. Она показалась мне решившейся на что-то значительное и торжественное. Мы пошли по набережной вдоль Белой, затем свернули направо, прошли мимо тополя, под которым на здании морга полыхал на ветру новенький, исключительной красоты, алый-алый флаг. Мы прошли мимо моста через Сутолку и стали подниматься по некрутой горе. Дорога была мне знакомою - по ней я ходил в детсад, пока меня из него не выгнали. Была целая «история», коей мама попрекала меня при очередном моём «безобразии»: вспыхив, воспитательница ударила меня по щеке, я ответил ей той же монетою, за что был упрятан в тёмный чулан. Пока меня тащили и заталкивали в темницу, во мне ещё теплилась искорка раскаянья, но из чулана я вышел совсем уж непримиримым к насилию и в детсад больше не пошёл. Воспитателей почему-то ужасал не сам факт драки, а то, что сидючи в чулане, я ободрял себя непристойными частушками, кои слышал от матросов на берегу родной моей реки.

Я волновался, не ведут ли меня в детсад - на мировую. Нет, мы не свернули направо к улице Егора Сазонова (кстати, Россия единственная в мире страна, где улицы называются именами бандитов), а направились прямо к церкви. Церковь была мне знакомою: несколько раз, возвращаясь из детсада по вечерам, я слышал плывущее из неё непривычное, совсем не похожее на радиомузыку, стройное, тихое и ласковое пение. Я полюбил это пение поразительно быстро, и оно уже не мнилось мне странным, а казалось естественным, как звуки жизни, и изначально родным, как глаза матери. У ограды садика, росшего у церкви с трёх сторон, я останавливался, бывало, чтобы послушать это пение и ещё раз испытать благодать сердечной растроганности. Дабы меня не заподозрили, что

я слушаю именно церковное пение, (как же, сын учительницы - позор) мне приходилось перешнуровывать ботинки или нетерпеливо озираться, делая вид, что я кого-нибудь поджидаю. Первоначально игровое, это лицемерие постепенно искажало мой характер - я никогда не лгал, но никогда и ни с кем (кроме бабушки) не говорил о том, что меня действительно волнует и трогает. Я приучался жить в родной стране, как в тылу врага - таинственно, скрытно, молчаливо.

Мы подходили к церкви. С каждым шагом она становилась всё больше и больше, и я невольно залюбовался ею: была она бирюзового цвета, стройненькая с густо-синими куполами и ажурным крестом, который сиял в ясные дни, а сейчас выделялся сложными и тёмными своими узорами. У самого порога храма мы остановились. Елена Григорьевна присела передо мною, оправила моё пальто и сказала, что сейчас меня будут крестить. Заметно волнуясь, она призвала меня к спокойствию и пояснила, что так делали со всеми русскими людьми сотни и сотни лет, что после крещения я стану настоящим русским мальчиком, и всю оставшуюся жизнь меня будет вести и защищать Бог. Я вообще доверял Елене Григорьевне - доверял её доброте и незаметности, и тому пристальному вниманию к маленьким традициям жизни, которое так ценится детьми - и поэтому послушно кивал и её словам, и той интонации, с которой приобщают слушателя к хорошей и важной тайне. Смутившись горячей благодарностью, я глянул ей в глаза - она была первым человеком, который не отделил меня, такого маленького, от того немислимо великого, что называется Россией и христианскою её верою. Я почувствовал, что она поняла мой взгляд и как-то жалко растрогалась.

Мы вошли в храм. Я - первый раз в жизни. Елена Григорьевна сняла с меня картузик и не машинально, а вроде благословляюще, замедляя движение руки, пригладила мне вихры и, попросив обождать, куда-то ушла, озабоченно ссутулившись. Я огляделся и вздохнул: было красиво, но очень уж непривычно. Дома я видел го-

лые беленые стены, на коих висели два отцовых пейзажа и портрет Сталина. Поэтому отсутствие чистых, не изукрашенных пространств показалось мне странным.

Я осматривал обилие красот, но невнимательно – предстоящее событие меня волновало. По этой причине я неотчётливо помнил обряд крещения: смутно помнилось, что сначала меня обнажили и поставили в таз с водою, потом очень старенький священник попросил меня присесть и поливал меня святой водою из очень красивого ковшика. Я хорошо помнил холодную щекотку воды, озноб моего стыда и слёзы растроганности в глазах Елены Григорьевны. Она стояла с новеньким белым полотенцем наготове и тотчас же по окончании обряда вытерла меня, приговаривая что-то одобрительно-облегчающее. Затем она с наивною торжественностью передала мне свёрток, в коем оказались ослепительно белая хрустящая нательная сорочка, такие же кальсончики и шерстяные белые носки. Елена Григорьевна сказала, что это подарок, поцеловала и поздравила меня.

Впервые в жизни мне захотелось всплакнуть не от обиды, а слезами умиления и добра. Что говорить, такие мгновения (или воспоминания о них) и привязывают нас к этой жизни. Священник надел на меня оловянный крестик. Перед выходом из храма Елена Григорьевна дала мне денежку. Когда мы вышли под громадное небо, я понял для чего - на ступенях крыльца сидела бедная женщина, с укутанным в тряпье ребёнком. Она тихонечко пела. Около неё стояла кружечка. Елена Григорьевна опустила (именно опустила) в неё свою денежку, я - свою. По дороге домой я впервые назвал Елену Григорьевну крёстной. Мы бодро шли по тугой весенней грязи, и было нам хорошо обоим. Мы знали, что участвовали в деле несомненном и праведном, а я чувствовал - чувствовал, что через немыслимо сложные отражения времён и судеб не столько взором, сколь догадкою души увидел, впервые в жизни увидел неискажённое лицо Родины - милосердное, простое и вечное. Я впервые по-

нял, что моя Родина - это не только гордый, алый, отважно взметнувшийся, несдающийся флаг, но и смирёхонько притулившаяся нищенка, поющая колыбельную.

В общем-то (как я сейчас полагаю) произошло чудо: пшеничное зёрнышко догадалось, что оно - часть бывшего и, может быть, будущего урожая. Дома крёстная, медленно и волнуясь, рассказала маме и бабушке о «таинстве» и сняла свои руки с моих плеч. Важные и сильные места из её рассказа я дополнял жестами и мимикой. Нас выслушали и поздравили без особого воодушевления. Мама спросила, не видел ли нас кто - она боялась, что сознательные граждане донесут «о религиозных предрассудках» и у неё будут неприятности в школе и техникуме, где она работала по совместительству. С несвойственной ей твёрдой суровостью крёстная, не глядя на маму, сказала одно только слово «нет». Потом мы впятером попили шиповнику и стали ждать вечерней сводки фронтовых новостей. Ожидания наши были не напрасны – Берлин пал. Елене Григорьевне наши победы, приближавшие конец войны, напоминали мужнино вероломство, и поэтому, видимо, она участвовала в общей радости как-то в сторонке, словно смущаясь исключительным своим случаем. Я это заметил и перед их уходом простился с нею с особой сердечностью. Она поняла и обрадовалась - тихо, по своему обыкновению.

Мама села за свои тетради, я же залез на печку, тихонько разделся, позвал женщин и, демонстрируя новенькое, ладненькое, ослепительное бельё, исполнил то, что казалось мне пляскою. Женщины поахали, пощупали, повосхищались, и бабушка, сокрушённо покачав головою, вроде бы соболезнующе приговаривала: «Какое сердце у Елены Григорьевны, какое сердце». Радио ещё раз передало весть о падении Берлина, и мы ещё раз захлопали в ладоши, а мама слабенько крикнула: «Ура». Она потом долго бормотала вроде бы про себя: «Ну, конец войне, конец» - и улыбалась странной улыбкою. Но мы ещё не знали, что танкистам Рыбалко предстоит

на днях освободить Прагу. Потихонечку все присмирели - мама вернулась к тетрадам, а я лежал на печи, пытаюсь во всех подробностях представить, как полыхает над поверженным Берлином родное красное знамя. Тогда я ещё не знал (даже бабушка не говорила), что у Отечества есть ещё один флаг, и вот сейчас мне кажется несправедливым, что над побеждённым нами Берлином не светило светом былых побед родное, красно-сине-белое российское знамя. Бабушка сидела на кухне, о чём-то задумавшись, её мощные руки лежали на коленях, кулаки были крепко-крепко сжаты. Голова её заметно подрагивала с нервической горделивостью, и было у неё такое выражение, словно она кого-то доказательно упрекала - упрекала не злорадностью правоты, а несокрушимою естественностью фактов. Так, в сущности, оно и было: наше дело действительно оказалось «правым» - враг был разбит, и победа осталась за нами. Чего это нам стоило? «Цена» - тут совершенно неуместное слово. Братья мои, сёстры, лучше глянем в глаза тем, кто остался, тем, кто пока ещё жив. Разные они - совсем разные: но они вынесли, выстояли, спасли. Благослови, Господь, их имена, дела и судьбы - они просты и святы.

## 9

По заказу неких вельмож, вероятно уже с полгода, бабушка с великим усердием вышивала на холсте скатерть удивительной красоты. Бабушка с такой ответственностью отнеслась к этой работе, что сначала вышила фрагмент, который всегда служил мне примером творческой добросовестности. И в ребячестве, да и много позднее я поражался бабушкиному терпению и вкусу: она счастливо догадалась сочетать утончённую «дворянскую» вышивку «гладью» с холстом - очень грубым, тёмным и сермяжно «простонародным». Контраст мешковины с нежными шёлковыми нитками уравнивался сочетанием цветов ярких и звонких, но гармонически между со-

бою согласных. Изображены были цветы и фрукты. Мудрая бабушка: сочетание материально съедобных фруктов и отвлечённо прекрасных фиалочек подсознательно рифмовалось с рубищем основы и парчой тончайшего исполнения. Впоследствии, уже взрослому, мне было странно узнать, что за свой долгий, кропотливый и творческий труд бабушка получила кулёчек крупы и ведро картошки. И была она, по словам её, «рада-радешенька». «А мне самой очень интересно было работать», - пояснила она, сделав совершенно детское движение уже совсем белой своей головой. Я дружески ей улыбнулся - это объясняло всё. А тогда, в мае сорок пятого, с тщательно скрываемой гордостью творца бабушка показала маме, Елене Григорьевне и мне удивительную скатерть и не без тревоги засобиралась к заказчику: подштопала свой вечный английский костюмчик, подполировала ногти особой «еще из Ростова» пилочкою, подвила маленький локончик и, озабоченно поджав губы, ушла.

Я смотрел в кухонное окошко, как она с напряжённой сосредоточенностью, прижав к груди свёрток со скатертью, одолевает крутизну горы. Машинально, от сопереживания, я тоже что-то прижимал к груди и всеми силами своей души желал ей успеха. Я и сейчас вижу, как она, одолев гору и, возможно, почувяв напряжение моего сочувствия, вроде бы за поддержкой обернулась в сторону нашего дома, к нашему маленькому кухонному окошку. Постояла немного. Пошла. Старенькая моя. Единственная. И вот сейчас, через серый тот день, через эти годы и годы, через холмик её могилы, мне хочется крикнуть так, чтоб услышала добрая её душа: «Бабушка, родная, если виноват в чём перед тобою - прости меня, грешного, если нет - то все равно «ради радостного дня» прости, за что - не знаю. Только прости меня». А тот день действительно выдался радостным, вечером бабушка пришла окрылённая. «Вы представляете, что было, - говорила она, замедляя речь от волнения. - Уж почти в сумерках я разложила скатерть на их столе, всё так расправила и попросила включить электрический свет. Какой был эффект! Все

захлопали в ладоши, даже дети, даже старичок-паралитик сумел-таки выразить своё восхищение». - «Он, наверное, пукнул», - осквернил я своим реализмом романтизм мгновения редкого и счастливого. Бабушка прыснула, шутливо на меня замахнувшись, мама с назидательно-вопросительным бесстрашием повела на меня взором, и даже Елена Григорьевна смятенно улыбнулась.

Хороший выдался день, тем более мы ещё не знали, что позднее по радио выступит товарищ Сталин и спокойно, почти бесстрастно, объявит о страстно ожидаемой Победе. Но всё это будет вечером, а днем, проводив бабушку, я вышел во двор полюбоваться соседским садом, который ещё не расцвёл, но к этому готовился. Лучше всего созерцать недоступный сад было с крыши бабушкиного сарайчика-курытника, на которую я взбирался обычно с книгой. Множество часов провёл я на этой крыше, упражняясь в первочтении книг, каждая из которых неожиданно, как поворот судьбы, перемещала меня в мир новый и совершенно особенный. Мой опыт чтения и созерцания таинств природы был невелик, но я уже догадался, что любоваться чем бы то ни было лучше всего внезапно, отвлекаясь от чтения или работы несуетной и привычной. Читаешь, переворачиваешь страницы и вдруг взглянешь неожиданно на сад, на белый свет и мгновенно поразишься процессу тихому и неспешному: вечереет, сад что-то ждёт. Поразишься великому множеству ещё полуголых ветвей с малыми детьми-сучочками, и как-то моргнёт душа на хаос их молчаливо сизого переплетения и меж собою, и темнеющим воздухом и замороженностью тихих чувств. И вдруг, неожиданно вздохнув, опахнётся нутро, может быть радостью весны, а может быть, первобытностью детства, может быть, предвкушением земной нашей жизни, а может быть, предощущением вечного путешествия души. Я лёг на спину и посмотрел в небо, его словно и не было - просто наверху казалось светлее, чем на земле и всё. Вернулся к «Каштанке», вновь погрузившись в ощущения удивительно свежие. Много лет спустя, перечитав «Каштанку», я сыз-

нова испытал почти те же чувства: читаешь, и вдруг мелькнет в голове некая оторопь - сам-то ты - собака или человек?

Увлёкшись книгой, я выпустил из-под контроля маленький свой мячик, который часто мял для укрепления рук - он покатился по крыше и упал в запретный сад. Посторонним не рекомендовалось попадать в его пределы - на супостатов спускали с цепи собак, не столько злых, сколь нелюдимых и задёрганных. Но я привык к бирюзовому мячику, считая его своим другом и, собравшись с мужеством, полез его выручать. Не без робости шуршал я в прошлогодней листве и вдруг услышал грозный окрик: «Щава нада?» Я поднял взор - ко мне неспешной развалочкой подходил один из членов образцового хулигански-стукаческого советского семейства Шамиль в кожаной куртке, галифе и сапогах, шея его была шире головы. Я не очень испугался внешне грозного хозяина, ибо уже знал, что грубость и хамство - это просто пароль советского человека: «Я свой». Дружелюбно и вежливо я объяснил ему невольность своего вторжения. Он тоже присел на корточки и, раздумчиво нецензурно побряхтывая, стал вместе со мною осматривать замечательный хаос подзаборных кустиков. Много лет спустя, точно так же, матерно побряхтывая, он, будучи секретарём по идеологии, с пресыщенной рассеянностью отыскивал крамолу в моём эскизе одной монументальной росписи. И тогда и раньше дело кончилось ко взаимному удовольствию - мячик нашёлся, а крамола - нет. Когда я карабкался восвояси, Шамиль, помогая мне, подшлёпнул меня почти дружески.

Не вдруг вернулся я к чтению: возле лесопилки возникла драка Лобика с чужими собачками. Чувства мои разрывались между врождённой ненавистью к дракам и страстным желанием Лобикиной победы. Видимо, смутное ощущение, что дела эти - борьба и победа - изначально порочны, и было причиной непонятной расчёпанности моих чувств. Детские ощущения всегда правы: только

жизнь неколебимо убедила меня в злой бессмыслице любой борьбы и великой тщете любых побед.

Взволнованный дракою, Лобик подбежал к сарайчику, и я слез его успокаивать. Тут же случился и маленький мальчик - чей-то родственник из деревни, все звали его просто балякей (маленький), он был раза в три младше меня, и я относился к нему со «степенным» покровительством. Он, видимо, испугался Лобика и собирался заплакать, исказив брови и глядя на меня с надеждою. Я прижал его к себе и, поглаживая его спину, маленькую совсем спину, приговаривал: «Балякей ты мой, балякей, маленький мой балякеюшка». Он успокоительно сопел, не поднимая счастливо потупленного взора и косясь чёрненьким своим глазом на блатного Шамиля, который, пытаясь улыбнуться, печально смотрел на нас из-за забора - своих детей у него не было. Потом мы вместе с «родненьким балякеем» приласкали Лобика и, наслаждаясь дружескими чувствами, я полез на крышу продолжать чтение.

Господи, опять пришлось отвлечься: в саду появилась девочка Венера - младшая сестра Шамиля и ученица моей мамы. Не очень-то большая, эта девочка, по маминым словам, вмещала в себя почти все человеческие добродетели, и я с любопытством её рассматривал. Девочка действительно была редкая: черты лица её вроде бы обычные, странно неспешной искренностью своих жизнепроявлений, словно бы на глазах творили иную, свою собственную эстетику со своими собственными законами выразительности и очарования - очарования опрятного и правильного. Я наблюдал за нею часто и дивился, что простота этого лица была многозначительна, как притча и позволяла видеть почти любое лицо, рождающееся из обыкновенности нейтральных его черт. Даже в саду она гуляла с тетрадошкой, в пионерском галстуке и аккуратных сандаликах, к коим совершенно не приставала грязь. Это было как фокус: в любую дождь-грязь-слякоть резиновые её сапожки оставались совершенно чистыми. Удивительно. Ещё удивительнее было то, что в

типично советской, приклатнённо-партийной семье выросла женщина порядочная и разумная - человек справедливый и хороший. Проходя мимо сарайчика, Венера машинально на меня взглянула, и я ужаснулся спокойной мудрости её светлых глаз. По сей день опасуюсь я мудрых женских взоров - есть в этом что-то противоестественное, вроде красивого мужчины, наглого ребёнка или игривой старухи.

Вроде дождь стал накрапывать, пришлось перебираться внутрь сарайчика. Там тоже было хорошо, но сумеречно - пришлось зажигать строго запрещённую свечку. Было странновато, но уютно сидеть в сарае почти днём при свече, читать и слушать, как дождь озвучивает крышу, сад, мир. Между чудесными этими звуками были и расстояния, как понял я впоследствии, слушая музыку Шнитке. Всё сущее цельно: однажды я увидел по телевизору святые глаза композитора, и понял, почему чувства, будимые его музыкой, сопрягаемы с чувством Бога. Дождик то совсем затихал, то с величайшей деликатностью опять начинал простодушную свою мелодию. За дверью возникло какое-то движение: сопение, вздохи, царапанье. Я отложил книгу и впустил Лобика. Он обнюхал все углы, проницательно посмотрел в щелочку на внешний мир, встряхнулся, взобрался ко мне на топчан и лёг у меня в ногах, свернувшись кренделем. Я тоже посмотрел в щелочку: день угасал, но тополь мой, судя по почкам, еле сдерживал нахлынувшие силы - весна. Тихая такая весна. Я чуть не взвизгнул от восхищения, когда дошёл до того места, где Федюшка узнаёт в цирке свою собачку и кричит: «Каштанка, Каштанка». Дочитав замечательную книгу, я радостно задумался, что Каштанка жизни интересной и сытой предпочла жизнь привычную и родную.

Вечером, уже после бабушкиного триумфа, поужинав, мы просто так сидели - спать готовились. Атмосфера почти бессловесной доброжелательности словно бы помогала маленькой свечке освещать невеликие пределы скромного нашего уюта. Мама первая

встрепенулась от едва слышных позывных московского радио: «Широ-ка стра-на-а моя род-на-я». Бабушка встала, подошла к «тарелке», прибавила звук, стиснула могучие свои руки и замерла, ровненькая и светлоглазая. Мама сидела, приложив ладошку к губам, и медленно-медленно раскачивалась.

Долго волновала наши души государственная мелодия - очень долго. Я успел взглянуть на еле видный свой тополь. Он тоже ждал. Наконец выступил товарищ Сталин. Контраст между спокойным, бытовым тоном его речи и грандиознейшим смыслом сказанных им слов был разителен. Он объявил Победу. Снаружи слышались крики. Мы вышли в коридор. Все семьи вышли. Все двери были открыты. В каждой комнате горела свеча или керосиновая лампа. Свет был жёлтый и тёплый, тени почти чёрные и нервические. Они двигались, увеличиваясь и уменьшаясь, и, ломаясь, пересекаясь и переплетаясь, принимали формы самые разнообразные. Казалось, что среди нас, живых, мечутся, мучаясь, тени павших на фронтах воинов. Все обнимались и плакали. Особенно тяжело было видеть, как человек из последних сил сдерживал рыдания и, не стерпев, срывался, содрогаясь совсем уж беспомощно. Откуда-то явилась брага, называемая в наших краях кислушкой. Все вышли со своими посудинками. Афзал Гимаевич, уже выпивший, был «виночерпием». Прежде чем наполнить бабушкин стаканчик, он «галантно» поцеловал ей руку, бабушка улыбнулась, сделала ему шутливый «щелбан» и, наклонившись, что-то сказала ему на ухо, кивнув головой в конец коридора. «Ярар», - сказал Афзал Гимаевич и тоже взглянул в конец коридора с мгновенным прищуром сочувствия. А в конце коридора, у открытой своей двери, стояла, прислонившись к косяку, молодая бледная женщина. Все знали, что недавно она получила «похоронку». И вот теперь стояла она у своей двери и не плакала, а смотрела и слушала, но смотрела так, что лучше бы уж она плакала. К ней и пошла бабушка, осторожно неся через толпу полненький стаканчик. Бабушка к ней подошла, наклонила, здоро-

ваясь, голову и что-то сказала. Женщина опустила взор, видимо смутилась и, отвернувшись, старалась спрятать лицо. Бабушка положила ей на спину свою руку, нагнулась к ней, и они вместе вошли во вдовью комнату. Я взобрался на картофельный ларь, чтобы лучше всё увидеть и услышать.

Говорили все одновременно и на самые разные темы, говорили и спокойно, и горячась, но единство происходящего меня поразило - я увидел человеческое братство. Впервые в жизни. Я сидел на ларе, замороженно поворачиваясь то в сторону одного, то в сторону другого разговора, и чувствовал, что все мы - родные и близкие, братья и сёстры, семья человеческая. Благодати святых этих чувств я больше никогда не испытывал. Вдруг я заметил, что балякей таинственными жестами приглашает меня вниз, к себе. Я спустился. Деликатно, но настойчиво, малыш повлёк меня через людей по длинному нашему коридору. Дойдя до свободного места, он потоптался и вдруг, встав на четвереньки и расширив глаза, сказал суровым голосом: «Ав-ав-ав». Я улыбнулся, но тотчас же сообразил, что в педагогических целях мне следует поужасаться. Очевидно, это получилось неплохо: смеялся родненький балякей, смеялся, сгибаясь от радости. Среди всеобщего напряженно счастливого говора самой, казалось, истории, как-то странно звучал звонкий его голосочек. Я пошёл восвояси. Дверь наша всё ещё была открыта. Мама с Еленой Григорьевной сидели на порожке, обнявшись и соединившись головами, тихо пели: «Как бы мне, рябине, к дубу перебраться - я б тогда не стала гнуться и качаться». Это была хорошая, но грустная песня.

Я сел на наш порог и задумался: день победы я представлял себе не совсем таким - очень уж много плакали. Раньше, когда шла война и я то обстоятельно, то мельком мечтал о победе, мне казалось, что явится она как-то особенно: сияющим днём - днём белолимонно-голубым с трепещущими алыми знаменами и грозновесёлыми песнями. Но случилось не так, и осветилось событие тёплым,

жёлтым, мирным светом свечей, изуродованным чёрными тенями, тенями мученическими.

И зазвучало событие не бравой радостью воинской доблести, а тихой печалью осиротевшей души. Потом я узнал, что такой колорит называется рембрандтовским, а песни - народными. И словно бы мудрость веков осенила простотою и скромностью сиюминутную свежесть ещё не осознанной победы. Я вошёл в комнату - бабушка стояла перед портретом Сталина и смотрела на него с выражением неизъяснимым. Я долго лежал на печке и долго не мог уснуть: в сознании моём мелькали события великого дня - мелькали с удивительной отчётливостью. Я ни в чём не мог разобраться, но чувствовал, что в моей душе этот день - навеки.

Бабушка сидела на кухне и смотрела то перед собой, то в ночное окошко. Пришла мама, окликнула меня: «Ты тут?» - и быстро легла спать. А бабушка всё сидела и сидела перед крохотной уже свечкою, и в выражении её фигуры мне почудился стоицизм, тот застенчивый и деликатный стоицизм русской интеллигенции, который так поразил меня, когда я читал и перечитывал «Три сестры». Бабушка молчала, изредка приподнимая брови и вздыхая - молчала, но сейчас мне кажется, что она повторяла про себя заключительные слова вечной этой драмы - слова Ольги Прозоровой: «Если бы знать, если бы знать».

Было едва светло, когда бабушка разбудила меня настойчивым шёпотом. Я тихонечко оделся, бесшумно собрался и ушёл рыбачить, бабушка осторожно заперла за мной двери. Молчаливое и ещё сумеречное безлюдье словно бы уменьшало привычные размеры нашей окраины. Я шёл по двору, бессознательно обходя хрустящие островки гравия и стараясь ступать по полоскам травы, не выйдя ещё из осторожной и тихой домашней сонливости. Я спус-

тился к реке и, подойдя к плотам, стал выбирать место для рыбалки. Места было много – плоты были широкие и тянулись в длину километра на два. Широчайшая возможность выбора - сиди, где хочешь - была восхитительной и почти рассеяла дремотное моё состояние. Я выбрал место возле будочки плотогонов - сейчас пустой - присел и осмотрелся: всё окружающее вроде бы чуть посветлело и вроде бы чуть расширилось. Я достал из коробочки червяка, стараясь не смотреть на его корчи, насадил на крючок, вздохнул, плюнул и, перекрестившись, забросил леску. Теперь можно было заняться самым интересным: поглядывая мельком на поплавок, созерцать тайну рождения белого дня. День, как выяснилось, рождается сверху, когда земля ещё совсем сумеречная. В небе начинаются цветные события. Я замер - мир медленно, но зримо менялся на глазах, небо становилось голубее и выше, земля золотистее и просторнее.

Утро совсем опустилось на землю, когда деревья на противоположном берегу внезапно озолотились и с удивительной отчётливостью отразились в неспешности тихих вод. Посмотрел направо: стал различим и далекий-далекий железнодорожный мост со своими арками, блекло-голубые горы за ними почти сливались с сизым, ещё не освещённым небом, и казалось, что в этой неяркой дали не только просторы родной земли, но и какая-то угасающая в цвете тайна. Я напрягся душой, услышав сзади шаги людей. Из всех человеческих радостей (думаю я сейчас) счастье созерцания самое хрупкое: достаточно негармонической ассоциации, чтобы вспугнуть всеобъемлющее и беззвучное таинство творимого на глазах мироздания. Я уж не говорю о вторжении грубого материализма в ту тончайшую область, где в «гибком зеркале природы» отражается она сама. На сей раз материализм был представлен двумя очень бодрыми девушками, решившими искупаться в столь необычное время суток. Я озаботился, полагая, что пугающего рыбу шума будет более чем достаточно. И действительно, чего они только ни делали - визжали, хохотали, брызгались – плот ходил ходуном. Затем,

накрутив на головы свои платишки, они уплыли к близкому островку и, застав его врасплох, оккупировали часть его территории с воплями не то восторга, не то ужаса. Там они тоже продолжали тешить бесов: кидались плоскими гальками, утробно смеясь, пытались ходить на руках и танцевали на мелкой воде «яблочко». Я нагнулся к воде и сурово сказал, что, если они не перестанут вопить, я утоплю их вещи. Ехидно содрогаясь, девушки продемонстрировали свои платья, одновременно и издевательски склонив к плечам хитроглазые свои головы. Я показал им их босоножки. Девушки встали плечом к плечу и, высоко поднимая ослепительные колени, стали маршировать в глубь вод и, по-солдатски взмахивая руками, запели с комической угрозой: «Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нам сломать». Сплочение их, как впрочем, и все «сплочения», тоже было комическим, ибо поплыла за обувью только одна. Свои босоножки она с удивившей меня ловкостью прямо в воде надела на ноги, другие же взяла в руки и, скорчив мне гримаску, намекающую на мой хмурый вид, уплыла не без изящества. Потом с противоположного берега за ними примчалась моторка, веселухи в неё запрыгнули и, помахав мне - одна рукой, другая ногой, умчались с затихающей песенкой.

И наступил на земле мир и покой. Я посмотрел на поплавок, реку, отражение деревьев на том берегу - всё чуть колыхливо возвращалось в обычное своё состояние. Что-то туманно намечалось в памяти и, соизмерив расстояние от тех деревьев до меня, я вспомнил, что на том месте, где я сидел сейчас с удочкой, полгода назад в декабре, в день отцовского возвращения с фронта, я стоял на лыжах и тоже дивился рассвету, но тогда - зимнему. Невольно я стал сравнивать рассветы зимние и летние, и почудилось мне, что зимние рассветы - вертикальные, а летние - горизонтальные. Тогда я даже головой встряхнул от такой странности. Но странности не было, полагаю я сейчас: обязательной приметой зимних рассветов были высокие столбы дыма из печных труб - столбы то серые, то розо-

вые, то синие. А длинные островки низких туманов таяли обычно в океане летних рассветов, и детское ощущение, как всегда, оказалось резонным. И ещё вспомнилось, как я долго ходил на лыжах по Белой, дивясь странному свойству больших заснеженных пространств: невозможно было понять, ко мне или от меня движется далёкая человеческая фигурка.

Это детское своё впечатление я вспомнил сорок лет спустя, когда благодетельная гласность, вернув народу ориентиры добра и зла, позволила нам разбираться в направлениях своих прошлых и будущих судеб. И странно было думать, что на том самом месте, где сейчас чуть колыхался красный бакен, я стоял тогда, опершись грудью на лыжные палки, смотрел на далёкий и розовый наш дом сквозь пар своего дыхания. Пар возникал и таял, и от этой ритмической эфемерности казалось, что наш ещё дореволюционной постройки дом стоит с особой устойчивостью, стоит с неявной, но неокрушимой мощью, охраняя от мороза, ветра и судьбы нечто тёплое, смиренное и сердечное; что-то простодушное, трогательное и слабое, угревшееся в нём как бездомный щенок, доверяясь всепонимающей его памяти.

Я даже улыбнулся: там, в доме у окошка, затянутого серой матовой изморозью, сидит бабушка в чёрном своём халатике, в пенсне и, сморщив губы, вышивает белые розы на белом покрывале, бессознательно радуясь своему таланту, тёплой печке и тишине морозного дня. Я знал, а иногда и наблюдал, задрёмывая на печке, что бабушка любит помечтать в одиночестве, меняя выражение лица и что-то про себя нашептывая. Очевидно, вспоминала своего мужа, своих братьев - военных, счастливую свою молодость, так несчастливо совпавшую с катарсисом нашего Отечества. Бабушка вышивала белые свои розы, когда, явившись домой, я тихо обрадовался, что всё обстояло так, как я и предполагал, любуясь издалека нашим домом, хранившим в себе семейный уют и бабушкину мечтательность. Бабушка налила мне супу и опять села к окну в чёрном сво-

ём халатике, поёжившись не от холода, а от удовольствия. По её лицу я видел, что она опять вернулась к своим мыслям - ненапряжённые, ритмические смены выражений перемежались порою вопросительной, а иногда восклицательной мимикой - очевидно, она вспоминала стихи. И действительно, закончив стежок и воткнув иголочку в белый репс, она обернулась к серому окну и сказала вслух медленно сожалеюще, но не печально: «И все равно: надежда им лжёт детским лепетом своим». И улыбнулась, обернувшись ко мне. Мне нечего было сказать по причине своего невежества, и я показал ей похвально чистую тарелку.

Весь вечер я рисовал - впервые я рисовал не танки, не пистолетики и даже не большеглазых собак, а попытался нарисовать свои впечатления от зимнего дня. По салатового цвета тетрадной корке я провёл две тёмно-розовые вертикальные полосы, пририсовав внизу синие треугольнички - крыши. Рисунок я показал бабушке. Она надела пенсне: «Кес ке сэ?» Я забыл, как по-французски «зима», и отвечал по-русски. Бабушка внимательно отнеслась к рисунку и даже в кулак его рассматривала, но, возвращая его мне, сказала с оттенком терпеливой печали: «Это не зима, дружок, а генеральские штаны». Я обиделся и залез на печку искать и обдумывать свои возражения. Конечно же, я не нашёл их ни тогда, ни впоследствии, ибо их не существует в природе.

Я опять глянул на поплавок, всё было недвижно по-прежнему, и опять вернулся в декабрь сорок пятого, к счастливому окончанию памятного того дня - морозного, сердечного и невозвратного.

Я проснулся среди ночи. Бабушка, голосом встревоженным и строгим, допрашивала кого-то через дверь, но открывать её не спешила. «Да ведь это же Лёша!» - внезапно вскрикнула мама и стала торопливо одеваться. «Отец пришёл!» - и меня разом пронзили два неуживчивых чувства - радости и неловкости. Я соскочил с постели и спрятался за печку. Стоя там, в потёмках, я пытался бороться со своей застенчивостью и смутным ощущением чего-то довлеющего.

Сейчас я понимаю, то была внезапность - родная сестра насилия. От души, не готовой к событию, проверяюще-оценочная внезапность требует не осмысленной реакции, а простейших рефлексов и, лишая выбора, является посему скрытой формой интуитивного насилия. Ведь недаром же природа чужда внезапности почти во всех своих проявлениях: гром среди ясного неба гремит только в при- сказках. Но это я сейчас рассуждаю, а тогда, притаившись за печкой, я томился своей нелепостью и жадно слушал радостные и случайные звуки разговора, почти бессвязного. Постепенно восклицания поутихли, и возник шорох.

Я осторожно выглянул из-за печки. Отец выкладывал из вещмешка какие-то свёртки, кои мама разворачивала с видом очень довольным, но намекающим на другую, более важную радость. Один раз, впрочем, она не удержалась и шепнула почти в ужасе: «Колбаса-а». «А кто это там из-за печки выглядывает?» - сказал отец, вроде бы не поднимая глаз, и голосом, удивившим меня ноткой смущения. Я бросился к нему. Я всё правильно про него помнил: глаза действительно были очень весёлые и очень серые, и щека действительно была колючею, и хохоток был короткий и тихий. «Что же ты плачешь?» - тихо спросила меня мама. Но, право же, я не плакал - меня просто пробирав озноб радости, и я не знал, куда спрятать лицо. Тут бабушкина занавеска отодвинулась, и бабушка появилась из своего закутка во всём самом «парадном» и даже с подвитым маленьким локончиком возле большого своего уха. Она подошла к отцу, и по церемонно несколько замедленной степенности я догадался о её взволнованности.

Поздоровавшись, бабушка в выражениях самых учтивых просила прощения за несвоевременно открытую дверь. Я заметил, что во время её монолога отец с матерью переглянулись с юмористической укладкой. Я почувствовал: отношения у отца с бабушкой будут не простые. Не без робости пришла Елена Григорьевна узнать причину ночного нашего возбуждения. Она поахала, поздоровалась

и, не вдруг отыскав выход, ушла за своей настоечкой. Потом мы устроили ночной пир. Отец рассказывал свою фронтовую жизнь, мы - свою. Разговоры не утихали - никогда еще в нашей комнате не было такого оживления, столько улыбок, смеха и радости. Впервые в жизни я ел колбасу и тушёнку. Но, несмотря на веселье, я почувствовал, что в семье произошёл раскол - с одной стороны были отец с матерью, глаз друг с друга не сводившие, с другой стороны оказались мы с бабушкой, как люди странные и своеобразные - все немало над нами подсмеивались.

Средь разговоров я, позабывшись, назвал Елену Григорьевну крестною. Отец с холодным недоумением шевельнул своей бровью: «Что такое?» Крестная покраснела и смутилась: «Как хочешь, Леша, а я его окрестила». Я испугался за кроткого моего друга, но ничего не произошло - после маленькой заминки вопросы и ответы, ахи и вздохи, шуточки и возгласы продолжались как ни в чем не бывало. «Пронесло», - решил я и не успел ничего подумать, только тень сожаления мелькнула в душе как чей-то недобрый взгляд. Была уже глубокая ночь, и я искусственно поддерживал себя в состоянии бодрости: неестественно расширял глаза, дергал себя за челочку и все время ел. На другой день это мое противоборство с сонливостью бабушка показывала в лицах, и особенно смешно у нее получилось, когда меня, все-таки уснувшего, «оттарабанили» на печку в отцовской шапке и с колбасой в руке. Пели песни - «Случайный вальс», «Синий платочек», «Огонек», «Рябину» конечно. Это хорошие песни: скудость одинокой растроганности они чудесно превращали в спокойную естественность неоглядно-просторной нашей общей судьбы. «И-и-и врага ненависна-а-ва, - словно бы отрицательно покачивая из стороны в сторону заплаканным лицом, голосила мама, - крепче бьет паренек, за Советскую родину, за родной огонек». Я смотрел на плакучую нашу свечку в старинном бабушкином подсвечнике, и мне казалось, что это тот самый огонек. Потом все утешали крестную.

Я улыбаясь смотрел на поплавок, пытаюсь вспомнить шутку, которой бабушка развеселила-таки Елену Григорьевну, и вдруг поплавок мой ушел под воду. Я переждал волнение и, наслаждаясь своим «спокойствием», вытащил рыбешку совсем неизвестной породы. Когда я крутился, высвобождая из нее крючок, на плоты осторожно вошла Нагима с бельевой корзинкой и синим тазиком. За ее плечом мелькнула на косогоре фигурка девочки Иры. Она копошилась в земле и обернулась, глядячи в спину осторожно ступающей красавицы со странным вроде бы напряжением шеи, лица и взгляда. В присутствии девочки Иры я всегда ощущал тревогу, которую вызывает человек талантливый и фанатический. Но свет Нагимы Асхатовны был гораздо сильнее темных Иркиных сложностей, и я тотчас перестал их чувствовать.

Нагима присела полоскать. Тихий плеск воды прерывался порою тихими ее вздохами. Пока я рыбачил, думал и вспоминал, я чувствовал спиною незримую красу нежного ее присутствия. Это летнее, вполне расцветшее утро располагало почему-то все к зимним воспоминаниям, и вспомнилось мне, как в крещенский мороз, с маленькими своими ведрышками я пошел «по воду». Колонка была далеко и, главное, на довольно крутой горе, так что ходить туда и особенно возвращаться с полными ведрами было интересно даже в спортивном отношении.

Но самым интересным был вид с высокой горы - всегда разный в разное время года. Вроде бы обычное дело - разный вид. Но тут был особый случай - летом открывавшиеся пространства почти закрывались листвою близких деревьев и открывались над бесснежными крышами. Зимой же громадные сугробы на этих крышах частично перекрывали пронзительную даль, которая все-таки виднелась сквозь обнаженные ветви деревьев. Наполнив свое ведро, я не сразу сошел с обледенелого возвышения колонки, оцепеневши от выразительной непривычности происходящего: отягощенные боярскими шапками снега, крыши нашей окраины словно бы нависали

над простертыми глубоко внизу гребешками снежных барханов студёных просторов реки, исчезающих не в горизонте, а в розовом мареве гулко́го морозного тумана.

Пока я пытался осознать диковинное сочетание мороза, цвета и пространства, пока я пытался привыкнуть к странности знакомых звуков, валенки мои вмерзли в лёд - очевидно, я наступил в собственные расплески. Я не мог сделать ни шагу: решительность была бесполезною - валенки были старенькие, подшитые, и энергия освобождения могла оставить меня только при голенищах, совершенно недостаточных при крепком таком морозе. Поставив ведро, я глубоко засунул руки в карманы «зипуна» и положился на волю Божью, людскую помощь и человеческое любопытство. Последнее не подвело. Когда я уже совсем стал зябнуть, появилась полная румяная женщина (очевидно, в окно увидела) с вопросом: «Работает ли колонка?» «Работает», - сказал я ей и объяснил бедственность своего положения. Женщина ушла и вернулась с огромными ведрами и маленьким топориком.

Пока она меня вырубала, я решил, что, вернувшись домой, нарисую мороз в виде мягких голубых шариков с остренькими-остренькими розовыми шипами. Когда добрая женщина разогнулась, и совместными усилиями я был освобожден, нас обоих разобрал такой смех, такой веселый, дружеский и странно в морозе звучащий, что ради него можно было и попереживать и померзнуть. Явившись домой, я кратко доложил о причине столь долгого своего отсутствия. Бабушка тут же все это изобразила, украсив вынужденное мое истуканство цветами своего воображения. Тут были и воробьи, кои гадили на меня как на памятник, и невыносимые труды народа, сдвигавшего меня как Царь-колокол, и вероятная смертельность моих рукопожатий.

Тут вспомнилось мне, что отец собирался взять меня на этюды, и я, сматывая удочку, засоби́рался домой. Когда я шел восвояси по уже теплым бревнам плота, Нагима Асхатовна ещё полоскала.

Она была беременна и сидела как-то набочок, слабая ее шея беспомощно, простодушно и по-домашнему выступала из нелепого воротничка выцветшего платья. Рядом с ней стояли ее новенькие гапошки, ослепительно черные, остроносые, светясь изнутри ярко-розовой нежно-ворсистой байкой. Услышав мои шаги, она вроде бы напряглась спиной и поджала на ногах пальцы - что-то беззащитное и босоного-сиротское в согбенном ее облике защемило мне сердце не то чтобы жалостью, а чувством пронзительно-кроткой узнаваемости, какое бывает, когда среди чуждой толпы вдруг увидишь внезапно родное-родное лицо. Мне страшно захотелось сказать ей что-нибудь нежное, ласковое и ободряющее. Но вот ведь не скажешь же так - ни с того ни с сего. Я поступил попроще: поздоровался с ней не по-русски, а по-татарски. «Исамысыз», - вежливо ответила она, и на меня глянули ее глаза, простецкие, вопрошающие, чуть косящие; тут же меня узнало и все ее лицо - сказочное, бледное, чуть отекшее - обреченное на несказочную жизнь лицо.

Я поднимался по косогору, думая о предстоящем нам с отцом походе на этюды. Поперек тропинки была просыпана полоска золы, ветерок, встрепенув ее, сделал похожую на пепельное облачко формы стремительной и тающей. Я не успел обдумать, на что похоже это серое облачко на бежевой, в трещинах, земле, как раздался остерегающий детский возглас. Я обернулся направо: около лесопилкиных бревен переминалась девочка Ира, приглашая меня к себе жестами суетливыми и таинственными. Я подошел и дружелюбно помолчал вместо приветствия. «Проходи тут, а через золу не ходи», - сказала она мне шепотом и с выражением туповатого ужаса. Лобик, рыча и медленно подвигаясь к ней, скалил зубки на встревоженную девочку, я его отогнал и стал слушать ее диковинные объяснения. Выяснилось, что девочка «колдует» против Нагимы за ее принадлежность к семье «энкаведешников» и «вообще». «И вообще», - особым расширением глаз усугубила девочка свой взгляд нерассуждающе идиотской преданности чему-то неясному,

но для нее, несомненно, существующему. О, как часто встречал я впоследствии это пугающее выражение тупой и не рассуждающей преданности «чему-то» - суеверию, стоящему над простотой обычных чувств и ясностью здравого смысла. Не рассуждающая эта «преданность» была страшна именно тем, что была не рассуждающей и отвергающей всепонятливость данной нам Христом истины.

Я молчал, подавленный страстной и непонятной ненавистью замурзанной девчонки к невинной женщине, и, словно за поддержкой, обернулся к реке. Нагима, оглянувшись на пароход, шедший по ту сторону островка, не глядя, опустила в воду белье, совсем взволновав беспокойное свое отражение. «Ничего Ирка ей не сделает, - подумалось мне, - Бог ее защитит - такую кроткую». Когда я обернулся к ней, девочка сменила тон и вид. «А ты, - сказала она почти улыбочиво, - влюбился в эту татарку». «Да, да, да», - закончила она, копируя взрослый вид, приподняв белые свои брови и прикрыв лениво-хитрый взор. Подумав, я легонечко постучал кончиком удилица по белой ее голове и неожиданно даже для себя сказал: «Нагима Асхатовна красивая и благородная, и, если у нее родится дочка, я на ней обязательно женюсь». Девочка Ира сделала обморочное лицо и, широко расставив руки, стала медленно оседать, отступая к ближнему чурбачку. «У-го-ра-ю», - стонала она в изнеможении. Лобик, вынырнув из какого-то бездонного и ржавого ведра, возобновил свои угрозы ребенку, маявшемуся в приступе веселого изумления. Я его подсвистнул, успокоил и пошел домой, думая о том, как хорошо было рыбачить в сумеречном одиночестве, дивясь на вещи волнующие, но смирные - воду, землю, тишину и зримую неторопливость детски простодушного рассвета. А вот с появлением людей и рассвет вроде бы остановился, и только светилась, как тихий закат, среди озорства веселух и ребячьего колдовства смиренная согбенность Нагимы и доверчивая вопросительность кроткого ее взгляда.

Почему-то меня встревожила девчачья ворожба, и, пока мы с отцом шли на этюды, я несколько раз порывался спросить его, может ли колдовство изменить человеческую судьбу. Наконец, когда мы по понтонному мосту переходили через Белую, я осмелился и спросил. «Нет, - сказал отец беззаботно, - чепуха все это». Я подумал и сказал свой главный довод в пользу потусторонних сил. «Если нет волшебства, то откуда собачки знают, какой человек хороший, а какой плохой?» - «А они знают?» - спросил отец усмешливо. «Знают», - отвечал я с величайшей твердостью. Убежден я в этом, кстати, и сейчас. «Не знают», - отвечал отец рассеянно. Я разочарованно молчал, не впервые и с удивлением чувствуя, что отец просто не знает, как со мной разговаривать, и, считая меня совсем уж маленьким, отделяется от меня словами случайными.

Пройдя недолго по пыльной дороге, мы свернули влево и пошли по полю к одиноко темневшему вдали островку-лесочку. Войдя в него, мы увидели, что лесочек - просто группа высоких лип, окружающая небольшое озерцо с черной, казалось, водою. Пока отец расставлял этюдник, я обошел вокруг озера, берега коего щетинились светло-желтым камышом. Особые впечатления тайно меня волновали: я привык к движущемуся простору реки, и спрятавшееся в тени высоких деревьев тихое, недвижимое и маленькое озерцо показалось мне трогательным, как щенок, укрывшийся от дождя под перевернутой лодкою. Я решился сказать отцу об этом своем ощущении. Он быстро взглянул на меня, усмешливо шевельнул бровями, согласился и затих вроде бы уважительно.

Умаявшись с утра, я прилег под деревом и стал смотреть, как отец работает. Это было как-то успокоительно интересно: сначала, пока он осознавал себя в житейской будничности, выражение его было обычное - он покачивал головою, хмурился, щурился и покуривал вроде бы с досадою. Но постепенно на лице его засветилась поглощенность работою, отрешенное такое выражение, казалось, что он видит не только небеса, деревья, озерцо, но и саму природу

и суть вещей. Иногда он отступал на шаг от этюдника, не глядя, вытирал кисть о тряпицу и, запрокинув голову, торопливо моргал, словно пытаясь постичь что-то неуловимо ускользающее. Я радовался, чувствуя, что в этом самозабвении работой он переживает лучшие свои часы. Мне нравилось смотреть на отца: какой он крепенький, ладный, в еще фронтальной гимнастерке, кудрявый, сероглазый - тепло было на душе и на воле.

В небе появились облачка - одно, второе, третье... Сладкая полудрема смежала мне ресницы, но новизна обстановки, не давая мне окончательно уснуть, как на речной волне качала меня между сном и сознанием. То мне чудилась рассудительная мордочка Лобика, которая, не меняя невозмутимо добродушного своего вида, но увеличиваясь и увеличиваясь в размерах, вытесняла собою куда-то вправо беззащитно и страдальчески оскалившуюся рожицу девочки Иры; то мнилось мне, что невероятно прекрасное лицо Нагимы воспаленно запрокидывалось к небесам, кои оказывались травой; то отец осторожно касался кисточкой странно маленьких, но живых, натуральных деревьев - я засыпал.

## 11

И увидел я странный сон. Теснота, молчаливость и опасливость были главными его составляющими. В нем был и товарищ Сталин - в мундире домашней вязки, но со всеми регалиями, он не без затруднений протискивался из одной очень маленькой прихожей в другую, не менее крохотную. Девочка Ира, в зимней шубке, пугливо прикрыла дверь в маленькую паутинистую комнатку, похожую на черствую корочку хлеба. Мелькнула и Нагима Асхатовна - с мучительной гримасой она высвобождалась из очень тесного чулана - была она почти не одетая, простоволосая, со шрамом возле левого соска. Много лет спустя, увидев этот шрам воочию, я никак не мог объяснить странного сего обстоятельства.

Все люди, начиная от вождя и кончая маленькою девчонкою, мучились от страшной тесноты, казалось, сжавшегося пространства и опасались переступить через полоски золы, кои возникали при любом открывавшемся просторе. Все происходило в абсолютной тишине, хотя открывались рты, и мимика с жестами соответствовала разговорам то рассудительным, то пылким. Пахло печеной картошкой. Наконец товарищ Сталин вышел в просторный, как вздох, коридор и пошел прямо, не замечая черты золы поперек красной ковровой дорожки. Я смотрел в одинокую его спину и маялся лютой жалостью: он шел и шел к роковой черте – старенький, одинокий и родной. Я смотрел на фатальный, казалось, его путь и мучался небывалым ощущением: «Прощай, отец». Пахло печеной картошкой. Странно.

Знакомый голос – и я проснулся от звука своего имени. Отец приглашал меня к трапезе. Сквозь ресницы я увидел, как он выгребает прутиком из костра печеные картошки и выкладывает их на газету, рядом с беленькими скромными яичками и нескромными ярко-красными помидорами. Дабы повеселить батюшку и развеять тяжкие впечатления странного сна, я, не открывая глаз и стараясь ударять себя пятками по заду, поплелся освежаться к черненькому озерцу, которое хитренько мерцало сквозь свои камыши и мои ресницы. Умывшись, я задумался: идти ногами было скучно, ходить на руках я еще не умел, и я решил добираться до еды на манер разведчика. Когда я приполз, отец расколол первое яичко о мою челочку, и обед начался. Недалеко проходили несколько женщин с мотыгами. Одна из них, самая молодая, подбежала к одинокому этюдику – посмотреть. Непрерывно шевеля головою, она всматривалась в этюд, потом быстро на нас глянула, покраснелась и убежала догонять подруг. Они ушли, переговариваясь, и скрылись за деревьями, для нас, очевидно, навсегда. «Будет дождь», - сказал я неожиданно. «Почему ты так думаешь?» - спросил отец скучно – взрослым, польстившим мне, тоном. Я отвечал с уверенностью, что перед до-

ждем звуки не такие как обычно – другие звуки. Отец на секунду перестал жевать яичко – «хм» - и скоился в сторону угасающих женских звуков с остановившимся взглядом слухового внимания. Несколько раз я хотел начать разговор о странном своем сне, но что-то меня останавливало. Я чувствовал, что рассказывать надо только со всеми нюансами, но нищета словарного запаса в который уж раз повергла меня в печаль переполненного, но немого сердца. Дабы утешить себя и повеселить батюшку, я решил исполнить комический танец. Но отец вовсе не обрадовался, а стал порицать меня за «дикость», сурово осведомляясь о причинах моей склонности к «паясничанью». Я отвечал в том смысле, что люблю видеть счастливые лица. Отец весьма карикатурно изобразил на лице своем свет радости и я, непонятый, полез на дерево обозревать окрестности, подернутые на горизонте хмарью далекого-далекого дождя. Освоившись меж ветвей, я заметил, что далекий дождь кажется угнетенным из-за великого множества облаков, громоздившихся над ним и словно бы над половиной неба. Облака были особые – розоватые, вертикальные, желающие, казалось, освободиться от своей формы и напоминающие собой незаконченные скульптуры Микеланджело, кои видел я в отцовской монографии. Облака были нежные, цвета почти телесного и касались они друг друга с такой ласковостью, что мне очень захотелось увидеть улетающих сквозь них ангелов. Странно и многообещающе было видеть недвижный простор земли и изменчивые просторы неба сквозь близкий и четкий ажур листвы. Состояние поглощенности гармонией всего сущего было так неярко, просто и до такой степени естественным, что, гася разрозненные земные ощущения, светлело в душе чувством совершенно неземным и всеобъемлющим. Погружаясь в завораживающий покой созерцания, я чувствовал, как дыхание мое, шелковья приоткрытые губы, становилось все тише и тише, а глаза недвижимее и недвижимее – и я растворялся в Боге. Состояние это было вне маленького моего опыта и казалось неземным и стран-

ным: между моей душой и внешним миром не было совершенно никакой разницы. Отдаленным – где-то в горизонте – краешком души, я чувствовал, что никто, ничто и никогда не сможет лишить меня этого слияния со всем сущим или исказить его сопричастностью. «Это только мое» - чудилось мне, и хочешь – не хочешь, а мирилась душа с благостной суровостью этого не моего одиночества. Вдруг что-то случилось - моргнул, наверное, – и только что игровое и простодушное взаимокасание облаков, внезапно подернувшись тенью, поспешно преображалось в нечто изворотливо злое и, померкнув светом и цветом, напомнило мне мой загадочный молчаливый сон. Вспоминать его было тягостно, и я обрадовался ветерку, встрепенувшему листву и давшему другое направление моим воспоминаниям. В памяти моей всплыл зимний пожар на нашей лесопилке. Подоженная, как полагали соседи, проворовавшимся начальством, лесопилка воспламенилась бурным зимним вечером. В нашем дворе было оранжево светло и трескотно-звучно. Елена Григорьевна стояла у крыльца с иконкою, пытаюсь спасти наш дом от искр многочисленных и губительных. Сильный ветер то утихал, то опять искрился с подвыванием. Было интересно, красиво, но не страшно. Появился Расих – большеголовый, с невероятно большими (как у коровы) голубыми глазами навывкате – сосед и милиционер. Он приказал Елене Григорьевне убираться домой: «Иди отсюда со своими культами». И даже толкнул ее. Крестная вздрагивала, ниже нагибая перепуганное остановившееся лицо, перетаптывалась, но не уходила.

Есть такие русские женщины – твердость их – не от мира сего. Возмущенный неповиновением, Расих плюнул в икону, потом еще и еще, но в уже укрывающие ее руки. Я закрыл глаза. Ветер утих – стал слышнее треск огня. Когда я открыл взор, на крыльцо, в накинутой на плечи шинели, вышел отец – покурить. Медленно посмотрев на домогательства Расиха, отец, не повышая голоса, прогнал его – тот ушел не без урчания, очевидно вспомнив, что «ипташь

художник» складывает пополам пяточок без особого, казалось, напряжения. Елена Григорьевна не плакала, но слезы текли у нее сами собой, голова ее безостановочно двигалась и неловко пыталась она вытереть иконку рукавом нищенского своего пальтишка. Художнически прищурясь, смотрел батя на неровное пламя и снегопад присмиривших искр. Коротко глянув на крестную, он сказал: «Не унижайся, Лена, иди домой – ветер утих». Ветер действительно утих и только вверху косматил низкие, красноватые облака, похожие на стихотворение «Бородино», которое мне недавно читала бабушка – волнуясь, хмуря брови и блистая полудетским своим взором.

По своему малодушию, я еще не умел всматриваться в печаль жизни; от всех этих непонятностей – снов и пожаров – как-то смеркалось на душе, и, дабы отринуть их от себя, я решил закончить все-таки свой комический танец. Спустившись с дерева, я обошел озерцо и на скрытом камышом противоположном его берегу так отвел свою душу, что даже запыхался. Свалившись в траву и отмечая мельком, как мятежная часть неба надвигается на безмятежную, я немного полаял, подражая Лобику, и даже попытался лицу своему придать выражение дружеской нейтральности, которое мой маленький друг помещал в промежутках между своими тьякаными. Затем, с Лобикиной же проницательностью, я посмотрел меж камышинок на отца, со счастливой растерянностью удачи заканчивающего этюд, и, радуясь за него, тьякнул с негармонической громкостью. «Ты чего там?» – спросил отец без всякого выражения. Распираемый беспечалием, я даже подвыл от необъяснимой радости, которая порою на меня накатывала. «Ясно, - сказал отец. – Собирайся, а то действительно дождь что-то там вроде ку-ме-ка-ет», - закончил он почти нараспев и почти про себя. Когда мы немного отошли от укромного озерца, над коим иконно склонились милосердные деревья, я обернулся и, прощаясь, помахал рукою хорошему местечку, словно предчувствуя, что никогда его не увижу. Лет

через двадцать я пришел на это самое место с одной подругою. Вместо озера была неглубокая, грязная мусорная яма, вместо деревьев – гнилые пеньки. Подруга недоверчиво повернула ко мне желтый свой взор, но осеклась, увидев мое лицо. Особая печаль непоправимости; я уже не догадывался, как в детстве, я уже знал, что суицид смущает наш народ – но зачем же тащить за собой все живое. О, бесовское, о проклятое окаянство российского всеразрушения. Вечное, увы, окаянство.

Мы шли с отцом по полю, поглядывая на далекий наш город, лежащий на плавных своих холмах. Отсюда, издалека, он походил на гроздь увядшей, упавшей в пыль сирени и казался не столько красивым, сколь единственным и родным. Отец был явно доволен сегодняшним днем: рассеянно и весело он со мной разговаривал и прищуривался окрест испытующим, еще не отошедшим от работы взглядом. Но постепенно он успокоился и стал внимательно расспрашивать меня о моих воззрениях на школу, в первый класс коей я должен был пойти, увы, уже через две недели. Памятуя свой несчастный детсадовский опыт, я отвечал уклончиво. С теплой и дружеской убежденностью в голосе, батюшка стал негромко объяснять мне преимущества просвещения перед мраком невежества. Среди перечисленных им грандиозностей, кои предстояло мне постигнуть в школе, мельком упомянут был и земной шар. Споткнулась душа: земной шар? Господи. Встревожившись, я попросил объяснений. Выяснилось: земля, по которой мы шли и на которой мы все жили, была шаром, вроде мяча, и вертелась вокруг себя и вокруг солнца. Несколько шагов прошел я в растрепанных чувствах, а потом перешел на левую от отца сторону, дабы посмотреть – не смеется ли он другой половиной своего лица. Не смеялся – дело оказалось нешуточным, и я озаботился: неясная, без начала и конца земная твердь была изначально привычною, а вот вертлявость ее показалась мне ненадежною. Я угнетенно задумался. «А товарищ Сталин это знает?» - спросил я, изобразив указательным пальцем

вращение. «Знает, - отвечал отец, – но это не по его части». «Неважно, - радостно думалось мне, – по его, не по его части, главное – знает, а если знает, то его великая душа что-нибудь придумает, если ненадежный земной шар окажется в опасности». Странно, но много лет спустя мне припомнилось детское ощущение, когда умерла моя мать, и молчаливо недоуменные судороги души вроде бы слегка изнемогли, когда я позволил себе допустить, что душа ее не просто жива, а какими-то немислимыми для меня путями все обо мне знает - знает и за меня молится. Пусть я ее никогда не увижу, но то, что она обо мне знает, делало жизнь не безнадежною, и стоило жить, чтобы продлить наджизненное материнское заступничество.

Когда мы шли на этюды, порою я оборачивался назад и поэтому знал, что, подойдя к мосту через Белую, я увижу милый свой тополь, который издали покажется еще роднее. Так и случилось: у самого моста я разглядел свой тополь и он, казалось, глянул на меня с молчаливым укором покинутого друга. Этот взгляд кольнул меня в сердце, и я решил свести к шутке это недоразумение: взяв руку под козырек своего картузика, недвижно вытаращив глаза, я бравым солдатским шагом ступил на звучные доски моста. «Ты будешь клоуном», - сказал отец без особой, в общем-то, скорби. «Нет, – сказал я с важностью, – я буду протодиакон». Сдержанный обычно, отец захохотал так, что горделивый пароходик, шедший справа от моста, перестал хлопать колесами и закричал весьма жалобно. «Не просто, а прото, - смахивал отец слезы, – протодиакон - чудо ты уфимское». В бабушкином словаре я вычитал множество диковинных профессий, и если взрослые начинали приставать ко мне с вопросами о будущем моем поприще, я объявлял вопрошающим, что желаю быть «камергером», «архивариусом», «фельдмаршалом» или «демагогом». Когда о последнем поприще я объявил отцову другу и сотруднику Николаю Андреевичу, он спокойно согласился: «Беспроегрышный вариант». И без улыбки добавил: «А

по национальности ты будешь матросом». Я засмеялся – он был хороший и легкий человек, и вспоминать о нем было легко и весело. Конечно же, мне не зря вспомнился Николай Андреевич, ибо, когда мы взобрались по набережному косоугору, он, легкий на помине, спускался от морга в сторону нашего дома. Мы его окликнули. Дядя Коля пожал нам руки и, выразительно посмотрев на отца, кивнул в сторону нашего магазинчика: «Возьмем?». Немного они посомневались, в карманы слазили, на небо поглядели – вот-вот дождь - и, наконец, мы пошли в сторону уникального нашего магазинчика. Эта торговая точка, называемая Николаем Андреевичем запятою, поражала свежее воображение несокрушимой своей ветхостью. Светло-серые, мохнатенькие доски сего строения были невероятной толщины, но расстояния между ними были такие, что если отвернуть кепку козырьком назад, то о содержимом лавочки можно было судить снаружи. Многие покупатели так и делали, и если их было много и они не делились меж собою результатами наблюдений, то зрелище было почти трагическим: казалось, что вредители и диверсанты, стоя лицом к стене, ожидают неминуемой и горестной своей участи. Железо с крыши унесли то ли ветры, то ли воры, и опять же могучие, серые лохматенькие доски ее украшали почти все коты и кошки нашей окраины, коих осенял то бодрый, то унылый флаг. Во дни Февральской революции сей флаг был, очевидно, красным, но сейчас он был совершенно белым и казалось, что вечно шугаемые коты выкинули его, взывая к человеческому милосердию.

Магазинчик стоял на самом краю глубокого оврага, на дне коего протекала речка Сутолка, почти целиком состоящая из ягод шиповника - отходов какой-то фабрики. Осыпаясь краями, овраг постепенно расширялся, и в результате почти треть лавочки повисла над бездною. По наблюдениям народа, опасное это обстоятельство чрезвычайно упростило проблему естественных отправлений малочисленного и бесстрашного персонала рискованного заведения.

Роковой чертой негодии и сиделицу ютил инфермальную: легендарно грудастая и естественно-румяная Серафима глаза имела медленные и ласковые, немного сонные и весьма мудрые. У нее намечался второй подбородочек, и, когда ее обижали, он становился отчетливой - и только: Симочка никогда и ни с кем не ссорилась. Странно: у нее были тоненькие запястья - примета души впечатлительной и тонкой. Согласно народной молве, на одной груди Серафимы был выколот портрет Рашида Бейбутова, на другой - Ивана Мичурина. Скептические умы утверждали, что эти портреты - просто изображения бывших мужей молодой и наивной Симочки, конечно же, ничего общего не имевших ни с бакинским соловьем, ни с козловским победителем природы.

Войдя в магазинчик, мы были приятно удивлены: светилась спокойной и молчаливой доброжелательностью не отвлекшаяся от светлых своих дум Серафима; сиял ослепительной белизною тугой ее халат, и кружевная коронка шапочки мерцала почти августейшим светом. Симочка стояла за прилавком, но грудь ее, казалось, была перед ним мерно дышащим облаком, воспаряя над старенькими весами со смотрящими друг на дружку утиными мордочками. Голова «хозяйюшки» словно покачивалась на неспешных волнах полусонно-ласкового удовлетворения. Готовясь нас выслушать, она повернула к нам самое чуткое к звукам место белой и нежной своей шейки. И взор опустила не вниз, а в сторону. Художники мои сняли кепки и заговорили голосами неестественными - низкими, бархатистыми, внушающими. Когда, расстав в полевою кирзовую еще фронтую сумку свои покупки, мы собрались уходить, вспомнил я и о своих интересах: сняв сандалик, я достал из-под его стельки двадцать копеек и купил двух петушков на лучинке - себе и бабушке. Серафима Акимовна дала мне шесть копеек сдачи и спросила тихонечко: «А маме что ж?» Я смутился, покраснел и попросил у отца копейку. Видит бог, что я не забыл про маму - нет: просто она была брезгливою и уверяла что «несчастливых» петушков сосут все

кому не лень - начиная от фабричных и кончая экспедитором Гансом Мидхатовичем. Выйдя в преддождевую пыльную метель, Николай Андреевич, сдвинув на глаза кепочку, сказал: «Вот, Леша, такая сдоба и в такой ненадежной халупе сохнет - того и гляди в овраг свалится». «В России всегда так, - отвечал отец с усмешкою, - все лучшее или на волоске висит, или по канату шастает». Дядя Коля отреагировал только через несколько шагов, когда мы уже мимо морга спешили: «Верно, Леш, верно: вон грузин-то... Говорят, Жукова после Одессы в Свердловск сослал - чем-то там командовать». Через пару шагов он сказал с расстановкою: «Жу-ко-ва». Я съежился. Я даже не удивился, что товарища Сталина называли просто грузином, меня поразило другое: едва я начал себя осознавать, черное круглое радио, ежедневно - и в жару, и в мороз, и в затяжные дожди - называло имя Жукова, неизменно сопрягая его с самыми славными делами отечества. С чувством потери я вспомнил, как прошлым летом, слушая по радио репортаж о параде Победы, я пытался срисовать с газеты прекрасные, мужественные и благородные черты великого русского маршала. И вот - ссылка: обидно, грустно и совсем непонятно. Приостановившись, отец надменно прищурился на пыль, выплюнул папироску и раздавил ее ногою как гадину. Ничего не сказал. Ветер крепчал и пыль крутилась кубарем. Мы прибавили шагу. Я вспомнил знаменитую картину и пропищал: «Художники, бегущие от грозы». Художники засмеялись, и, так пересмеиваясь, мы вскочили в свой двор, в коем женщины в панике срывали с веревок бельё. Мелькнула и Нагима – спокойно и аккуратно складывала она в синий тазик бельё, отворачивая от пыльного ветра изумительное своё лицо. Позже, когда друзья сели за стол и, с молчаливым одобрением оглядев мамину закуску, разлили по посудинкам рыженькую симочкину «перцаху», отец поднял свой стаканчик и, оглянувшись в окно на припустивший дождик, сказал тоном, удивившим меня своей неопределенностью: «Ну что ж, Николай, давай выпьем за здоровье Георгия Константиновича - трудно

ему сейчас», - и, покачав головой, посмотрел на пестренький половичок. Николай Андреевич, уже переживший обиду за полководца, тем не менее, все вспомнил, встрепенулся и, торопливо заморгав, чокнулся с батюшкой с несколько виноватым видом. Выпили. Шумно вздохнули и потянулись к «хлебушку».

Понюхав корочку, Николай Андреевич рассказал, как его «шандарахнуло» под Сталинградом и, когда слабенькая медсестра вела его в медсанбат, случился им на пути сам Жуков. Увидев, что от потери крови парень вот-вот потеряет сознание, Жуков перехватил взглядом слабеющие его глаза, и мелькнувшее в его твердом взоре выражение поникшей и саднящей родственности, удивив своей неожиданностью, удержало паренька в сознании и вроде бы укрепило слабеющие его силы. С почти домашним выражением Жуков сказал ему попросту и негромко: «Держись, лейтенант, крепись, парень, - я еще на твоей свадьбе погуляю». И усмехнулся утвердительно.

А дождь за открытым окном грохотал с такой силою, что капельки его, насмерть расшибаясь о крыши, низенько дымились над ними, придавая ливню характер воинской ярости. Я содрогнулся от дождевого холодка и замечательного с Николаем Андреевичем происшествия: в рассказах о войне меня больше всего волновали не случаи героической доблести, а трогательные примеры человеческого братства. Этот рассказ Николая Андреевича припомнился мне много позднее, когда я увидел по телевизору кинокадры, показавшие не привычный образ властного и грозного полководца, а мудрого, усталого и очень сложного человека. В перерыве заседания маршал, очевидно не полагая, что его снимают, сидел возле стола, задумавшись. Не поднимая вверх головы, чуть приподнял взгляд, и глаза его меня поразили: мягкая всепонятливость взора словно бы темнела оттенком беззащитного стоицизма непоколебимой честности - честности почти обидчивой.

В сочетании с мощною выразительностью черт лица, выражение это производило впечатление незабываемое - человеку словно бы взгрустнулось от извечной и печальной новости бытия: каждое поколение, увы, все начинается сизнова. Я постеснялся, помялся и спросил: «Дядя Коля (бабушка дала мне щелбан за «дядю»), Николай Андреевич, а когда вы женитесь, когда у вас свадьба будет?» Он, все поняв, рассмеялся. «Жукова увидеть хочешь, - подумав, добавил: - Когда ты будешь служить в армии, может все переменится - возможно, и увидишь». И друзья заговорили о политике. Бабушка попросила меня «покинуть заседание», дав мне в утешение бутербродик с двумя шпротинками. Да, с двумя шпротинками. Я прошел через длинный и темный наш коридор и вышел к парадному, высокому и белокаменному крыльцу - резной балкон второго этажа служил ему навесом. Я сел на корточки возле спящего кренделем Лобика и стал смотреть на Белую: серые ее воды немилосердно сек дождь. Лобик проснулся и зашевелил хвостиком - я его гладил и задумался о сложностях сегодняшнего дня: колдовство девочки Иры с ее полосками золы, странно перешедшими в мой тесный и молчаливый сон, ненадежность земли, так невероятно оказавшейся вроде бы земным шаром, обиды, нанесенные герою ребяческого моего воображения. Я думал, думал, натыкаясь на непонятности, и, решив помолиться за них всех перед сном, перешел к ясному и понятному - очень тихонечко запел: «После тревог, спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок». Когда я допел до «и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука», кто-то улыбочиво за мной шевельнулся. Я обернулся: Нагима смотрела на меня, сжав губы и помогающе приподняв детски-подвижные свои брови. Я не смутился, а обрадовался: «Исамысыз». Нагима, неясно бормотнув (она неважно говорила по-русски), что уж здоровались сегодня, легким движением прислонила мою голову к большому своему животу и погладила мои вихры с необычайной ласковостью.

Много лет прошло с тех пор - почти вся жизнь - а у меня по сей день радостно сжимается сердце от нежного ее прикосновения.

12

Впервые провожая меня в школу, бабушка несколько удивила меня борением противоречивых своих чувств: последние наставления делала она тоном назидательным и строгим, но сквозь слезы растроганности. Вздохнув, я взял букет и ушел в школу невеселыми ногами, готовясь душою к событиям неприятным и противным семейному нашему обыкновению. Лобик провожал меня до моста через Сутолку. «Иди домой, - сказал я ему, - бабушка дома, иди, мой хороший». Через несколько шагов я обернулся: он нерешительно стоял, сирота сиротою, до того домашний, покинутый и родной, что я, дабы обрести мужество и не обжигаться взглядом о его фигурку, стал кидать в речку камешки. Он понял, что я успокоился и побежал домой с неторопливой деликатностью. Оборачивался. Проходя мимо церкви, я мысленно перекрестился и подумал с внезапным восхищением, что в случае непогоды я смогу заходить в нее безнаказанно - вроде бы укрываясь от дождя или свирепой метели. Эта хитрость подняла мое настроение, и, припомнив за дорогу другие случаи своей «изобретательности» и «находчивости», я вступил на школьный двор без особо сильного волнения.

Множество мальчиков и девочек теснились группами на громадном школьном дворе, но я тотчас же отыскал маму в окружении девочек старших «ее» классов. Я подошел к их фальшиво, как мне показалось, оживленной группе и стал ждать, когда на меня обратят внимание. Раздавались разнообразные возгласы, я сейчас же перестал в них вслушиваться, фальшь их меня поразила. Наконец мама, обнимаясь с только что подошедшей на цыпочках девушкой, меня заметила: «А, пришел»... И все нескромно на меня уставились. Я вспомнил, как бабушка наставляла Николая Андреевича, что на

женщин нужно смотреть «равнодушным оком Байрона», и посмотрел на старшеклассниц, как мне показалось, соответственно. Напрягшись лицом, мама ко мне склонилась и показала, к какой группе мне подойти; сказала, как зовут учительницу, и велела только ей отдать цветы. «Ну, иди», - сказала она тоном, приглашающим к отваге и мужеству.

Я подошел к молчаливо оглядливой стайке мальчиков с такими же, как у меня крохотными челочками, над коими возвышалась с охапками цветов пожилая, худощавая и озабоченная учительница. Над головою ее круглилось облачко - сероватое в центре и ослепительное по краям. Я опустил голову: Анна Дмитриевна показалась мне надменною, и у нее было так много цветов, что я, сообразуясь со справедливостью, решил свой букет отдать кому-нибудь более неимущему. Господь тут же предоставил мне такую возможность: невдалеке потерянно бродила, глядучи в землю, маленькая девочка, держа в руке несколько обтрепанных стебельков. Поколебавшись, я к ней подошел и попросту спросил: «Что это у тебя букет драный какой?» Посмотрев на меня исподлобья и сообразив, что я не ехидничаю, девочка подняла голову, осмотрела и сказала просто и почти без горечи: «А я вон от той собаки отбивалась», - и показала ручкою, о нет - ручкой, в беленькой манжетке, на пегую дворняжку, которая с радушно-самостоятельным видом сидела возле турника.

Я отдал девочке свои цветы. Сначала она не хотела их брать - отнекивалась, но, видя тихую мою настойчивость, взяла, отвернувшись с горделивой благодарностью. Помолчали. Не без затруднений девочка спросила, как меня зовут. Я сказал. «А меня - Маша. Я из первого «Г» класса», - добавила она с некоторою чопорностью. В те времена я считал чопорность проявлением тайного юмора и собирался уже хитренько ухмыльнуться, но тут девочку позвали из «Г» группы: «Миронов-а-а, Миронова-а». Маша попятилась, неопределенно покачивая головою, потом быстренько повернулась и убежала, очевидно, довольная. Боже мой, если б я знал в то время

«Капитанскую дочку», если бы знал, свои цветы я бы отдал маленькой и круглолицей девочке с совершенно особенным чувством, да и вообще бы жизнь моя могла повернуться впоследствии совершенно иначе - «если бы знать, если бы знать». Ведь прозреваем мы не вдруг и прозреваем, бывает, не своими глазами и даже не глазами Пушкина, а тем по крохам собранным опытом пушкинской (а значит и нашей) души, на осмысление коего уходит порою вся наша, такая коротенькая, жизнь....

Повеселевши от встречи с хорошим человеком (по желтеньким ее глазам я догадался, что Маша - очень хороший человек), я пошел было подсвистнуть пегую собачку, но тут меня самого подсвистнули мальчишки из первого нашего «А» класса - построение, видите ли. Я встал, о, Господи, в строй. Первый раз в жизни. Стоя в этом строю, я впервые испытал странное и неуютное чувство подневольной приравненности ко всем, и показалась мне это чувство необыкновенно печальным - печальным, как горестная неотвратимость: наступающий вечер, стареющая бабушка, спешащая на работу мама или, обреченные поздней весной, дымчатые островочки снега. Я не то чтобы знал, я чувствовал, что я не такой как все, и то, что строй всей своей сутью опровергал это мое убеждение, наполняло мою душу чувством молчаливо-каменистого - пожизненного, как оказалось, сопротивления.

Но думать обо всем этом было как-то неприятно, и я, в поисках душевного равновесия, стал внимательнее рассматривать всегда утешающие меня деревья. Их было немного, и стояли они как-то особенно - казалось, отшатнувшись от громадного бело-кремового здания школы, они, по-доброму склонясь, приникли к деревянному одноэтажному домику, как оказалось, директорскому. Деревья вроде бы не совсем проснулись - не шевелились, хотя каждый их позлащенный солнцем листочек простодушно выглядывал из синеватых околоствольных сумерек. Этим трем пожилым липам я собрался дружески улыбнуться, но тут вспомнился мне мой род-

ной тополь, и я стал думать о нем, о бабушке, которая взглядывала на него порою с какой-то быстрой надеждою, о Лобике, только раз взглянувшем на моего друга, да и то по случаю огромной стаи птиц. Вот, думалось мне, там - дома есть настоящая не искаженная никакими строями, толкучкой и выкриками естественная человеческая жизнь.

Внезапно меня вывел из оцепенения появившийся меж ребячьих батальончиков малого роста человек в сталинском кителе, в галифе и сапогах - вид начальника был стремительный и почти воинский. В центре большой его головы редкие волосы стояли пирамидкою, над ушами они топорщились параллельно земле, на бровях же, стремились друг к другу, грозный был человек: и нос крючком и глаза от восторга светлые. После нескольких конвульсий он преувеличенно выпрямился и травмировал человеческий слух звуками ненатуральными: голос его был даже не очень громким, но был преисполнен необычайной страстной и таинственной угрозой: «Все на мытынг – все»... «Н-на-мытынг, все», - стонал и скрежетал он, не без грации прохаживаясь меж нами, то опуская, то высоко поднимая голову, и светлый его взор расширялся в непонятном и почти исступленном самозабвении. Когда он оказался подальше, один из мальчиков тихонько спросил: «Это что за мудаки?» «Да директор это, Борис Осипыч», - прошипел кто-то в ответ голосом подавленным и безнадежным. Я встал на цыпочки, дабы посмотреть, как реагирует девочка Маша на дикое, как мне показалось, поведение главного нашего наставника. А никак не реагировала - стояла простенько и все.

Как выяснилось позднее, Борис Иосифович был неплохим и даже справедливым человеком, но советская идея о запугивании всех и вся, стала второй его натурою, не лишив, однако ж, первую простодушно-вульгарного артистизма. В молодости, по рассказам учителей, восторженный Борис Иосифович пытался одновременно подражать Ленину и Сталину, но так как характеры вождей были

весьма различными, поведение молодого коммуниста стало вызывать недоумение его коллег – отчасти комическое, отчасти опасливое за состояние его здоровья. Тогда юный директор решил подражать тов. Сталину в домашней обстановке, товарищу Ленину - в мыслях, чувствах и делах общественных, а товарищу Вагапову - при исполнении служебных обязанностей. Тов. Вагапов, секретарь Башкирского обкома, был образцовым сталинским сатрапом, и по сему, незлобный сердцем, Борис Иосифович был вынужден на «трудовой вахте» корчить из себя василиска. В тех же случаях, когда диалектика обстоятельств понуждала его к радости и он чувствовал необоримую потребность улыбнуться, то для исполнения улыбки он уходил за угол здания, в туалет или кусты.

Однажды, в зарослях акации, я и застал его за этим занятием, он стоял в тени ветвей, и на мужественном лице его остановилась бессмысленная и жуткая улыбка грудного младенца. Я испугался и поздоровался. Он доблестно крикнул мне в ответ и тотчас же, восстановив на лице своем ястребиное, грозное, служебное выражение, трепетно пошел «солнцу и ветру навстречу» - волосы его стояли дыбом.

Под тревожный рокот барабанов повели нас на «мытынг». Наглые и крикливые вожатые построили правильные и отдельные отряды наших челочек и бантиков возле очень красивой и, видимо, новой трибуны. Трибуна, конечно же, не совсем просохла, и взбравшийся на нее стремительный директор испачкал руку ярко-красною краскою. Пачкать платок он не решился и во все время митинга руку свою держал неестественно. Неестественно держали себя и учителя на трибуне: не желая испачкаться краскою, они, однако, желали сохранить пристойный вид официальной значительности. Один директор, казалось, не замечал молчаливо тайного противоборства торжественности и опасливости; держа красную руку столбиком и вроде бы голосуя за безоглядную храбрость, он, доведя себя до воплей, призвал всех нас «под немеркнущим знаме-

нем Ленина-Сталина - и еще что-то там такое - грызть гранит наук».

Я привстал на цыпочки: девочка Маша при этих его словах приоткрыла рот и постукала зубками. В конце концов директор натужно и радостно закричал, что всем нам выпало счастье жить в самое удивительное время и в самой удивительной стране. Мы дружно захлопали в ладоши, равно радуясь окончанию не такого уж страшного митинга и последнему директорскому умозаклучению - для России, увы, почти всегда справедливому. Потом нас повели по этажам к местам постоянной нашей «дислокации», как сказал директор, очевидно вообразив себя в сей момент маршалом Ворошиловым. Классы были чистыми, нарядными и замечательно пахли олифой.

Я выбрал себе место у окна, на самой последней парте. Из бабушкиных пророчеств я уже знал, что мое место общественность назовет «камчаткою». Так и случилось. Я не вдруг привык к ощущению, что это только мое место и что я хозяин этого черно-желтого, блестящего и, как выяснилось уже дома, не совсем просохшего сооружения. Парта была громадною, и я, ради интереса, недолго посидел под ней - понравилось.

Учительница начала знакомиться с классом. Я любовался на портрет товарища Сталина в очень красивой багетовой рамочке и смутно чувствовал некую странность в перечне наших фамилий. Эта же необычность померещилась мне и утром, когда я впервые подошел к нашей «А» группе. Думал я думал об этой необычности и, наконец, догадался: в классе были только русские. В нашем большом и дружном дворе я был единственным русским мальчиком, башкирские имена и лица были для меня привычно милыми, и их отсутствие в нашем классе повеяло на меня вроде бы сожалением. Потом, прохаживаясь по рядам, учительница стала говорить слова скучные и назидательные, и видно было, что думает она совсем о другом - о чем-то своем и, очевидно, невеселом. Мне стало

ее жалко: когда она поворачивалась возле моей парты, я заметил, что ее «парадная» желтенькая кофточка под сереньким пиджаком заштопана, а лицо худое, утомленное, темное возле глаз – казалось, она недоедала. Морщинистые свои руки она держала как-то неуверенно, словно желая их соединить, но не решалась. Руки были натруженные, рабочие, с выпуклыми венами. Маленькие совсем руки. Я вздохнул: не буду ее расстраивать.

Прихмурившись от жалости, я стал смотреть в окно. Хорошо было в сумеречном классе - тихо, спокойно, и учительница что-то там журчала, но за окном было лучше. Там была жизнь, хотя видно из окна было просторное, полусельское, освещенное солнцем Сергиевское наше кладбище. Оно все заросло деревьями разного роста, разной породы и разного, как мне казалось, поведения. Одни под ветерком трепетали скромненько и боязливо, другие возмущенно покачивались, а некоторые сильно и горестно склонялись, будто над свежей могилой. Уже и желтизна светилась на них местами, и, когда благородное ее золото касалось наивной лазури небес, у меня в душе, казалось, вздрагивал колокольчик - и сжимались от восхищения кулаки и поджимались на ногах пальцы. Мне смутно припомнилось, что это сочетание голубого и золотистого было как-то связано с церковью. Поглядывая на зелено-золотистое колыхание под нежно-голубой неподвижностью, я стал прилежно вспоминать церковное убранство.

Внезапно меня ужасливо растолкали с передней парты. Я встал. Учительница спросила меня, где я нахожусь. «На кладбище», - обернулся лукаво догадливый сосед, и все захихикали. Учительница позволила себе улыбнуться и попросила меня возвращаться, добавив: «Пока это возможно».

Я сел, пораженный ее мудростью. «А что, - подумалось мне с печалью, - отнесут когда-нибудь туда, и все - буду лежать там вечно, как бабушкина мама. Летом бабушка брала меня с собою на кладбище. Мы посидели там, в тишине, отмахиваясь от комаров,

бабушка плакала. Мне показалось странным, что можно убиваться о человеке, которого я никогда не видел. Поплавав, мы съели по яичку, а полкусочка хлеба бабушка покрошила на могилке - «птичкам». Потом бабушка постояла на коленях, прижавшись головою к деревянному синенькому крестик, но уже без слез - сильно и недвижно задумавшись. Было удивительно тихо. Мы дотронулись до невысокой травы на невысоком холмике, перекрестились и ушли. Я – навсегда; забыл. Не ищу себе оправданий - их нет, я просто хочу понять, с кого началось забвение - с бабушки, мамы или с меня. По дороге бабушка показала мне школу, в которой я сейчас сидел, и, отходя от кладбищенских печалей, сказала, что скоро я в этой школе буду «скрипеть пером» на манер гоголевского чиновника. И, усмехнувшись и склонив голову к плечу, показала, как я буду «скрипеть». Я усмехнулся, сидючи за своей партою – воспоминания всегда приятно меня волновали, и я постоянно дивился тому, что только в воспоминаниях все события обретают свою истинную и сокровенную суть. Много лет спустя, улыбочиво наклонив голову и быстро помаргивая, с этим согласилась и Маша.

Во время большой перемены я нарочно замешкался со своими сандаликами, чтобы не бежать вместе со всеми играть во дворе - мне хотелось остаться в пустом классе: я любил наблюдать за жильем, когда оно остается в одиночестве. Я присел у окна и опять, но уже свежим глазом, взглянул на кладбище, которое, казалось, приблизилось - несколько крайних берез его были как нищенки, совсем дырявые. Я оглянулся на пустой класс, и так же, как в пустом нашем доме, ощущалась настороженность ожидания и какое-то сиротское упрямство покинутых людьми вещей. От сходства с домом класс стал ближе, спокойнее и понятнее. Как-то особо дополняли тишину далекие детские возгласы. Очнувшись, я вышел в коридор. Отжмурившись, я почуял, что кроме массы света и тишины в пустом коридоре неслышно присутствует и тот будущий шум, который возникнет в нем, когда прозвенит на «урок» школьный колоколь-

чик. Свету было так много, что цветы на подоконниках казались совсем черными. Я их понюхал и по сереньким в белых крапинкам ступеням спустился на второй этаж. По его коридору шли две молодые учительницы, согнувшись и соединяясь головками, они с преступным любопытством смотрели в классный журнал, переговариваясь ужасливым шепотом. Я поздоровался. Они мне не ответили. Невежливость обижала меня почему-то больше, чем других людей, и, подумавши, я обернулся и плюнул в сторону уже ушедших учительниц.

Я вышел во двор. Первоклашки «подпирали» стенку, а ребята постарше играли в «Жоску». Жоска - кусочек козьей шкурки с кусочком же расплющенного свинца, который нужно было подкидывать внутренней стороной стопы, как можно дольше. И прошлым, и нынешнем летом я практиковался в этом искусстве, но тренировки пришлось прекратить из-за веселых, но упорных помех со стороны Лобика: невероятно изгибнувшись, он перехватывал в воздухе кусок погибшей козы и, таинственно пригибаясь, утаскивал его за сарай - закапывать. Попросив разрешения, я стал в маленькую очередь желающих показать свое искусство. На лавры я не надеялся, ибо считать умел только до трех, в честности людской уже сомневался, да и сам процесс был для меня гораздо важнее его результатов. Вероятно, после десяти успешных моих подбрасываний раздался уважительно-раздраженный возглас: «Во дает, молекула». Я еще несколько раз подбросил жоску и, соскучившись однообразием, да и подустав от напряжения, «засандалил» шкурку на высоту, не предусмотренную обычаем. Все удивились и тотчас стали играть не на счет, а на высоту.

Тут увидел я девочек из «Г» класса, носившихся в догонялки - Маши среди них не было. Я огляделся не без печали и вдруг - о, Маша стояла в сторонке, чуть косолапенько и, держа у подбородка левую руку ковшиком, ела бублик. Я к ней не торопясь подошел и дружелюбно помолчал в знак приветствия. «Хочешь сушку?» -

спросила Маша таким тоном, что отказаться было просто неприлично. Мне очень хотелось сушки, но пришлось отказаться: подаренные утром цветы делали простой и товарищеский машин жест неблагородным обменом материальными услугами. А слово «благородно» бабушка заставила меня выучить и осмыслить гораздо раньше других «нужных» для жизни слов. Да и мне самому очень нравилось (бабушка говорила «кровь») поступать не по «советской» «рабоче-крестьянской» выгоде, а повинаясь древнему ритуалу благородной независимости дворян от вещей суетных, случайных и презираемых. «Ты мне - я тебе» - философия подонков и лакеев», - наставляла меня бабушка. И под стон маминого ужаса добавляла: «Она-то и погубит дурачков-большевиков». Вспоминая, я улыбнулся на бабушкину храбрость, Маша тоже вроде собиралась улыбнуться, но как-то странно: правое ее плечико словно вжималось в себя от страха. Я обернулся налево: в нашу сторону бежала пегая собачка. «Не бойся, - сказал я Маше, - не махай руками, не кричи и стань за мою спину». Маша повиновалась с тронувшей меня кротостью и стала за мной ровненько, и, очевидно, борясь со смешными своими страхами.

Я вспоминаю сейчас маленькую ее фигурку, и у меня теплеет на душе и плывет взор - так начинается человек - борясь со своими предрассудками, страхами, неверием. Я медленно присел на корточки и, заглянув под собачье брюшко, начал голосом спокойным и ласковым: «У-у-какой ты красивый-красивый, да еще с пятнушками». Не изменяя тона, я говорил уже Марии: «Смотри на хвост, если махается, значит, мы веселые и дружить хотим и девочку Машу кусать не бу-у-у-дем». Через минуту пес уже лежал на спинке, прижмурившись, а я чесал ему горлышко, наблюдая, как Машина ручка робко тянется к его брюшку - погладить. Я удивился: у девочек были совсем другие руки, чем у мальчиков. Крохотная, тоненько-пухленькая Машина ручка произвела на меня мимолетное, но очень сильное впечатление.

Внезапно на школьное крыльцо выскочил мальчик в пионерском галстуке и с колокольчиком в руке. Чрезвычайно высоко и нелепо задрав вверх одну ногу, он стал отчаянно звонить, установив на лице недвижимое выражение грозного ужаса. Я посмотрел на Машу, не обращая внимания на чудеса веселого пионера, она явно нехотя пятилась от еще лежащего пса, косящего на нас взгляд выпуклый, лукавый и довольный.

По дороге Маша рассказала мне, что раньше, «в детстве», она боялась собак - когда-то ее укусили - «вот даже след остался», и, подтянув рукав с беленькой манжеткой, показала светлый шрам на чуть загорелой коже. И я вновь быстро и сильно был удивлен необыкновенностью детски-девичьей ручки. Поражала не только красота, это само собою, мне смутно чудилось, что Машина ручка не похожа ни на что, даже самое прекрасное на свете. И действительно: почти все, что волнует взор и сердце, имеет на земле аналоги – даже детские глаза можно сравнить с глазами щенков, медвежат или оленят, их можно сравнить даже со «звездочками», ежели, торопясь с ласкою, прибегать к выражениям сильным, поспешным и, следовательно, неточным. Даже облака можно сравнить с морозным вздохом, «с роялем» или «с белыми платочками расставаний». Все можно сравнить со всем. Все, но не детскую ручку - она никогда и ни с чем несравнима – это действительно рука Бога. Я так сильно задумался, переживая новое открытие, что не вдруг заметил некую паузу перед тем, как нам нужно было расходиться по разным коридорам - школа имела мужское и женское отделение, как баня. «Пока», - очевидно, не первый раз, повторила Маша с кроткой и несколько назидательной настойчивостью. Я козырнул ей с идиотски серьезным прилежанием. Маша опустила не темные, но и не светлые свои ресницы - «не паясничай» - и впервые назвала меня по имени.

Первое время, пока мы на уроках занимались с букварем, слушали речи о величии социалистической родины и писали па-

лочки, учеба казалась мне делом простым, ясным и даже интересным. Но вот, когда наступило время арифметики, я совершенно пал духом: абстрактное мышление было (да и осталось) для меня загадкой. «Два яблока плюс два яблока - сколько будет всего?» Я крепко задумывался: ну вот каких яблока - красных, зеленых или (я мысленно восхищался) нежно-розовых, узенькими вертикальными черточками постепенно переходящих в бледный такой восковой цвет. С хвостиками эти яблоки, и есть ли на хвостике такой ржаво-зеленый свернувшийся листочек? А может, это маленькие, желтенькие, почти прозрачные яблочки, называемые в наших краях ранетками? «Сколько? - спрашивала непонятливая учительница, положив горло в ладонь. - Сколько будет всего яблок?» Я решил: «А какого цвета?» Увидев, что я не кривляюсь, а в простоте души своей считаю арифметику лишь частью громадного мира, учительница попросила меня остаться с нею после уроков. Очень внимательно слушая оживленные дебаты между Анной Дмитриевной и другими, смысленными не в пример мне, мальчиками, я стал смутно подозревать, что арифметика – это что-то самостоятельное, чему подход нужен особый. Там надо как-то по-особому думать, а думать я умел, только сопоставляя то, что видели глаза, слушали уши или о чем неуверенно догадывалась неопытная и почти все преувеличивающая душа.

Когда мы остались наедине, Анна Дмитриевна спросила меня, играю ли я в футбол - да, а в волейбол - да. Вот, ты же не играешь в футбол по правилам волейбола. Нет, очень обрадовался я, вроде бы прозревая - нет: я понимаю, что у арифметики свои правила. «Ну, слава богу», - сказала она и стала просто интересно и понятно говорить о мире, в коем нет ничего - ни-че-го приблизительного и неясного; мире, где существуют не вещи, а их символы (знаешь, что такое символ - да) и о мире, в коем существует своя собственная абсолютная красота - красота логики и здравого смысла. Учительница достала коробочку очень красивых кругленьких палочек (усилием

воли я не стал сравнивать их про себя ни с чем на свете), стала складывать их разными кучками, прибавлять, отнимать, и видно было, что она сама увлеклась ясностью и точностью своих доказательств. Я обрадовался, что у Анны Дмитриевны исчезло выражение посторонней озабоченности чем-то, и видно было, что, увлекаясь красотой арифметики, она очень хочет мне помочь. Я смотрел на нее с благодарностью, постепенно понимая правила ее любви.

Ободренный ее вниманием и уважением ко мне, я решился задать ей вопрос для меня совершенно естественный, но для нее, очевидно, очень уж сложный. Я спросил: «А бывает так, что считать вообще нельзя?» Анна Дмитриевна села поудобнее, глянула с явным интересом и попросила мой вопрос пояснить примерами... «Из жизни», - добавила она и опять положила горло в маленькую свою ладошку. Впервые в жизни я говорил очень долго - минуты три - ошибаясь, поправляясь, и, в конце концов, необычайно воодушевляясь. Меня очень внимательно слушали - очень внимательно. С необычайным усилием раскрепостясь, я, страстно желая быть понятным, решился сказать то, что я на самом деле думаю. Помогал я себе и жестами, и мимикой, очевидно забавною - иногда Анна Дмитриевна явно удерживала улыбку. Я сказал, что, когда дома стоит на столе беленькая тарелочка с яблоками, я их не считаю, я даже не знаю, много их или мало, я вижу только одно - одно единственное яблоко. «Честное слово, - торопливо добавил я, - только одно единственное яблоко, самое красивое, самое смешное или самое жалкое. Одно какое-то, а на другие и не смотрю даже». На этом месте глаза Анны Дмитриевны вспыхнули какой-то диковатой понятливостью, она стала сводить кончики пальцев и, завороченно полуулыбаясь, повторяла: «Ну, ну». И еще я сказал, что, когда я остаюсь дома один и наблюдаю за покинутым людьми одиноким жильем, я считаю, что дома никого нет, а себя никак не считаю. Учительница улыбнулась почти испуганно: «Ну, а кто же наблюдает за «пустой» (она выделила тоном это слово) квартирой?» А вот это я знал твер-

до: «Душа». - «Ну а душа-то чья?» - расширяла она добрые свои глаза. Я удивился странной ее непонятливости: «А ничья, душа вообще ничья, как воздух, она же - Божья». «Божья», - повторил я еще раз, чувствуя в себе тихий озноб восторга почти болезненного.

Учительница встала, непонятно на меня поглядела, постояла немного и села, вроде бы успокоившись. Стиснув лежащие на столе ладошки, она сказала с необыкновенной мягкостью: «Я тебя поняла: ты думаешь, что весь мир - живой, как один организм. Но это не так, в нем есть и неживые вещи - камни, кирпичи, песок, доски. А вот из этих неживых материалов можно построить дом для живых людей, а чтобы строить - надо знать. Считать надо». Я кивал, совершенно с нею согласный, ибо чувствовал, что она очень хорошо поняла правила моей любви, а значит, и меня самого. Анна Дмитриевна встала и подошла к окну, видимо взволнованная. Мне неудобно было сидеть одному за партой, и я подошел к ней. Мы стояли у окна и посмотрели, как падают листья и в школьном саду и там, на кладбище. Учительница тихо сказала: «Вот листья падают, желтые, отжившие листья, и кто их считал когда-то живыми, кто о них думал». И закончила совсем уж печальным голосом: «Во всю-то жизнь, во всю-то жизнь»... Мне показалось, что к ней вернулась обычная ее озабоченность и, попрощавшись, я решил уходить. Она удержала меня, ласково надо мной наклонившись: «А ты очень интересный мальчик, прямо таки - инок». «Инок - это священник?» - спросил я. «Нет, - отвечала она, - необязательно. Инок - это просто другой, иной человек - и-ной», - сказала она с улыбкою. Ах, Анна Дмитриевна, Вас давно нет на свете - Царствие Вам Небесное. Спасибо Вам за все, за все - я навсегда запомнил Ваши добрые глаза, Ваше справедливое сердце, усталые Ваши руки. Маленькие совсем руки.

Приятно взволнованный важным разговором, я шел сквозь листопад, который то ли притворялся равнодушным, то ли действительно не боялся смерти. Я все ворочал в себе разговор с учитель-

ницей и сейчас, на просторе, одна ее фраза показалась мне странной и тревожной - о мертвых вещах. Я задумался: камни, кирпичи, листья... Конечно же, я не знал тогда Ахматовой - «У Бога мертвых нет», но листопад то плавным и мудрым, то стремительным и отчаянным своим бесстрашием словно бы говорил то же самое.

Вдруг кто-то хлопнул меня по шее. Мгновенно, как волчонок, обернувшись не шеей, а всем телом, я увидел супостата - небольшого и испуганного. Скорее для приличия «трахнув» его своею полевой сумкою, я заметил, что мальчик смущен таким поворотом дела. Убедившись, что я именно тот, кто ему был нужен, он сказал, что мне «письмо» от «миронихи» и посмотрел окрест с суровой политичностью. Споткнулась моя душа: «Что с ней - три дня в школе нету?» - «Хворая, - отвечал угрюменький посол, - в больницу хотят покласть». Впервые в жизни я вскрыл конверт - на голубой промокашке были нетвердые печатные буквы. Вначале, не без торжественности, я назван был не уменьшительным, а полным своим именем. Далее следовало: «Я болею. Пожалуйста! Достань мне сченка. Прошу очень? Отдай Эммануилу. Он мне даст. Не хворай Мария». «Эммануил – ты, что ли? - Он кивнул. - Не русский, что ли?» - «Русский, - хрипло сказал мальчик с безнадежной серьезностью и добавил: «Ответ пиши». Я задумался - «пиши», писать я умел тоже только печатными буквами, да и то не все слова, а большей частью те, что встречались на вывесках, лозунгах и заголовках газет – бывало, я их срисовывал, практикуясь в русской грамоте. «Ты в каком классе?» - спросил я мальчика. «В третьем». - «Тогда помогай мне писать – я еще в первом».

Мы сели на тесаные бревна - коричневая внутри и серая снаружи кора их валялась рядом. Кленовые листья, опавшие на нее, казались похожими на иноземные награды, кои видел я в газетах на дивно изукрашенных грудях легендарных сталинских маршалов. Мне вспомнились милые мне фамилии и лица - Рокоссовский, Жуков, Василевский, Конев; я опечалился, вспомнив незабвенное и

милое лицо Ивана Даниловича Черняховского. Я вздохнул, он погиб, не дожив и до сорока лет, и просто не успел удостоиться звания Маршала Советского Союза и третьей золотой звезды. Исправляя несправедливость, я нарисовал его «портрет» с теми знаками отличия и почета, кои считал по праву ему принадлежащими. Эмануил меня потолкал: «Ты чего, не переживай, пиши». Я пристроил на коленях полевую свою сумку и стал писать первое в своей жизни письмо. Оно оказалось и последним по простоте и силе чувств. Это неудивительно: настоящая жизнь кончается гораздо раньше, чем полагаем мы, опьяненные ее суетой и дикой ее прелестью. Писал я на ярко розовой промокашке, в наших кругах они ценились за «цвет», и я полагал, что Маша останется довольною. Мальчик со странным именем и к Маше имел отношение не совсем обыкновенное - он оказался ее племянником. Облизывая химический карандаш, я смутно чувствовал особую выразительность житейских странностей, улыбнулся даже: «Тетя Маша - под стол пешком ходит». Но, тем не менее, крупные печатные буквы я выводил с особым прилежанием - радовать опечаленных, было моей потребностью, присущей, как мне тогда казалось, вообще всем людям - как грусть, гнев, веселье.

Старшинствующий над тетушкой племянник хрипловато испуганным шепотом подавал мне грамматические свои советы. Так он сказал, что после каждой фразы нужно ставить знак восклицательный или же вопросительный, точки - мало. С сомнением я вертел дырочку в подвернувшемся кленовом листе, потом посмотрел в эту дырочку на племянника и спросил: «А почему в газетах так не делают?» «Газеты - говно, - заторопился советник и замедлился, - а вот в личном письме это делают для душевности». Я написал: «Товарись! Мария? Друк! Неболей? Сченков рожают весной! Только? Порядок такой! У соббак? Не хворай! Я грусчю? Малину с чаим! Пей! Пока? Друк!» Подписавшись, я для «душевности» пририсовал кленовый лист, звездочку Героя Советского Союза и пегую собачку

«Матроса». Эммануил все одобрил. «Хорошо, - сказал он с убеждением, - грамотно и душевно, и Матроса правильно нарисовал, собака - знак верности». Я внушительно молчал, втайне гордясь своей интуицией - «снайпер, не знающий промаха» - так говорила о ней бабушка. Мы пожали друг другу руки и разошлись с почти значительным видом людей, удрученных недетскими заботами. А моя забота действительно была серьезною: Машина болезнь, вероятно, взволновала меня гораздо глубже, чем я полагал - маленькая моя приятельница все время возникала в моем воображении с чувствами тревоги и жалости. Почему-то мне вспомнилось, что Маша – человек тихий: она никогда не хохотала и даже не смеялась громко.

Однажды, будучи дежурным по этажу, я увидел ее в девичьей очереди к бачку с водой. Все девочки смеялись, хихикали, щебетали, некоторые корчили рожицы, кого-то передразнивая, бантики их волновались как цветы под ветром. Один синенький Машин бантик медленно поворачивался в сторону очередной вспышки веселья. Маша стояла простенько, по своему обыкновению, и просторными глазами смотрела сочувственно на чужую, казалось, радость. Я взгрустнул: несмотря на шуточки и веселье, шустрые девочки в очереди продвигались, а внимающая всем Маша все как-то оказывалась в самом конце ее. И засмеяться она вроде бы пыталась, но - не смела. Вспылив, я пошел было разогнать наглых девчонок, но, даже не дойдя до них, малодушно решил не связываться - нас и так уже поддразнивали: «вон твоя старуха», «вон твой старикашечка». Позже я узнал ее обычаи: когда она, неожиданно и резко крутанув своей стриженной под «горшок» головою, быстро краснея и медленно улыбаясь, ее опускала, это означало, что Маше очень смешно и весело и что у нее светло на душе и легко на сердце. Когда мы с нею уже заканчивали школу, я как-то попросту спросил у нее: «Капитанская дочка, а почему ты никогда не смеешься?». Моему вопросительному взгляду Маша доверила свой желтенький и недолгий взор взволнованного приличия, выпустила из рук косу, пере-

ступила скромненько с ноги на ногу и, еле слышно вздохнув, стояла простенько, решив, видимо, отвечать не словами, а самим фактом своего естественного, неяркого, но ослепительного присутствия на этой неяркой и простой земле.

А за громадными школьными окнами, словно впервые в жизни, нерешительно шел снег. Я помолчал, поглядывая то на робость снегопада, то на девичью ее застенчивость и дружелюбно сказал: «Это не ответ». Маша подняла не темные, но и не светлые свои ресницы и расширила пространство взором такой ясности, доброты и чуть укоряющей родственности, что я понял: ответ.

Я шел сквозь разнообразный листопад, который, казалось, стал гуще возле церковного садика и чем-то напоминал птиц. Я дернулся было зайти в церковь и помолиться за здоровье хворой девочки, но через несколько шагов меня остановил стыд. Я смутился, мысль о том, что я должен молиться при людях и при всех осенять себя крестным знаменем, показалась мне чрезвычайно стеснительной и, в конце концов, совершенно невозможной. Так было всегда, сама собою душа неколебимо восставала против всяческой публичности - я изначально верил только в одинокие подвиги жалости и сострадания. Как обычно, я доверился внутреннему своему голосу: «Помолюсь вечером, один, глядячи на свой тополь - он сам теряет листочки и должен меня понять». В смятении чувств, я и не заметил, как усталая от переживаний душа чуть не подменила Бога похudevшим и родным моим тополем.

Решившись, я с облегчением пошел дальше, в тепло дома, поглядывая на слоистое, вроде узоров расколотого полешка, небо желтовато угасающего горизонта, в который, казалось, стремились безмолвные птицы листопада.

Возле ненадежного нашего магазинчика стояли бабушка и Се-рафима Акимовна - они беседовали с обычным для них дружелюбием. Симочка очень нравилась бабушке, она напоминала ей донских казачек: «любой есаул или сотник всю бы лозу в округе выру-

бил, горячась из-за вулканической такой лапушки». И, пряча иронию, добавляла назидательно: «Вот почему на Дону и леса-то нет». Серафима Акимовна была в черном мохнатеньком пальто, и несколько опавших смугло румяных листьев лежали на ее груди, как прекрасное, но лишнее украшение. Я поздоровался, они ответили и сказали мне вслед что-то добро-шутливое.

Этот серенький день уже с утра походил на вечер, а после обеда и после исполненных мною уроков, он стал совсем угасать, вроде бы бронзовея.

Я сел на скамейку возле бабушкиного окошка и, минуя взором крепкий забор осеннего сада, стал смотреть на свой тополь. Медленно и редко теряя свои листья, он, казалось, не очень печалился, своим недвижным спокойствием являя суровую ясность стоицизма и покорности. Покорности особой, он словно бы говорил с несколько растерянным (от падавших листочков) видом, что мы - и люди и деревья – одна семья, и судьба у нас, как видите, - общая. Вид привычной и домашней его родственности, естественно ввел меня в состояние молитвы. Положив локти на колени, и прикрыв руками рот, я стал просить Бога о «здравии» болящей девочки Марии. Почему-то я решил обосновать свою просьбу перечислением Машиных достоинств - маленькая и тихая, добрая и простая. «Она не такая, как все - она хорошая», – мысленно настаивал я, наивно полагая в те времена, что Бог стоит только за людей правильных и хороших. В простоте своей, я думал, что Божья защита - это что-то вроде награды за хорошее земное поведение. Странно, но даже краешком сознания, но даже дальним уголком души я так и не смог тогда догадаться, что Господь ведет всех. Было прохладно и тихо, и надежда вроде бы рождалась, и тишина становилась словно живой и осмысленной. Но я уже не замечал ни неба, ни тополя, ни тишины, я видел Машу: круглое личико на тоненькой шейке, одушевленные ее ручки, клетчатое, смешное ее пальтишко, ее всегда естественную простоту достоинства и ее, единственные в мире, жел-

тенькие глаза с выражением примиренного с судьбою приличия. Радость - не радость, а теснилось в душе что-то такое первобытное, чему невольно я улыбнулся.

Еще улыбаясь, вернулся я в этот мир: и небо, и тополь, и сад, и забор и крыши, и сумеречный свет вроде снова появились на свет, став, казалось, еще проще понятней, родней. «Господь защитит Машу», - вдруг уверился я, чуть ли не вслух. Я совсем осел на своей скамейке, почувствовав, что нас уже двое - Машина душа, вероятно, меня вспомнила. И вдруг где-то слабо-слабо почувствовалось заходящее солнце - все неярко изменилось вокруг, и казалось, что небо что-то хочет сказать, но стесняется, как маленькое и тихое существо. Или Господь, подумалось мне, так улыбчиво ответил на мою молитву и молчаливо призвал к терпению.

### 13

В самом начале зимы учительница дала нам понять, что вскоре вместо карандашей мы будем писать чернилами. Меня удивило, что это обычное, по-моему, событие, вызвало среди первоклассников такое необычайное душевное смятение: в горячее обсуждение чернильной темы усмешливо включились даже вечно скучающие лодыри. Один молчаливый второгодник, с угрюмым цинизмом просвещая нас касательно чернильных и перьевых тайн, зловеще ободрял наиболее впечатлительных – «насобачитесь». Учитывая судьбу ветерана, особо впечатлительные воспринимали его слова как двусмысленные, обмениваясь взглядами молчаливыми и фатальными.

Знаменательный день наступил, как всегда, неожиданно. Он был морозный и очень солнечный. К подобным дням я всегда относился без особой симпатии: уж очень они нервны – даже синие тени сугробов мешали рассматривать их ослепительно-розовый свет. Необычайная эта яркость казалась мне хрупкою, и при постоянном

напоминающем поскрипывании валенок даже тишина не казалась тишиной – все чудилось, что вот-вот прозвучит нечто внезапное и неприятное: или вскрикнет ругательство поскользнувшийся человек, или треснет как выстрел, ломаясь на плюшевых чьих-то плечах, гнучее коромысло. Эта несимпатичность морозной солнечности превратилась в холодное ее неприятие, после того как недавно, в течение нескольких вечеров, бабушка прочитала мне вслух жизнеописание Пушкина.

Оказалось, что сто десять лет назад под Петербургом, на Черной речке, меж черных деревьев, Пушкин был убит «после полудни» в морозный и солнечный день. Круглой пулей. В солнечный и морозный день раздался все-таки страшный звук, очевидно не ведая в те времена разницу между прошлым и будущим.

Прежде чем окунуть темно-желтое перо в фиолетовую чернильницу, я обернулся в окно и глянул на снежное розово-синее кладбище. Свет его был так силен, что сумеречный класс был, казалось, подсвечен необычным сиянием далекого и непривычного праздника. Да и все мы выглядели не так как всегда, новое дело увлекло всех – никто не шушукался и не баловался, все прилежно скрипели перьями, склоняясь над новенькими прописями. Тишина, казалось, тоже была подсвечена, но не цветом и светом, а духом благообразной и добровольной серьезности.

Я тоже старался с воодушевлением почти творческим: сочетание светло-желтой бумаги с ярко-фиолетовыми буквами показалось мне необычайно красивым. Анна Дмитриевна с нерешительными своими руками и тихой улыбкой умиротворения ходила по рядам и, судя по лицу, думала про нас: «Милые мои, писатели мои маленькие». Я тоже ей улыбнулся. Она ласково прикрыла глаза: пиши, мол, не отвлекайся. Выводя на ровненьких буквах характерные, но не наглые завитушки, я чуть не клал голову на парту, и это, на первый взгляд переусердие, подарило мне дивное зрелище. Уже высохшие, чуть выпуклые буквы, если смотреть снизу и сбоку, от-

ливали на свету то зеленовато-старой, то веселой и молодой бронзой. «Как игрушки елочные», - двинулась фантазировать душа, но тотчас же споткнулась, словно бы ее окликнули. Равнодушно закончил я прискучившую страницу и попросил выйти из класса. Нет – я не хотел в туалет, ни к водяному бачку – просто душа забеспокоилась, будто бы ее зовут. Учительница меня отпустила, попросив заодно увлажнить усохшую тряпку. Конечно же, в нашем туалете кран не работал, и я пошел на первый этаж. Понюхал тряпку – она пахла сухим мелом.

Когда я спускался по нижнему маршу лестницы, входная дверь в школьный тамбур открылась, впуская кого-то маленького – через стекло даже не было видно шапки. И вторая дверь открылась, и вместе с холодным и зримым воздухом в коридор вошла маленькая фигурка, отжмуриваясь от уличной ослепительности. Я не видел ее больше месяца, я не знал ее зимнего наряда, но я тотчас же узнал Машу, когда ее глаза уставились на меня с выражением несколько остолбенелого приличия; меня удивление на приветливость, Маша медленно опускала голову. Немного запутавшись в словах «привет» и «пока», мы поздоровались не без смущения.

Маша раздевалась на вешалке у тети Маргубы с неспешной, аккуратной и уютной последовательностью, приговаривая о том, что в школу она пришла за расписанием, болела воспалением легких, а книга, которую я передал ей через Емельяна (не «Эммануила» все-таки) ей очень понравилась: «Можно я ее задержу, еще охота прочитать про Каштанку, ладно?». Я согласно закивал, радуясь, что Маша – человек деликатный: разговаривая со мной, она не забывала порою обращаться к недвижимой Маргубе Галеевне. Но я очень хорошо (и не без своей гордыни) заметил разницу в ее обращениях: мне она говорила с рассеянной естественностью дружбы, тете же, повинувшись долгу вежливости и учтивости. Я побаивался, что эту разницу уловит пожилая и ласковая «техничка», у нее были такие добрые и сострадательные глаза, что, когда она смотрела на

людей, казалось, что вот-вот они наполнятся слезами нежности и растроганности. Но нет: склонив голову к плечу, Маргуба Галеевна именно так и смотрела на степенно-хлопотливую девочку, даже своею осанкой давая понять, что все идет с человеческой правильностью.

Маленькая моя приятельница начала мне рассказывать, как познакомилась в больнице с одной девочкой, у которой была дома «говорящая птица». Внезапно Маша большеглазо-испуганно остановилась: «Тебя заругают, иди скорее тряпку мочи», - и прогнала меня молниеносно-вороватым и доверительно-дружеским движением маленькой своей горсточкой. Когда я уже с мокрой тряпкой шел восвояси, Маша – с перекрещенным серой шалькой туловищем, в толстеньких синих штанах с «начесом» и в беленьких шерстяных носочках стояла на стуле и списывала с холщового стенда расписание. Ее маленькие серенькие валеночки не валялись, а ровненько стояли возле стула с видом уюта, скромности и приличия. Я козырнул ей, она торопливо помахала мне рукою и не без ужаса показала на потолок карандашиком.

Укоризны учительницы за долгое «хождение» я, согласно обычаю, должен был выслушать с видом независимой и несколько торжественной печали. Так я и сделал. Все остались довольны. Высохшие мои прописи все так же были красивы, но за время отлучки, казалось, обрели вид простой и смиренный. Впоследствии к этому пришлось долго привыкать: творческий восторг оказался делом ненадежным и лишенным критической трезвости.

Вместо последнего урока у нас была «политинформация». «Вы уже знаете, дети, - начала Анна Дмитриевна, – что под мудрым руководством...» Я стал смотреть в окно. Все было привычно, но вовсе не скучно: высоченные дымы из труб подпирали голубое небо, бело-синие толстенькие крыши искрились на местах загибов, женщина в телогрейке шла с водою по узенькой тропочке с почти смешною осторожностью, а на зеленом школьном заборе сидела не

говорящая по-человечески серо-черная птица, носатенькая и недовольная. Вдруг в голубой тени школьного здания появилась серокрасная толсто-вязаная шапочка и голубоватая шубка из лохматенького сукна. Я улыбнулся – это Маша шла домой, рядом с ней семенил Матрос, доброжелательно принимая к сведению серокрасную ее рукавичку, которую она то так, то эдак ему показывала. Я стал внимательнее: вот сейчас они выйдут из тени, войдут в яркий свет снега, и что-то случится. Случилось – все стало ярко, четко, тень и свет, взбодрясь какой-то веселой и беспощадной правдивостью. Дойдя до калитки, Мария немного поиграла с Матросом, а потом он побежал в котельную, а она смотрела ему вслед, маленькая, голубая и радостная себе самой.

Очевидно, почуяв невнимание, учительница повысила голос и твердыми словами стала осуждать коварный план Маршала. Выяснилось, американцы хотят закабалить измученную войной Европу. Все слушали Анну Дмитриевну с несколько ошалелой рассеянностью. Я немного подумал о судьбе Европы, а потом стал думать о судьбе дедушки. Из разговоров старших я знал, что уже в этом году «если ничего не случится», дедушка должен вернуться домой после десятилетнего заключения. Деда я никогда не видел, но видел две его фотографии. На одной он был снят вместе с бабушкой еще до революции. Бабушка мне понравилась – молодая, с высокой прическою, она сидела в переливчато-кружевном платье на темно-резном стуле и, склонив голову набочок, словно бы вручала свою судьбу в руки ростовского фотографа. Этот вид доброжелательной доверчивости она пронесла через всю жизнь, но сильно заблуждался тот, кто принимал этот вид за простоватость и слабость – самостоятельней и тверже моей бабушки я вообще не встречал человека. А вот дедушка на коричневатой той карточке имел вид совсем другой: во фраке и белом галстуке, он стоял очень «представительно», и одна его бровь была приподнята не без высокомерия. Это мне не понравилось. Другая карточка меня тронула: татарское лицо

его было усталым, а глаза печальными и понимающими. Я вздохнул: «Все будет хорошо – ведь я же молюсь за него каждый вечер».

Дома, вечером, сделав уроки, я собрался было погулять, судя по цвету тополя, закат был какой-то странный, и я хотел посмотреть на его особенности. Но не успел я снять с печки свои валенки, как был остановлен маминым вопросом: «Кажется, Маша Миронова поправилась – вроде в школе она сегодня мелькнула?» Я удивился: «А ты ее знаешь?» – «Еще бы, - улыбнулась мама, - я ее знаю столько, сколько тебя». И продолжала уже отцу: «Такая прелесть девочка у Сонечки Одинцовой, помнишь ее, она еще за Мишу Миронова замуж вышла – его-то ты знал?» - «А, - отвечал отец, - знал, конечно, они с Пузиковым дружили, скромный такой парень, вроде с исторического». - «Вот-вот, - продолжала мама, возбуждаясь воспоминаниями, - а с Сонечкой мы в БГУ вместе учились, и в родилке вместе лежали, и ее Машенька часов на десять старше нашего – в один день родились – она часов в пять утра, а он в два дня». Бабушка постоянно подшучивала над моим «чревоугодием» и тут не утерпела: «К обеду торопился». Я смотрел во все глаза и слушал во все уши. «А потом мы с ней, - говорила мама, - уже в войну вместе в библиотечном техникуме работали». Отец положил подбородок в руку и спросил: «А Михаил что сейчас делает?». Мама померкла: «Убили Мишу в сорок втором. Не пришла Соня как-то в техникум, они тогда близко жили, я к ней забежала узнать, а у нее дверь настежь, а сама она на кровати сидит, молчит и вроде бы не в себе. Я ей и говорю, что это у тебя двери-то отперты? А она мне – боюсь, Галь, двери закрыть, Мишу убили. И похоронку показала на подушке. Я села куда-то, что делать – не знаю, что говорить – не знаю, и Машенька, надо же, болеет. Я подошла к постельке, а она красная вся, и волосики влажные, и кулачки возле ушей лежат. Не спит, глазки открыты, смотрит. Я говорю Сонечке: «Софья, крепись, у тебя дочь». Она в пол смотрит, потом вдруг: « Да не у меня, а у нас с Мишенькой». И как зарыдает так, знаешь, в голос, вроде

как с кашлем. Я дверь пошла запирать, и сама плачу. Она два дня в техникум не ходила, отпросилась у Рахмея Савхутдиныча, тот - «конечно, конечно» - два дня все стирала с утра до ночи, стирала. А у Маши не корь оказалась, а так просто съела что-нибудь – дети ведь от голода все в рот тянули».

Отец все выслушал молча, посидел, сказал «да» и в коридор вышел – покурить. А я вышел во двор. Взволнованный маминым рассказом, я не вдруг заметил, что закат, в общем-то, обычный, только неяркий как перед будущим снегопадом.

Около ворот за забором стояла Нагима Асхатовна. Непривычно было видеть ее: она не развешивала белье, не выколачивала пестренькие половички, а просто стояла и смотрела на закат. Смотрела как-то двояко: вроде печально вслед улетевшему счастью и с прищуро-недвижной надеждой на новое. Я знал, что ей тяжело: осенью у нее родилась девочка, но мертвая. Услышав об этом, я мигом налился самыми суровыми чувствами: «Подлая Ирка, доколдовалась все-таки». Колдунье я ничего не сказал, но перестал с ней разговаривать, тем более что в школе, при всех в коридоре она обозвала Машу «косолапой дурочкой». Я осторожно поздоровался с Нагимой Асхатовной, она рассеянно мне ответила и переменяла позу на не такую уж грустную. Подумавши, я сказал, что ночью, наверное, пойдет снег. Она выпрямилась со вздохом и с облегчением вступила в беседу, но безмолвную: сомневаясь, чуть склонила к плечу прекрасную свою голову, а потом глянула на меня с чуть жалкой улыбкой тайной благодарности за бессловесное мое сочувствие. Я угадал перемену в безмолвном ее настроении и, осмелев, показал рукою на простор заснеженной реки: «А вот куда идет тот человек – сюда или туда?». Нагима удивила меня быстрой своей смышленностью – она сняла белую свою рукавичку, приложила мизинец к столбу ворот и, поглядев через него на далекую фигурку, кивнула без улыбки, но с юмором: «Сюда идет – в гости». И улыбнулась. Я тоже. Помолчали. Человечек, действительно, шел в Уфу.

Вероятно, озябнув, она перетопнулась беленькими низкозагнутыми валенками, нагнула голову и быстро пошла домой.

Я еще постоял, посмотрел, как быстро темнеет вечер, и вдруг с необыкновенной ясностью представил почему-то, как Машины кулачки лежали возле влажных ее висков далеким летом сорок второго года. Я зашел во двор, отыскал подходящий сугробик, лег на него спиной, сжал кулаки, пристроил их около висков и стал смотреть в небо. Небо было меркнувшее и безоблачное – нет, около острроверхой башенки нашего дома стеснялось что-то серенькое. И, приглядевшись, я увидел, что все небеса подернуты еле видимыми полосами и пятнами то недалеко, то очень близкой дымчатости. Темнота небес вроде бы сгущалась, но звезды еще не появились, а мне захотелось посмотреть на них повнимательнее. Во-первых, бабушка мне рассказала, что дедушка любил рассматривать звездное небо и знал его, и еще, мне хотелось сравнить летние свои впечатления от звезд, когда я долго лежал на крыше сарая после ужасного скандала на берегу Белой, возле лесопилкиных бревен.

Дело было так. Летом на берегу поставили зеленый станок с зубчатыми колесами, чтобы взамен лошадей вытаскивать из воды мокрые бревна плотов, бесконечных, ровненьких и печальных. Почти целый день двое пареньков, то надевая, то снимая резиновые перчатки, пытались подсоединить его к чему-то им до конца не ясному. Но что-то у ребят не получалось, все боялись – замкнет, и станок оставался безжизненным, пока не примчался парторг в громкопылящем своем мотоцикле. Не сводя тяжелого взгляда от смиренной машины, парторг сказал текст, в коем среди слов матерных и понятных мелькнули и слова загадочные особенно последнее – «фаза». Это слово он сказал по слогам с ужасливым расширением глаз, как страшное, но все объясняющее ругательство. Пареньки слушали его, потупясь от тайно-радостного прозрения, кепка одного была козырьком назад, кепка другого была козырьком к небу. Взявшись за этот козырек, парторг двинул его вниз, к носу, как бы

включая рубильник, и мотор оживился поначалу бормотливо-тихонечко. Паренек в обратной кепке высоко поднял согнутую ногу, преступно-радостно зажмурил один глаз и пукнул в совершеннейшем восхищении. Но звук естества был заглушен голосом технического прогресса – мотор работал уже оборотисто. И дело пошло – заскрипела лебедушка и связку из пяти бревен потащила медленно, но неуклонно. Парторгу этого показалось мало: «Товаищи, это ж не лошади – жалеть нечего, езейвы беспьедельнейшие», - грассировал он, шинкуя воздух ладошкой. «Как же, жалел ты лошадей»,- подумал я с внезапной непривычной и обжигающей ненавистью. Бывшие кнутобойцы, а ныне такелажники, морщились и покуривали вроде бы с сомнением, но парторг сломил все-таки их косность, воспламенив их умы и сердца словом своим пролетарским, страстью своей партийной. С безразличной покорностью подцепили они к лебедке связку бревен из пятнадцати. Невероятно медленно, под вскрики редкие и безнадежные, бревна двинулись вроде бы вверх. Парторг, перепрыгивая через аж дрожащие тросы, радовался как дитя: «А вы по стаинке хотели, товаищи – малове-ры». Трос лопнул и хватил его по сраму, коим он бессовестно манипулировал в восторженном своем неистовстве перед истязанием кротких лошадей.

По-женски закричав, парторг согнулся в три погибели, зажимая ручкой зашибленное место. Я стоял близко от него и близко увидел его глаза – глаза внезапно обгадившегося человека. Я вспомнил беспомощно замиравшие глаза избиваемых лошадей и, переступив через кудрявый трос, подошел еще ближе и плюнул ему в лицо. Поросячий его визг я уже не слышал – оглохнув и ослепнув от чудовищно сладкой ярости, я бросился кусать, рвать, царапать ненавистную и подлую тварь. Я бессвязно орал, как мне сказали, ужасные матерные ругательства. Пожилой башкир (тот самый, что вместе с бабушкой поднимал упавшую лошадь) оторвал меня от изумленно обмякшего парторга, зажал мои руки железными своими

подмышками и, похлопывая меня по спине, говорил по-башкирски что-то успокоительное. Отворачивая от него лицо, я хрипел в ненавистную сторону угрозы чудовищные и смешные. В припадке благородного безумия я и не заметил, как подошла Нагима Асхатовна. Она что-то сказала по-башкирски доброму такелажнику, и тот выпустил меня из рук. Она подошла ко мне, сняла со своего плеча цветастый платок и почему-то накинула его мне на плечи, то ли желая меня вязать, то ли укутывать, то ли просто в знак своего покровительства и утешения. Приняв ее за мою маму, парторг стал кричать на нее, обвиняя нас в сумасшествии. Я поднял голову и не вдруг узнал смирную Нагиму Асхатовну: медленная и великолепная мощь ее взгляда заставила споткнуться базарное красноречие ушибленного парторга. В равнодушном ее взгляде не было каких-то сильных чувств, нет – этот человек просто отвергался, недостойный даже гнева, отвергался, как пустяк, как подвернувшийся камешек или послышавшийся случайный звук. Осененные быстрым и кротко-страдальческим движением полудетских ее бровей, лишь на секунду закрылись ее глаза с отлетающим от земли выражением. Много лет спустя, проснувшись на исходе летней ночи, я увидел на ее спящем лице точно такое же, вернувшее меня в детство, отлетающее от земли выражение. «Айда», - тихонько сказала мне Нагима Асхатовна, взяла меня за руку, и мы пошли в свой двор. По дороге она успокоилась и, сняв перед воротами платок с моих плеч, дружески улыбнулась: «Смелый ты». И добавила, сделав неопишуемые «свирепые» глаза: «У-р-р-р-тигер», и хмыкнула совершенно по-девчоночьи. Я прижался щекой к шершавой ее ручке, она потрепала меня по челочке и села на завалинку к своим учебникам.

И вот, лежа на сугробе в ожидании зимних звезд, я вспомнил те летние небеса, в кои смотрел я после постыдного скандала у врат лесопилки. Тогда на небо высыпало так много звезд, что они показались мне толпой глазастеньких существ, любопытных до неприличия. Грызая сушку, я сердился – ну, что уставились – и тарасился

на них, расширяя глаза и вроде бы передразнивая. Еще горше речного скандала было то, что родители меня не поняли – ругали все, даже смиренная Елена Григорьевна, и бабушка туда же, подняв вверх могучий и красивый палец, она сказала, что при отчаянных таких страстях я кончу свою жизнь на виселице. Нет, подумал я тоскливой безнадежностью, это все не друзья, то ли дело Лобик, мордочка коего задремывала у меня на груди – это вот друг. Если по двору кто-нибудь проходил, или там что-то шуршало, Лобик, не открывая глаз, урчал тихо, но бдительно. Такая преданность своему долгу веселила мое сердце гораздо больше, чем жалкие человеческие рассуждения и переносила меня в тот мир, в коем друзья, молчаливо сочувствуя рядом, клубясь, морозя, шелестя, журча, стучая зубками и любознательно вытягивая шею, проявляя себя только видом и взглядом, никогда не осудят и никогда не предадут тебя.

Лет через семнадцать, выслушав эти неизменные мои умозаключения, Маша, не осуждая, вздохнула: «Да, но все это как-то деспотично, что ли?» - «Мари, - сказал я «строого», – рассуждающие и взвешивающие тебя друзья – не друзья». Машка начала хулиганить: «У товарища Сталина, сэр, вы были бы правой рукой», – почти пропела она на колыбельный мотив. «Михална, - сказал я назидательно, - товарищ Сталин был гораздо сложнее, чем представлялось это колхозным добродетелям блаженного Никиты». Маша сменила тон: «Да. Но этот юродивый реабилитировал и твоего, и моего дедушку». Я вздохнул, поглядел на не темную, но и не светлую ее гривку (да – волос долог) и сказал уже вслух с раздражением: «Пойми же, Маша, Сталин был точно по размеру нашего народа. Его любили и любят под стать его подлости, его холопства, его зависти и чудовищной его жестокости, по точным размерам примитивнейшей его «справедливости». Невидящим взглядом Маша посмотрела окрест и спросила меня простенько: «А народ всегда был таким?» Я задумался. И тогда и сейчас.

Внезапно женский голос окликнул меня по имени, я обернулся – смутная тень Нагимы Асхатовны спросила с высокого белокаменного крыльца: «Ты чего, снег, а валяешься?» - «Думаю», - отвечал я не без раздражения. Она сказала что-то о простуде и ушла. Я опять лег – ага – две звездочки поморгали прямо передо мною. Только две. Очень простенькие. И мне показалось, что громадное, дымчатое и бездонное это небо не веселое и не грустное, не доброе, но и не злое, а просто – зрячее.

14

У Маши не ладилось с чистописанием: палочки букв выходили ровными, а вот всякие завитушки – кривенькими. Маленькая моя приятельница, по своему обыкновению, молча переживала свои горести, и о них я узнал от ее бабушки, пришедшей на встревоженное, как всегда, родительское собрание. Она пожаловалась моей маме на затруднения своей внучки и, поскольку и я тут случился, добавила, что, по словам Анны Дмитриевны, на мои прописи «любо-дорого» посмотреть. Догадавшись, я спохватился: ждать, когда тебя попросят о помощи, я считал неблагородным делом и тот час же, под одобрительный мамин взгляд, предложил Елизавете Федоровне репетиторские свои услуги. Когда я рассказал Маше об этом разговоре, она, не помянув чистописания, обрадовалась: «Конечно, приходи, и увидишь вот Самполопарченок». Очевидно, не находя слушателей, Маша частенько рассказывала мне случаи из этой, поразившей ее, книги. Моя бабушка читала мне как-то «Сампо-Лопаренок», но я скрыл это от Маши, дабы не лишить ее радости рассказчика, а меня – слушателя. Рассказывала она с необычайной живостью: о северном сиянии, о собачьих упряжках, о дошках с капором (капор объяснялся и ручками) и даже, растопырив пальцы над челкою, она показывала оленя, сделав попытку придать своему обычному выражению послушного приличия гордый олений

взор. Попытка, по-моему, не очень удалась – взор получился просто внимательным, но я все-таки кивал со всепонимающим тихим удовольствием. От хорошего настроения меня так и подмывало пошутить над Машей и попросить, чтоб она показала северное сияние, но, поглядев на простодушную ее старательность и беззащитную доверчивость, я догадался, что делать этого не стоит.

Тут к Маше подошли две ее подружки: недвижно «красивая» Жанна Кляп и невыдержанная Валька Сабелькина. Они стали шушукаться про день Восьмое марта, а я стал думать, как избавить Машу от страха (как я был убежден) перед овальным коварством, никому не нужной каллиграфии. Я и вечером думал об этом и даже с отцом решил посоветоваться. Отец, подумавши, нарисовал на полях газеты латинскую букву S. Ловко так нарисовал, красивая получилась буквочка – в центре такая толстенная, а к кончикам плавно истончавшаяся до волоска, наверное, на кончике коего была точка. «Вот, - сказал он, - пусть девочка рисует эту букву в различных положениях – она основа всех плавностей». Мысленно восхитившись простотою приема, я сказал: «Молодец, додумался все-таки». Отец непонятно молча и долго смотрел на меня, а вероятную его мысль высказала бабушка: «Вот оно, - сказала она, - советское воспитание». – «Не советское воспитание, - сказала мама, чистя огурчик от соленых листиков, - просто нахал он».

День, назначенный для «обмена опытом» выдался замечательным: оттепель была, а накануне выпало множество пушистого снега, и шапки его на заборах, трубах и крышах были с черными внизу окаемками. Серенькое небо, белый чистый снег с горностаевыми кое-где чернушками подталин, делали этот день неярко-светлым, серьезно ясным и чуть тревожно озабоченным, как сам белый свет.

Мы занимались за столом, накрытым старенькою клеенкою, и я, отходя от гостевой застенчивости, уже поучал «Марию»: «Перо нажимай только в середине, а хвостики делай легонько». Маша ерошила волосы на затылке, трясла своей горсточкой и шептала:

«Дура я». В перерыве она дала мне «Сампо-лопарчонок» и, мелькая синенькими тряпочными пяточками на беленьких шерстяных носочках, быстро ушла на кухню помогать бабушке – что-то они там стряпали.

Освоившись, я осмелел и решил посмотреть украшения стен. Они были почти знакомые: «Три богатыря», «Охотники на привале». Несколько фотографий. Две из них были больше других – мама и папа – догадался я. Софья Николаевна была с таким же, как у моей мамы, крендельком волос над бровью, а вот Михал Павлович был совсем молоденьким, в гимнастерке с отложным воротничком, в пилотке. Он, чуть наклонив голову, смотрел на меня из вечности. Вероятно, с последней своей фотографии. Смотрел простенько, как Маша, вроде перед улыбкой и словно бы вежливо пережидая хлопоты фотографа. Я глядел на милое его лицо и пытался представить его гибель там – на войне. Ничего, конечно, у меня не получилось, и я счел почему-то нужным скопировать выражение его лица. Я взглянул в висевшее рядом зеркало: серенький свитер с пуговицами на плече был знаком, знакомая была и обязательная для всех челочка, а вот взгляд, любопытный и встревоженный, опять показался мне ничего общего со мной не имеющим. Я попытался взглянуть в зеркало «простенько», но ничего у меня не вышло, и я обернулся на беззвучный зов – Маша вертела возле уха уже обмакнутым в чернила перышком. Опять занимались и снова с увлечением, переходящим в недоразумения – нет, мы не ссорились – просто в нужных местах я смотрел на Машу со взыскующей суровостью, а она отворачивалась в окно с видом душевного опустошения. Но потихонечку дело двигалось, и под конец я сказал: «Устала ты, Михална, но успех есть, - и, подумав, добавил. - По-моему».

«А сейчас чай будем пить», - сказала Елизавета Федоровна, и Маша стала приносить с кухни всяческие посудинки, что-то шепотом про себя приговаривая. И чай появился, и повидло в крошечных тарелочках, кои Маша, очевидно, ошибаясь, называла «розет-

ками», и появилась даже большая тарелка с пирожками, что взволновало меня в высшей степени. И вот, когда все устроились за столом, Маша ушла – в кухню, ойкнула там и вскоре вернулась с застенчивой важностью и не без торжественности. В обеих руках она держала маленькую тарелочку с одним единственным пирожком. Немного не дойдя до стола, она остановилась ровненько и сказала, оглянувшись на бабушку: «Вот, это я сама испекла и лепила, - и тихо добавила: - Это тебе, - и чуть погромче: - Горячий». Сказав, она немного замешкалась и постояла недолго, ровненько и большеглазо ожидаючи. А сзади нее, за окном, две высокие снежные шапки на заборе, казалось, склонились друг к другу и к каждому ее плечу. Множество раз вспоминал я впоследствии эту картину и постепенно, сквозь этот уже сон бытия, стали просвечивать реалии рублевской «Троицы».

«Кушай», - сказала Маша и поставила тарелочку возле моей кружечки. Я не знал, как себя вести, от смущения встал и сказал «спасибо» не к месту отважным голосом. Пили чай. Я не знал, как поступить со «своим» пирожком, но безошибочный внутренний голос подвигнул меня к решению самому естественному: я разрезал пирожок и подвинул тарелочку Маше – «вместе». Она глянула на меня вроде бы с облегчением, а на бабушку вопросительно, но уклонилась – нет, это тебе. «Вместе», - сказал я с необыкновенной твердостью, которая порой на меня накатывала. Маша неопределенно пошевелила голову и несмело протянула к тарелочке необыкновенную свою ручку, покорно взяла долю. «Спасибо», - сказала она машинально. Я сделал жест, значение коего никто не понял, но улыбнулись все. Много позже Мария острела, что в «сем жесте широта российской души трогательно боролась с тайными угрызениями жадности».

Когда я собрался домой, Маша меня остановила: «Подожди, вот сейчас скоро придут Жанна с Валею, мы тебе подушечку одну покажем секретную. На мое удивление Маша даже шейку выгнула

укоризненно: «Ну как же, к Восьмому марта учительнице вышиваем». Очевидно, с присущей ей покладистостью, Маша, признав меня за что-то вроде эксперта по вопросам эстетики, потребовала от меня своего мнения, когда подушечка только разворачивалась пришедшими подругами. Когда подушечка появилась на свет, я захохотал так, что Елизавета Федоровна выглянула из кухоньки, а только что пришедшая Софья Николаевна, не снимая пальто, подошла к нам. Я так смеялся, что Софья Николаевна сказала своей маме: «Какой у Гали веселый мальчик, просто колокольчик». - «Колокольчик», - сказала Сабелькина с изрядной долей сарказма – она, очевидно, была автором удивительного изображения и не смотрела на меня с гордостью. Валентина обижалась напрасно: я веселился от потрясающей выразительности ее творчества. На подушечке был вышит цыпленок – с чудовищно пресыщенным видом он стоял, отставив одну ногу в позе почти монархической. Я по сей день удивляюсь, как удалось авторам маленькому этому лимончику придать такую бездну презрительной верблюжьей гордости.

Отсмеивался я, а Маша тем временем за меня конфузилась – не знала, куда деть ручки: и у горлышка их теребила, и за спину прятала, и уверяла всех: «Это шутит он, смеется он». Елизавета Федоровна сделала мне наставление в том смысле, что нельзя смеяться над чужим горем.

Перед самым уходом я еще раз посмотрел на фотографию Машиного отца, и еще раз мелькнуло во мне, как он погиб – на бегу, в полете, в Т-34 или разя врагов замечательной, как говорил отец, пушкой-сорокопяткою? Я помялся у двери и спросил у Софьи Николаевны, кем был Михаил Павлович – летчиком, танкистом или артиллеристом. Мама, Машина мама, внимательно в меня всмотрелась, а ответила Маша: «Солдат стрелкового полка, стрелок». И пошевелила на прощание пальцами. Я попрощался и, надев шапку, вышел во двор. «Стрелок», что-то смутно начало мне вспоминать-

ся, и уже на белой и строго светлой улице я вспомнил недавний урок пения.

Обычно я помалкивал на этих уроках во время разучивания патриотических песен и съезживался на последней своей парте с видом сочувствующего наблюдателя. Патриотическими в те времена считались советские песни – песни беспечные, но угрожающие. Но вот однажды (за окном была суетная метель – снежинки летели, сами не зная куда, то вверх, то вниз) Анна Дмитриевна предложила желающим исполнить любимую свою песню. Несколько мальчиков вставали и, ни на кого не глядя, пели немного из советского репертуара. Я долго мялся застенчивостью, но все же, пересилив себя, решил показать обществу одну замечательную песню, которую, бывало, даже ожидал по радио. Я поднял руку, получил разрешение, встал и запел: «Меж высоких хлебов затерялося небогатое наше село, горе-горькое по свету шлялося и на нас невзначай набрело». Никто не засмеялся – мальчики сидели серьезно и вроде бы с уважением к тихой моей истовости, которую, очевидно, все почувствовали. Я спел всю песню и даже тот куплет, который Русланова не пела по радио, но о коем поведала мне бабушка. «И пришлось нам нежданно-негаданно, хоронить молодого стрелка, без церковного пенья, без ладана, без того, чем могила крепка». Закончив, я не вдруг сел, а, подавляя в себе необычайное поэтическое воодушевление, стоял, стараясь изо всех сил, чтобы слезы оставались на своем месте – в глазах, коими я смутно видел рассеянные снежинки. Анна Дмитриевна все поняла, по-своему обрадовалась и объяснила всем нам, что я спел песню о тяжелой крестьянской доле во времена царей и помещиков.

И вот сейчас, вспомнив бабушкин куплет, я шел домой, и как раз возле церкви, в душе моей судьбы двух русских стрелков как-то странно соединились под мелодию печальную и родную.

Много позже, когда Маша была уже, вероятно, старше своего отца, я рассказал ей этот случай со всеми его подробностями. Она

вздрагнула плечами как от внезапного озноба и быстро глянула на меня с несколько виноватым видом всепонимающей немоты. Тогда – промолчала, а позже сказала: «Знаешь, вчера у меня от твоего рассказа просто мороз по коже продернулся – словно я с отцом встретила». И вздохнула. И в горизонт прищурилась – сконфузилась. Я положил руку на зеленое мелковельветовое ее плечико: «А ты и встретила». Она метнулась ко мне взглядом словно с мольбой о помощи. Я несколько удивился ее недоумению: «Это же просто, дружочек: бессмертие души (Бог) и искусство (песня) – они же друг в друге находятся, ну как вода и кувшин».

Печальный и просторный мотив еще звучал во мне, когда возле церкви распахнулся горизонт – тот самый родной и привычный горизонт, в который улетали звонкие птицы, молчаливый листопад и отзвучавшие в душе песни. Проходя мимо повисшего над Сутолокой серенького нашего магазинчика, я вспомнил, что мне надо купить немного хлеба. Не для дома, теперь в нашем доме всегда был хлеб, а просто, уразумев уроки недавней войны, я стал готовиться к следующему нашествию: тайно ото всех сушил сухари, желая обезопасить Лобика от превратностей человеческого безумия. Купив полбуханочки, я упрятал ее в полевую сумку и разговорился с Серафимой Акимовной – ее сын Степан учился вместе со мною, и многие мои обстоятельства совпадали с интересами материнского ее беспокойства. Беспокойства рассудительного и тихо приветливого.

Дружелюбное журчание наших, отчасти ритуальных, фраз о трудностях просвещения, было прервано появлением матроса Альберта, который чуть ли не всю зиму находился в постоянной разлуке с трезвостью. Сейчас, очевидно, он встретился с похмельем настолько чудовищным, что, учуяв запах его, кот Тарнак (Коготь), дремавший на верхних пустых ящиках, спустился пониже и, вытянув шею в сторону несчастного матроса, посмотрел ему в лицо с грозно восторженною пронизательностью. Красноватый, темный и

опухший Альберт отсчитал нетвердою рукою заранее осмысленную сумму и, слабея прямо на глазах, сказал почти шепотом: «Опухмели, Симошкя». Серафима Акимовна молчаливо, торопливо и опрятно доброжелательно нарезала ему колбасы с хлебом, раздвоила соленый огурчик, уложила все это на тарелочке и уж потом только, вздохнув (но без осуждения), налила понурому страдальцу чуть больше полстакана: «Поправляйся, Альберт Аглямович». Матрос опустился на перевернутый ящик и, очевидно, редко ободряемый деятельным добром, посмотрел на Серафиму Акимовну с несколько театральной меланхолией. Явно не надеясь на согласие, он товарищеским тоном предложил выпить и мне (Серафима Акимовна закрыла глаза и отвернула в сторону румяное свое лицо). От изумления я даже не ответил, но предложенный бутерброд взял, ибо отказываться было бы невежливо, тем более, что колбаса была легендарною: твердая, темно-коричневая, с беленькими пятнышками сала, она остро и приятно пахла не только сама собою, но и уважением к человеческой личности.

Возвращаясь к жизни, Альберт сильным, но неясным слогом обрисовал положение дел в мире, стране и на нашей Набережной улице. Не знаю отчего, но в убогом нашем магазинчике установилась атмосфера дружелюбной чуткости, и мы с Серафимой Акимовной сочувственно внимали разностороннему матросу, словно повинувшись тайным и мощным законам тихого человеческого братства.

Свое повествование Альберт вел с неторопливой значительностью и ничем: ни лицом, ни голосом – не выделил сообщение о том, что наш милиционер Расих застрелился вчера вечером «прямо в кабинет свой начальник». Ласковая поволока одобрительного внимания сменилась в Симочкиных глазах простодушно-горестным недоумением: «Зачем?» - и она спустила с колен кота, коего гладила с величайшим и медленным изяществом. «Зачем?» - повторила она и оглянулась на меня как на ближайшего соседа покойного. Я

только тарасился. «Зачем? - сказал Альберт. - Ыкто знает: начальник его ругал, он начальник ругал». И окрепшей рукою он быстро и вроде бы между прочим, протянул стакан для повторного наполнения - такие дела, мол, чего уж там... Серафима Акимовна почти прикрыла пушистые свои глаза - «все-все» - и мизинчик ее оттопырился с неким подобием строгости. По опыту своему и своих товарищей Альберт, в общем-то, знал, что больше она не нальет - характер у доброй женщины отличался необычайной твердостью. Очевидно, это редкое сочетание твердости и доброты позволяло ей, одинокой вдове, жить среди людей скромно, улыбчиво и чисто. Альберт вздохнул, попрощался с вежливой безысходностью и вслед за мною вышел на белый свет, который светился, казалось, не сереньким своим небом, а новостью молодой белизны снегов.

Свет снегов был мягок и успокоителен, но надо мною словно повисло темное облачко: Расих застрелился - умер - не живет. Я дернулся обратно в магазин и торопливо выпалил Серафиме Акимовне: «До свидания». Она расцвела: «До свидания, хлопчик, до свидания». Не осталось и следа от недавней ее горести - и весь мерно и улыбчиво дышащий облик ее тихо излучал простодушную готовность к новым радостям жизни, радостям тоже неминуемым. Выйдя на простор, я оглянулся налево - церковь наша стояла среди белой тихости, голубая, стройненькая и радостная себе самой. Недаром, наверное, проходя мимо нее, я вспомнил: «...как у нас голова бесшабашная, застрелился чужой человек».

Я мысленно перекрестился и пошел домой, успокаиваясь в предощущении, что смерть - дело житейское, неслучайное и вроде бы даже нужное. И припомнилось мне, что еще позавчера покойный (я помотал головой от непонятности) подарил мне конфискованный у «хулиганов» «драндулет» - изогнутую в нескольких плоскостях железную трубу, на коей можно было кататься с горы и, самое соблазнительное, цепляться за машины. Но Расих, совестливо глядячи мне в глаза, взял с меня «слово», что я буду кататься

«только с гора». «Машина будешь цепляться - отберу и прорубь утоплю», - сказал он, явно волнуясь вероятным трагизмом будущего возмездия. «Я дал слово», - ответил я не без высокомерия и оставил ногу, как тот цыпленок, коего так выразительно изобразила обидчивая Машенькина подружка. «Ярар», - сказал Расих с облегчением и, шмыгнув носом, вдохновенно посмотрел на солнце, большое, малиновое, закатное. Вероятно, последний раз в жизни.

И вспомнилось мне, как летними вечерами, сидючи на заваulinke, я рассказывал ему сказки Пушкина. Упрямо наклонив очень большую голову, он внимательно слушал, и в его громадных, навывкате, голубых глазах явно боролись два желания – желание постичь пушкинскую живость и горячее нетерпение поскорее высказать свое к ней отношение. Последнее часто брало вверх, и он прерывал рассказ разнообразнейшими восклицаниями, порою не совсем, как мне казалось, уместными. Но все же он слушал, и меня трогало, что в диковато неподвижной восхищенности его глаз суетилось что-то совсем ребяческое. От воспоминаний я почти потерял ориентацию и с минуту, пожалуй, стоял перед нашим удивительным, нашим добрым, нашим розовым домом, не вдруг его узнавая – немислимо грозная тайна смерти словно добавила к живой его красе черты молчаливо недоброго истуканства.

Перед «черным» входом стояло несколько соседей с криво надетыми шапками. Как запах почуял я тревогу и медленно подошел к ним. Девочка Ира объяснила мне, что недавно домой привезли тело Расиха, но жена его, разгневанная предательским самоубийством мужа, страшно кричала, неприлично ругалась и труп в комнату не взяла. Не понимая, я смотрел в почти веселые глаза «колдуньи»: «Ну, и где же он?» - «А в коридоре лежит, на полу, пойдём, посмотрим». В полутемном нашем коридоре покойный действительно лежал возле стены, прямо на полу: в белом полушубке с ремнями, очевидно, без шапки – голова его была прикрыта синенькой сумочкой-авоськой. Ноги в серых валенках с черными калошами лежали

пятками врозь и чуть касаясь носками – косолапенько. «Как Маша», - охолонулась душа быстрым и касательным ужасом. Кто-то что-то говорил тихим, но страшным голосом. Чуть скрипнула, открывшись и не прикрывшись, чья-то дверь, и в коридоре стало светлее. «Это Нагима», - шевельнулась душа неуместной и словно бы диковатой радостью. Это действительно была она – в фартучке, выше кистей ее руки были в муке, лобастенькая голова чуть покачивалась, а из воротника вишневой кофточки белела шейка – беззащитная, слабая и до странности нежная. Немыслимо прекрасное лицо ее казалось спокойным, но по едва заметному движению полудетских ее бровей и сомкнутых простодушных губ, можно было подумать, что она про себя, без голоса, поет эхоподобную башкирскую песню – песню просторную и печальную. Что-то тихонечко спросила, наклонившись к кому-то с горестной учтивостью, медленно уводя взор, выслушала ответ. Постояла молча и вдруг заметила меня. Мы встретились взглядами. Я удивился – глаза ее смотрели прямо на меня с непривычной строгостью, а голова медленно и отрицательно покачивалась с очень серьезным и очень глубоким выражением. Тайный смысл этого, явно не случайного и вроде что-то запрещающего взгляда долго оставался для меня загадкой.

Много лет спустя, с томною и несколько смущенной грацией, меня доверчиво бесстыдную позу на отдохновенную расслабленность, Нагима тоже, казалось мне, пела про себя что-то просторно тихое. «Что ты поешь, аксарлак?» - спросил я ее. Она открыла простецкие, еще не видящие свои глаза, но тут же прикрыла их локотком: «Песенку». Я вспомнил волнения того далекого зимнего дня и спросил, почему она, глядя мне в глаза, так значительно и серьезно отрицательно качала головою. Нагима удивленно обрадовалась: «А ты помнишь?» Отулыбавшись, она с простою и товарищеской сердечностью объяснила мне, что, заметив сходство «ярого» моего характера с нравом «пылкого» Расиха, она «попросила» меня не делать того, чего сделал он. «Запретила», - приподняла она брови и

провела в воздухе пальчиком с уже холеным ноготком. «Я боялась», - закончила она с туманной и ласковой усмешкой. Женщины редко бывают добрыми, но уж если бывают, то это не просто доброта, а фрагмент иной, праведной и почти святой жизни. Да, «аксарлак» - это ласточка.

Я постоял немного меж приличной печали людского равнодушия и, побоявшись топтать ногами, стряхнул снег с валенок рукавичкою и пошел домой обдумывать случай странный и горестный.

Бабушка открыла мне дверь с молчаливо взволнованной торжественностью. В сенях стояли серые валенки с черными калошами. Я понимал, конечно, что они не имеют ничего общего с лежащим в коридоре мертвецом, но все же смотрел на них с некоторой оторопью и легким оттенком полубезумного ощущения – «умер – ожил». Я вздохнул и стал медленно «рассупониваться». «Копуша какой, - сказала бабушка, - прямо тихожуй, и все думает он что-то, думает. Дедушка вон вернулся, а внучок все канителится». Дрогнув сердцем и заморгав от новости, я выглянул направо в сторону кухоньки. Там из-за развешенного белья было видно очень чистую руку с узеньким кусочком хлеба возле зеленой мисочки с картошкой, серые стеганые штаны и ноги в серых шерстяных носочках. Ступни имели не вольно хозяйский, а робко гостевой вид. Бабушка привела меня на кухню, отодвинула простыню и, положив мне на плечи могучие свои ладони, представила меня дедушке. На меня смотрели родные глаза. Освоившись, я заметил, что глаза были мамины, вроде бы преодолевающие природную свою застенчивость. Бабушка с видом то горделивым, то назидательным, изредка и легонечко касаясь меня рукою, поведала дедушке о «подвигах» моей души и «безобразиях» моего характера. Закончила она похвальным словом тому, что она назвала «негасимым светом дворянской породы».

Дедушка недвижно смотрел в окно. Татарское лицо его было бледным со странными шрамами на шее, на щеках и возле глаз.

Порою дедушка сильно кашлял и сплевывал мокроту в особую баночку. Опасаясь судорог ребяческой души, меня, конечно, не сразу посвятили в суть шрамов, надсадного кашля и почти всегда неподвижного дедушкиного взора. Но со временем я узнал, что туберкулез, от которого он вскоре и умер, дедушка получил в лагере. Мало того, когда он им уже заболел, один майор (якобы «государственной», а не «партийной» безопасности) плясал в сапогах на его больной груди, приговаривая: «Чтоб ты не харкал, дворянское падло, я те легкие отобью». «Отобью, отобью, отобью», - приплясывал и припевал он, восторгаясь гневом своим пролетарским, страстью своей партийною. А примерно за год до освобождения некий совершенно хмельной «врач» (коммунист, естественно) из лазарета, будучи в гневе на подозрительное развитие легочного процесса и молчаливую и всепонятливую усмешку пациента, избил дедушку куском колючей проволоки – бил по лицу, Не поднимая взора, дедушка рассказывал отцу (я затаился на печке) тихим и упавшим голосом: «Он в глаза мне старался попасть, кричал что-то про яичницу-глазунью». Глаза у дедушки были желтыми. Господи, как у Маши. Содрогнувшись, я помолился за желтенькие глаза и дедушки, и маленького моего товарища. Воображая в детстве эту «яичницу-глазунью» и эти «отобью, отобью, отобью...», я инстинктивно сгибался в три погибели, прикрывая локтем глаза, а ладошкой сонную артерию. Это – пожизненно: я и сейчас боюсь коммунистов.

И всю мою жизнь со мной недвижимый дедушкин взор – нет, это была даже не тоска и не только безнадежность, а покорно тлело в его глазах какое-то особое знание жизни и совершенное её непонимание. От дедушки очень хорошо пахло – телесной чистотою, солдатской махорочкой и свежестью довоенного образца гимнастерки. Впервые за десять лет он ел не казенную еду, да и не «ел», а вкушал пищу с какой-то удивительно уютной опрятностью. После обеда мы вышли во двор, дедушка – покурить, а я «за компанию» и повинуюсь неожиданному желанию понять что-то неясно сложное

касательно «драндулета» и принять «решение» насчет дальнейшей его «судьбы». В рассеянности посмотрел Федор Алексеевич в ту часть коридора, где лежал мертвец и, догадавшись о ненормальности ситуации, неторопливо подошел поближе.

Спрятав кисет, он снял шапку и, не меняя выражения лица, постоял над тем, что осталось от пылких человеческих страстей, таких нелепых раньше, а теперь таких беззащитно жалких. Потом мы пошли к реке, я сбегал в сарайчик, взял «драндулет» и тихонечко катил на нем рядом с дедушкой. По дороге я рассказал ему кое-что о Расихе и добровольной его смерти. «Не умел любить», - сказал дедушка словно бы между прочим, и спокойствие тона придало неотразимую убедительность негромким его словам. Мы остановились на том самом месте, где давным-давно стоял я, провожая глазами милого мне пленного немца.

Я задумался: множество неясных ощущений и образов возникали и менялись в моей душе наподобие речной ряби во дни изменчивые и ветреные. Внезапно я заметил, что, заморожено созерцая белый внешний и смутный внутренний мир, я настойчиво соразмеряю расстояние от нас до большой полыньи, в которую впадала темно-красная, пахнущая шиповником вода Сутолоки. Машинально учитывалась и крутизна горы. «Доедет», - решил кто-то внутри меня, но явно помимо моего сознания. Я отошел назад и, разбежавшись, что есть силы оттолкнул от себя «драндулет», и он полетел вниз по накатанному лыжниками склону. Перед самой полыньей он остановился в рыхлом снегу. Не без досады я сбегал вниз и, опасливо ступая, dokonчил начатое дело – утопил «драндулет». Когда я взобрался наверх, дедушка, не меняя выражения лица, спросил: «Зачем?» - «Не знаю», - отвечал я с явным смущением и тайной облегченностью души.

Не знаю я этого и сейчас – много раз в жизни я совершал поступки, глубочайшая внутренняя убежденность в правоте коих явно противоречила внешней их бессмысленности. Дедушка с явным, но

робким удовольствием рассматривал просторную нашу окраину. Большеглазая боязливость тихого его восхищения была так трогательна, что мне захотелось сказать дедушке что-нибудь ободряющее и нежное. «А я часто за Вас молился», - сказал я подумавши. По сей день помню, как прозвучали мои слова в тишине - белой и, казалось, куда-то уплывающей. Дедушка очень медленно удивился: «Ты веришь в Бога?». Я догадался, что с дедушкой хитрить не следует, и отвечал с простотою и легкостью, меня самого удивившими: «Да, конечно». Впервые я увидел дедушкино лицо изменившимся – оно стало несколько сконфуженным. Совсем простым. Хорошим. Дедушка положил мне на плечо легонькую свою руку. И стояли мы над родною, невидимою сейчас рекою – дед и внук, старый и малый, родные, но еще не близкие, как начало и конец простой русской притчи.

С необычайной, но тихой силой я чувствовал, что мы находимся с дедушкой в одном состоянии и созерцаем в нашей общей сейчас душе явление невидимого, но сущего.

Того, кто теплится в нас правдой, любовью и совестью.

Того, кто ведет нас по этой неяркой и простой земле.

## Часть вторая

### 1

Новая школа оказалась старой моей знакомою. Не однажды безотчетно любовался старинным зданием, случайно сохранившимся от дивного монастыря, некогда стоявшего над тихой нашей рекою. Как и всё, чудом от России уцелевшее, школа вызывала горячую и, по привычке, тайную мою симпатию. Радость моя: дивно сложенная из поразительно ровненьких и, казалось, очень дружных меж собою розовых кирпичиков – стройная, ладная и крепенькая – она стояла среди нашей окраины не потерянной сиротою, а скромным и твердым напоминанием о жизни достойной и праведной. Господи, а швы меж кирпичиков – светлые, чуть выпуклые, они были до того ровными, что однажды, проверяючи, я в тихом восхищении опустил линейку и голову – «надо же...» Это был урок – молчаливый урок Отечества. Рассеянно провел я рукою по прохладной и доброй стене, вероятно не догадываясь, что душа моя исподволь постигает вещи не очень заметные, но очень важные – важные, как впервые узнавающий родителей взгляд ребенка. Машинально я прижался щекою к отчим трудам, и почудилась мне разгадка воображаемой сиюминутности прошедшего – разгадка, простая, как одуванчик на безымянной и одинокой могилке.

Внутри школа была не менее выразительной – узкая и крутая лестница на второй этаж из литого ажурного железа походила на рисунок из учебника истории. Мне казалось, что именно по такой лестнице неспешно и гулко поднимались «железнобокие» солдаты Кромвеля или съезжали по перилам шустрые ребята Уота Тайлера. Стены тоже поражали воображение – они были такими массивными, что маленькие мальчики могли возлежать на подоконниках не только вдоль, но и поперек. И потолки были высокие... И это странное... На окнах первого этажа были решетки в виде пик и

крестов в кружочках. Впоследствии, из соображений идеологической безопасности, к крестам косенько припаяли кусочки толстой проволоки и в кружочках появились вроде бы елочки. Красиво. Додумалась до этого сама директорша – старая большевичка Екатерина Львовна Бабушкина – женщина грузная, скуластая, с невероятно крохотным носиком и мечтательно-строгим взором. Седая. Добрая. Громадное «архиважное» значение придавала она оформлению школы, которое, в сущности, заключалось в систематическом перевешивании портретов вождей. Процедура эта обставлялась весьма торжественно – даже из одного конца коридора в другой портреты переносились не просто так, а в обрамлении свежих полотенец с вышитыми на них отважными петушками. Зрелище было внушительное: впереди, среди облака винных паров, возвышенно взгрустнув, шел обычно завхоз со стремянкою; следом две пригожие учительницы, склонив красиво завитые головы, несуетно несли один портрет с двумя полотенцами; и замыкала сей ход сама Екатерина Львовна – большая, молчаливая и угрожающе-взволнованная. Очевидно, в целях назидания процессии эти были прилюдными, во время перемен, но потом их стали проводить во время уроков, ибо однажды вышел конфуз.

До улыбки маленькая первоклашка Галима, плохо знавшая русский язык, но почти непрерывно на нем щебетавшая, звонко выдала очередную «галиматью» во время очередного торжества: «Уа, щева ето, куда нисут?» Моя дворовая соседка «колдунья» Ира Почикайте звонко ответила черноглазой и простодушной крошке: «Сталина вешать». От страха я присел на корточки и закрыл глаза. Открыл: жизнь вроде бы остановилась, но не рухнул потолок и не пали мощные стены, зато в спотыкливую прострацию впали златоглавые несуны-педагоги и, как форменный сфинкс, тарацилась окаменевшая Бабушкина в необозримые просторы кощунства. Не дрогнул только один завхоз – как и до Иркиного выкрика, брови его были домиком, и печаль его по-прежнему была светла. Нездоровая

тишина постепенно рассасывалась, и все, в меру мастерства, творили вид, что никто и ничего не слышал. Было даже жутко. Хотя я очень любил товарища Сталина и обожал всяческое благолепие, все же на белобрысую худобу хулиганки я смотрел с невольным и опасливым уважением – храбрая. И дикая. Не успев еще ничего осмыслить, я по привычке (как оказалось, пожизненной) подумал: «А как бы Маша отнеслась ко всему этому?» И тотчас взгрустнулось: «А никак». Теперь никак: Маша не перешла в новую школу, а осталась в старой – ей было ближе туда ходить и «не через дорогу». Конечно же, я очень часто вспоминал Машу – мысленно с ней беседовал, делился новостями из жизни и книг, даже шутил, но воображение мое было так реально - я просто видел ее, – что мысль о встрече сначала не приходила мне в голову. Сначала... но потом я стал скучать о маленьком моем товарище. Сильно скучать.

Посомневавшись, я решил сходить к Маше в гости. Долгая разлука делала мой визит не совсем «приличным», и я, дабы не смущаться этим обстоятельством, неблизкий путь до Маши не столько прошел, сколь пробежал, изредка останавливаясь передохнуть и касательно восхититься тихостью оснеженной нашей окраины.

Было еще совсем светло на дворе, но в окнах у Мироновых горел свет. Перед крыльцом шаги мои замедлились – меня потянуло заглянуть в окно. Я задумался: подсматривать за чужой жизнью нехорошо, неблагородно, даже подло, но беззаботная сила тайной, всеразрешающей свободы неотвратимо толкала меня на дело бесовестное и постыдное. Вольготная и безобразная эта сила довлела, казалось, не только над танкистским моим шлемом, но и над сугробистым двориком с узенькой, как в ущелье, тропинкою, над толстенной белой крышей и неслышной смирнотою серенького, темнеющего по краям, дня. «Нельзя – а вот тебе можно», - шептали мне слуги дьявола с разнузданностью почти восторженной. Потоптавшись с опущенной головою, я машинально снял шлем и осто-

рожно глянул в желтенькое окно. И мгновенно забыл угрызения земной своей совести: я увидел не жизнь, а вроде бы ее изображение, которое казалось выразительней, загадочней и даже реальнее самой жизни. Расширяя глаза, я прозревал смысл сущего: простенькое сокровище сиюминутной неповторимости выглядело надмирным естеством вечности - бабушка дремлет, мама читает, Маша просто так сидит. Все было ясно, понятно, но все же загадочно, как тишина, река, рассвет. Мелькнуло диковатое ощущение: кто мне все это показывает? – но отморгнувшись от его странности, я стал смотреть на Машу, которая, кажется, изменилась. И прическа у нее другая, да и подросла она, наверное, но не это меня удивило – ее состояние показывало, что у Машеньки есть какая-то другая, не похожая на школьную, жизнь. В школе Маша была послушной, вежливой девочкой – обычно она кого-нибудь прилежно слушала, внимательно рассматривала какой-нибудь стенд или молчаливо и большеглазо дивилась, как бегают ребята, идут дожди, кружится снег. Сейчас в желтеньком окне я впервые увидел Машу внимающей не миру, а себе. Мне вспомнилось, как однажды она вздохнула, глядя в школьное окно – я вопросительно к ней повернулся: «Что?» Маша приподняла решительный свой подбородок и нерешительным голосом сказала: «Вон воробушек чихает – простыл». Я всмотрелся – действительно, воробей как-то странно потряхивал головою. «Жрет он»,- успокоил я маленького своего товарища. «Жрет», - шепотом повторила Маша, продолжая безмолвно волноваться наблюдениями, доступными только особо нежной и особо впечатлительной душе. Я посмотрел тогда на очень ровненькую ее фигурку, на кулачки, лежащие на бело-глянцевом подоконнике, на голубоватые (явно пересиненные) кружевные манжетики, на белый с тончайшей бордовой окаемкой бантик, на белую с красным крестом повязку санитарки и померещилось мне что-то внимательно щенячье в небольшом ее силуэтике; и медленно-медленно я начал впервые в жизни догадываться, что, кроме Лобика и бабушки, есть

на свете еще одна душа, похожая на мою. И эта родственная душа внимала сейчас не миру, а себе, и было неясно – видит она что-нибудь или полностью погружена в сладостное забытие душевного самосозерцания. И все же, несмотря на самоуглубленность, в круглом, правильном, как в букваре, ее личике, во всей узкоплечей, не осознающей себя фигурке, чувствовалась такая простодушная готовность ко всему на свете, что сердце мое стеснилось чувствами мне не известными – мне смутно чувствовалось что-то вроде всеприемлющей всепонятливости. Не веселые и не грустные чувства эти были, однако, очень сильными, и в самой глубине души нарождались как капли и срывались как слезы – слова непроизносимые, тайные и потрясающие: «Худенькая моя, маленькая, тихая...» И еще высветилось: «Воробушек». Растроганность часто переходила у меня в тревогу, вот и сейчас мне показалось, что у Маши сонный вид – болеет, что ли?

Глянул на бабушку – тоже вроде дремотная. Очень медленно соображая, я поднял глаза к печной выюшке – закрыта. Я аж дернулся от тревожного прозрения: «У-го-рели». Руками и ногами я так заколотил в дверь, что изнутри к ней не подошли, а подбежали. Вероятно, даже не поздоровавшись, я выпалил Софье Николаевне: «Вы не угорели?» «Нет, - отвечала она, разжмуриваясь, - а ты?» Я беззаботно махнул назад рукою: «А я ж с улицы» -и не без робости вступил в «светелку».

Маша, казалось, была смущена драматическим моим появлением и смотрела во множество разных мест, но не на меня. Все же природная вежливость пересилила застенчивость, и она, «как большая», протянула мне распрямившуюся свою горсточку. Много лет посчастливилось мне впоследствии видеть ее руки, кажется, должен привыкнуть к полудетской (даже у женщины) невероятной их прелести, но – не привык.

Сначала все мы сбивчиво обменялись краткими новостями, невольно придавая им важность незаслуженно одинаковую. Но по-

степенно разговор упорядочился. И меня попросили подробнее рассказать о дедушкином возвращении. Я сказал, что год назад бабушка вернулась из лагеря, но в Уфе ему жить не разрешили, и он жил в деревне Турбаслы – работал там, на рогожной фабричке. Бабушка осталась в городе хлопотать, чтобы Федору Алексеевичу разрешили лечиться в туберкулезном нашем диспансере. Нет, отвечали ей, объясняя, что разрешат, «когда для этого созреют условия», то есть когда больному станет совсем плохо. «Ну, а пока ноги таскает», - заканчивал начальник свои резоны. Но бабушка его уже не слушала – опустила глаза, прищурилась и ушла. На другой день она уехала к бабушке в Турбаслы.

Мой рассказ Елизавета Федоровна слушала, прищурившись с почти просветленной безысходностью, - её мужа тоже забрали в 37 году и, несмотря на все хлопоты, вестей о нем не было. Только через десять лет мы узнали, что муж, отец и бабушка – майор ВВС РККА Николай Степанович Одинцов был затоптан в лагере еще в мае 45 года. Маша рассказала мне (я никогда не забуду её глаз), что, узнав о судьбе своего деда, она не испытала никаких чувств – абсолютно никаких – только не стало у нее сил совершенно: сил говорить, держать ложку, не было сил стоять – все время лежала. Софья Николаевна не очень меня слушала, но я видел, как она хмурилась, примеряя «дочке» жилетик-безрукавочку. Она вязала его Маше, чтобы та носила под формой – легкие у нее были слабые. Маленький этот жилетик – пестренький, из разных остаточков, теплый, наверное, – и сейчас вспоминается мне порою, и я радуюсь ему, как теплому солнышку.

«А я летом тебя видела», - уже второй раз сказала Маша, склонив голову к плечу и, очевидно, придавая своим словам какое-то особенное значение. Господи, до чего же странно было видеть ее голову без челки – гладко причесанную, крутолобую, с косичкой. Впервые увидел я ее ушки – не маленькие. Маша выпрямила шейку: «Ты чего?» Я очнулся: «Где видела?» «А мы с мамой на Цыган-

скую поляну ездили, к тете Даше, и я видела, как ты со Степой возле лесопилки гору копали – червячков, да, для рыбалки?» «Нет, - отвечал я с хладнокровием, - это мы клад искали – золото». Все засмеялись так весело и громко, что кот Глаша и кошка Митрофан - две ошибки еще детсадовского Машиного невежества – дружно соскочили с печки и уселись возле умывальника – рядышком. Случай наш был очень простой, но слушательницы приняли вид (может, из вежливости), что очень удивились и даже заерзали поуютнее: «Рассказывай».

Действительно, мы со Степой Курпей (сыном Серафимы Акимовны) решили «отрыть» клад, разбогатеть и купить: Степа – велосипед, детскую железную дорогу, полушалок и подвесной мотор к лодке, я – попугая, белочку, банку икры, полушалок, книги Стивенса и фотографии Ивана Кожедуба и Николая Скоморохова – карточка Александра Покрышкина у меня уже была. Отринув все мирское, начали мы – как смеялся отец – труды египетские и недели через две, исказив даже рельеф местности, случайно откопали гроб, очевидно, отроческий. Очистив от земли, дивились – почти не гнилой. Упражняясь в далекой (казалось тогда) своей будущности, мы по очереди полежали в гробу, закрыв глаза, скрестив руки и приняв нежилой вид. Как сговорясь, крышкой не покрывались оба. Забоялись. Внезапно мне явилась светлая мысль – пустить гроб по реке, дабы он поплыл, изумляя общественность. Дня два мы его конопатили и смолили швы. «Поплывет», - сказал Степан со снисходительной уверенностью мастера. «Надо его поджечь, - догадался я, - а то его и не заметят – подумают, корыто какое». Степа раздумчиво кивнул: «Керосину надо». Достали (украли у матерей) немного керосину, мочальной кистью помазали гробик, затем подожгли и оттолкнули от плота. И всё получилось: гроб и запылал, и поплыл. Зрелище было нехилое. Но никто, в общем-то, не был потрясен, только когда гроб проплывал мимо «спасалки», один ихний матрос

(Юра вроде бы) подтянул его к себе багром, прикурил папироску и пустил далее. А вслед ему и не посмотрел. Задумался.

Пока я все это рассказывал, Маша тихо улыбалась, а Софья Николаевна смотрела как-то по-особенному – с улыбочивым, но, в общем-то, невеселым сочувствием. На ее внимание мне захотелось ответить чем-то хорошим; я сказал, повторяя слова своей мамы: «А вы, Софья Николаевна, очень красивая и еще молодая». И уже от себя добавил: «И я вам мужа подыскал». Елизавета Федоровна не удержалась и хрюкнула коротким смешком, а Софья Николаевна смутилась не без шутливой оторопи. Я сказал: «Есть один художник непьющий – два ордена Боевого Красного Знамени». Софья Николаевна опустила на стул и сказала тихо, серьезно и ласково: «Спасибо, добрая душа, но нам так хорошо, мы так втроем свыклись...» А Елизавета Федоровна добавила слова, которые часто повторяла моя бабушка: «Привычка свыше нам дана: замена счастью она».

Тишина и неподвижность – даже Маша перестала укладывать в туесок разноцветные моточки шерсти, и стало хорошо слышно, как стараются ходики. Мне показалось, что в комнате установилась атмосфера неловкости, молчаливой сердечности и какой-то тайной и очень отдаленной печали. Я засобирался домой.

«Сиди-сиди, - сказали старшие, - сейчас поужинаем». «Сиди», - подтвердила Маша и, прикрыв на мгновение желтенькие свои глаза, дала мне щелбан легонький и совершенно дружеский. «Ма-ри-я, - сказала Елизавета Федоровна не столь строго, сколь раздражительно, - ты же де-воч-ка». «Мария» потупилась. Маше так часто и так строго внушали «ты же девочка», что ей впоследствии не пришлось выслушивать «ты же девушка» - во всем этом она разобралась сама, причем так талантливо, что на нее – в общем-то, неяркую и неулыбчивую – часто оборачивались на улице. «Какая женственная особа, - не раз слышал я, - прямо пушкинская Маша Миронова». Заливаясь тайной и счастливой гордостью, я «равнодуш-

но» говорил: «А она и есть Маша Миронова». Это производило впечатление. Маша розовела и смущалась, а я мысленно очень гордился тем, что святое ее имя выводила по бумаге самая легкая рука России и очень любило самое нежное ее сердце. Ах, Александр Сергеевич – мы очень Вас любим!

Тон Елизаветы Федоровны неприятно кольнул меня – я был убежден, что к Маше нужно относиться с особой деликатностью, ибо она особенная – тихая, добрая и очень ко всему чуткая. Моя правота подвигла меня на дело отважное – подумавши, я решился высказать вслух свои убеждения в избранничестве маленького моего товарища. Маша совсем зарделась и отошла к своей этажерочке, а Софья Николаевна недвижно смотрела на меня, и мне показалось, что глаза у нее странные. Пока ели картошку, она молча о чем-то думала, а когда стали пить чай из смешного (ну как же – с наградами) самоварчика, Софья Николаевна вдруг спросила меня тоном учительницы: «А себя ты тоже считаешь особенным человеком?» От Елены Григорьевны я уже знал – даже в деталях – как следует вести подобные разговоры, и посему отвечал «да» с твердостью. «Но почему?» - чуть не воскликнула она с быстрым и простодушным удивлением. От смущения на меня накатило равнодушие тупости и, вместо ответа, я только кивал головою утвердительно, упрямо и медленно. Тут Маша, с горячностью для нее редкостною, неожиданно встряла в разговор: «Да-да, - качнулась она вперед на своей табуреточке, - он и деревья живыми считает, и мяч целует, и собак называет братьями». Софья Николаевна принагнула к плечу голову и смотрела на нас, слабо прищурившись, как на слабую вероятность мудрых прозрений матери. Вздохнула. Не весело, и не печально – посмотрим, мол.

Помявшись, я встал: «Мне пора». Выяснилось: Софья Николаевна и Маша идут навестить очень больную родственницу и большую часть дороги им со мною по пути.

Выйдя во двор, Софья Николаевна с явным удовольствием взяла нас обоих за руки; и Машиной и моею рукой она помахивала совершенно одинаково, одинаково же и одергивала нас при случае, и мне показалось, что ей радостно поиграть воображением в ситуацию, при которой у нее не одна «доча», а «девочка и мальчик». Была она в тот вечер очень веселою и несколько раз, со смехом, называла меня «сватушкой». Маша шла простенько; по своему обыкновению не зная, что она обо всем этом думает, я не поддерживал шуточек ее мамы – и «положение обязывало», и еще потому, что, заметная только детской проницательности, чуть просвечивала в ее возбуждении тайная, стыдная жалоба женского одиночества. Мне стало очень жалко Софью Николаевну, вспомнилась и одинокая Серафима Акимовна со своим «Степушкой» и другие, одинокие из-за войны, женщины. И тяжело подумалось мне, что если когда-нибудь я еще увижу живого германца, то скажу ему, сотрясаясь от «праведной» злобы что-то такое... и даже матерное! Я так разволновался от своих предположений, что, когда мы прощались возле сутолочного моста, Маша прошептала уже обычное между нами: «Ты чего?»

Так получилось, что ответил я ей почти через двадцать лет. В начале моего рассказа Маша укладывала в салат маслины, потом призадумалась и, когда я замолк, вздохнула: «Последнее слово мог бы и опустить». Я так хорошо знал Машу, что не сомневался в том, что она сейчас скажет или подумает, заканчивая свою поэму салата. Она подумала: «Да, мама так и не вышла замуж – в школе с утра до вечера. По дому хлопотала... Заботы со мной...» Вздохнула и вслух: «... Как быстро проходит жизнь...» И вдруг, с совершенно иным лицом, сказала, словно припоминая: «А какие славные мы тогда были – маленькие такие, а все понимали...» И отвернулась, очевидно, от слез. Нет, не от слез. Повесив полотенце, подошла к окну, как на клавиши, положила руки на бело-глянцевый подоконник и, медленно помаргивая, стала смотреть вниз, на верхушки де-

ревьев, которые, очевидно, к дождю, волновались под окошком. Только запах салата, казалось, звучал в тишине. Маша стояла, думала, а тюлевая занавеска вздохнула вместо нее возле вопрошающего ее плечика. Я подошел, и мы постояли вместе. Как обычно, Маша успокоилась под моей рукою, и осветилось неулыбчивым беспечалием ее небесной простоты лицо.

## 2

Мы сели за «дастархан», стоивший Маше почти трехдневных хлопот. Ну, я тоже что-то там... помогал. Кубик в ожидании щедрот застыл у стола, как изваяние почти всех, и не только собачьих, достоинств. Когда Маша убрала газеты «Советский спорт», прикрывавшие торжество ее искусства, я среди фразы прервал свой рассказ о подвигах Паркуяна на футбольных полях Англии, будучи повергнут в изумление видом нерукотворной гастрономии. Я восхищенно молчал, но Маша цвела, видя немоту моего умоисступления, и с наигранным равнодушием накладывала мне в тарелочку салат, впоследствии ставший легендой. Очнувшись, вспомнил я и о своих обязанностях: «Что будешь пить, душечка?» - «А ты?» - «Я – пшеничную». Покачав головой, Маша подумала и указала пальцем на коричнево-золотую бутылку армянского коньяка: «Вот – ни разу в жизни не пробовала».

Рыженьким и беленьким я наполнил стаканчики, а Маша, погрозив пальчиком портрету товарища Сталина, потянулась чокаться – ее глаза светились изнеможением какой-то совестливой праздничности. Выпили.

Отдышавшись, проморгавшись и помахав ладошкой, Маша задала мне давно ожидаемый мною вопрос – вопрос, который повергал меня в стыд, тоску и смятение. «Как дела с твоей картиной?» - спросила она с несвойственной ей и совсем неуместной светскостью.

Даже очень близкому человеку мудрено объяснить дело для тебя важное, многолетнее и еще не законченное. «Плохо, Маш, совсем плохо», – отвечал я доступную ей часть правды. Маша качнулась вперед с волнением: «Ластик, не паникуй – это мнительность, это усталость – это пройдет».

Плечами шевельнула: «Я видела эскиз – очень хороший, а фрагмент с детской головкой вообще чудесен, и все это бросить – малодушие». В подтверждение своих слов Маша скинула шлепанцы-«востроносики» и положила под столом свои пяточки мне на колени.

Помолчали. Было о чем: уже три года корпел я над простенькой, в общем-то, композицией – ребенок в концлагере. Именно ребенок – остриженный наголо – он выглядел не девочкой и не мальчиком, а просто существом – щенком человеческим. Вбежав в этот мир, он присел от непонятности, и сидел в полосатом своем рубище, и по щенячьи чему-то там радуясь и удивляясь, трогал ручкою пыль на земле.

Я решился говорить всерьез и начистоту: «Знаешь, Маш, уже давно задался я вопросом: отчего я делаю ее, как бурлак – угрюмо, упорно, без радости? Ну... постепенно я стал замечать, что, работая над ней, я думаю о добре и зле, о жалости и сострадании, о человечности, а вовсе не о живописи. Странно, да? А ведь живопись – это живопись – она вне сфер добра и зла – она выразительна или нет... Моя – нет».

Ни я, ни Маша, конечно же, не знали, что еще долгих четырнадцать лет я буду бросать эту композицию и возвращаться к ней, безуспешно пытаюсь изобразить жалость, сострадание и любовь ко всему существу. Упрямство, невежество и доводы лукавой «мудрости» водили моей рукою, неизбежно превращая свободу творчества в акт насилия над своей натурой.

Как некогда Софья Николаевна, Маша недвижно смотрела на меня исподлобья, и мне показалось, что глаза у нее – странные. Она

горько усмехнулась: «Ты полагаешь, что я дура и ничего не понимаю? Понимаю. Все эти «мысли» о самооценности живописи тебе исподволь внушают твои не талантливые, твои бессердечные дружки». В этом месте я, на манер Плюшкина, «произвел небольшое молчание». На которое Маша отвечала тоже молчанием. Догадавшись, как тягостен мне этот разговор, она перешла на другую тему – рассказала о недавней своей встрече с моей бабушкой. Маша относилась к ней с нежностью и почтением – ее очень трогали бабушкина верность своему классу, своей натуре и детское ее простодушие. Но с тревожным удивлением Маша рассказала мне, что бабушка не только здороваается с телевизором, но, полагая, что ее тоже видят, появляется перед ним тщательно одетая, завитая, стараясь придать своему лицу выражение внимательного «начальстволюбия». На вежливые Машины недоумения бабушка отвечала тихонечко и отстраняясь от «ящика»: «Ах, Машенька... ах, дружочек – гепеушники такие каналы, такие пройдохы...» На технические Машины резоны бабушка отвечала с грустью: «Ах, Мария Михайловна, какой вы еще ребенок – это же че-ка». Маша посерьезнела и замедлила речь: «Она же своими глазами видела ростовскую резню...- и вдруг немислимо плавная ее ручка уличила портрет генералиссимуса. – Когда ты снимешь этого упыря?» Я взял ее на руки и сказал: «Это Ленин – упырь, а Сталин – монарх – есть разница».

Машин взгляд становился все рассеянное, и посему мы ушли в спальню. Через час мы из нее вышли. За это время произошли большие перемены – жалкий уточкин трупик превратился в духовке в румяную радость жизни, а лазурь веронезовских небес затянула темно-серая, в седоватых космах, туча. «Гроза будет», - обернулась ко мне Маша, невольно повторяя мимолетность, бывшую меж нами еще в ребячестве. Все: «гроза будет», расширенный взгляд и пониженный голосок – повторилось с такой удивительной точностью, что у меня сжалось сердце – ко мне обернулось детство. Наше детство – Машенькино и мое. Нежной своей рукою Маша кос-

нулась моей щеки: «Ты чего?» Я поднял опущенную было голову: «Гроза – замечательно, значит, каждый наш тост будет ознаменован громом и молнией». Ее полувздых, полужест, полувзгляд, как всегда, были необыкновенно значительны, и, хотя она с опасливым сомнением оглядывала предгрозые, я понял, что Машина душа – улыбается.

Проницая нас встревожено-преданным взором, вертя хвостом и постанывая от запаха уточки, Кубик оглядывался на стол, торопя нас заняться делом. Мы занялись – я налил по «второй». «То-о-ост», - сказала Маша с ласковой настойчивостью. Я поднял стаканчик: «За всех, кто дышит». Маша подмигнула Кубику: «И за тебя, янычар, пьем». Улыбнулись. Чокнулись. «Приняли». И тут грянул гром. Я показал на него ладонью, а Маша согнулась от веселья и стала тормозить Кубика. Грохотала гроза, хлестал дождь, лобастенькая, долгогривая Машина голова то склонялась над синей, как гроза, тарелочкой, то оборачивалась к окну, то обращалась ко мне с молчаливой и безулыбчивой сердечностью. Уже пресыщенный, Кубик бродил под столом, выглядывая оттуда порою с совершенно уморительной рожицей.

Неожиданно я задал Маше вопрос величайшей интимности: «Маш, ты в Бога веришь?» Спросил не без робости. Чуть покраснев, Маша застегнула все пуговички на бежевой своей рубашке, ссутулилась и, глядячи в пол, сказала с тихой своей простотою: «Я не могу ответить одним словом – можно я немного расскажу – ладно?» Подперев рукою голову, я улыбнулся ей как ребёнку – очень уж этим «ладно» напомнила она маленькую, стриженую под горшок Машу. «Как-то в детстве, на какой-то праздник, бабушка взяла меня с собою в церковь. В толпе было душно, сверху нависала позолота, резьба, множество утомительных подробностей, и тёмные лики на иконах казались мне страшными, я как-то рассеивалась вниманием (уж очень много всего) и потерянно спросила у бабушки, почему в церкви нет ходиков?» Маша показала ручкою: «А ты

ешь... ешь» ... И продолжала: «Потом, повзрослевшей, не раз думала, что если бы в храме было попроще – чистые-чистые стены, одна икона, одна лампада, одна свеча и где-нибудь сбоку – ходики, то мне, маленькой, проще было бы понять ясность и простоту Бога. А позже от тебя услышала случайную фразу – «У Бога крыши нет» - и призадумалась. А ещё позже, когда мы с тобой на лодке катались, ты показал на далёкий город, вечернее небо, облака, реку. И сказал: «Вот, это и есть Бог». Маша оживилась: «Конечно, я не всё поняла, но тотчас же согласилась – я и раньше, совсем маленькой, это чувствовала...»

Я круто смутился сердцем. Но внезапно вспомнил, как вчера вечером, наводя порядок в мастерской, вытащил на помойку множество эскизов, на коих в разных ракурсах был изображен ребенок – в полосатом своем рубище, он удивлялся, радуясь миру, и, как слепой, ощупывал ручкою пыль на земле. «Промок он там совсем, - поежился я от быстрой, как порез, жалости, - а ведь, сколько мы вместе с ним пережили... сколько разочарований, сколько надежд, все-таки – надежд».

А дождь лил и лил, меняя ненадоедливые свои ритмы. С неторопливой и уютной последовательностью, Маша перешла к рассказу о молчаливом своем противостоянии некоторым коллегам. Слушать ее было просто восхитительно, но я скрывал (зачем?) головокружительную свою радость и внимал ей с обычной учтивостью. «Какие это педагоги, какие учителя? - удивлялась она тихо и мелодически, - это даже не ортодоксы – просто толстые тетki с базарными сумками». Она легоньким жестом сказочной своей ручки прогнала от себя все пошлое и грубое.

Собираясь сервировать чайное убранство, Маша стала убирать со стола, пригласительно шевельнув бровью – «Помогай». «Мон анж, - сказал я на манер Емельки Пугачева, - чай не наше казацкое питье...» Меж дел Маша подняла мизинец – «Хватит-хватит...» Дождь прошел, появилась дымка; Маша, изредка приговаривая,

волшебничала над посудой... Кубик уснул... Я не то чтобы захмелел, но вдруг почувствовал такой несказанный мир и такой совершенный покой, и такой ворожкой всепонятливости осветилась душа, что сознание мое медленно поплыло в детство – туда, где все было впервые и, казалось, навсегда. Навсегда...

Но нет: все менялось, и я терялся, не успевая привыкнуть душою к новым вариантам друзей испытанных – к новым собачкам, соседям, заборчикам; к новым школьным «предметам», новым книгам и новым островочкам явно меняющейся родной моей реки. Господи, менялось даже небо – явно приближаясь к сырой земле и заметно возносясь ввысь в дни солнечные и просторные, оно все же теряло головокружительную свою пронзительность и становилось просто небом, а не тем средоточием тайны, в которой живет Господь. И люди менялись – старела бабушка, увядали мама и крестная, грустнел отец и начала взрослеть Маша. Вероятно, в пятом или шестом классе она, не утратив ни тихости своей, ни кротости, принялась воспитывать меня испуганным шепотком: «Уроки учи – не кури – не дружи со Степкой – не гоняй мяч...» «Молчанка» и шуточки были моим оружием в противостоянии педагогическим ее усилиям, венцом коих стало надругательство над моим футбольным мячом – она его попросту проколола. Согласно традиции, я должен был с видом суровой политичности обозреть горизонты, а затем утомленно взглянуть на преступницу. Я так и сделал: на меня с надеждой смотрели глаза, желающие, чтобы их поняли. Не вынеся злорадства «правоты», я решил хитренько (и неуместно) ухмыльнуться с видом почти заговорщицким. Секундное замешательство непонимания сменилось в ее глазах несмелой попыткой объяснения: «Я не хотела... Но так нужно... с этим футболом... на осень...по арифметике...» Что-то она еще говорила про «мою же пользу», но я уже не слушал – сморщившись, я пытался рассмотреть Машу, ибо образ ее мерк из-за влаги нелепой моей растроганности и, главное, из-за ослепительности кружевного воротничка,

манжет, гамаш, повязки с красным крестиком, и совсем уж чудовищной белизны, аж двух бантиков. И черный ее передничек мерцал, как уголь-антрацит. И галстук еще пылал. Шелковый. Я посмотрел на жалкую, уже осевшую покрышку мяча и сказал попросту: «Дура ты». «Пусь», - сказала она легонечко, и на круглом приличии правильного, как в букваре, ее личика не было ни задора борьбы, ни фальши этой пионерской, а была только покорность долгу – железная покорность Лютера: «На том стою и не могу иначе». И только тогда я стал впервые догадываться, что кроткая и чуткая Маша характер имела вполне русский – несокрушимый, как у боярыни Морозовой. Недаром она, еще первоклассницей, превратила в веник букет цветов, обтрепав его об собачку, посягнувшую вроде бы на ее безопасность и независимость.

Чуть ли не два дня мы друг от друга отворачивались, но подруга ее, Агарь, сделала как-то так, что мы помирились, даже не поняв, как все это произошло. Степан, комментируя событие, сказал, прищурясь на переливчатую радужность плывущего пятна мазута: «Любит она тебя, но баба с характером». «Аха, - поплевал я на пронзенного крючком червяка, - с норовом».

За мяч было особенно обидно. Я на него заработал тяжёлым трудом – тяжёлым не столько физически, сколько морально, переправляя на лодке молодых людей обоего пола, кои платили мне рубль за рейс. Я не интересовался, чем они там занимаются, но матрос Юра, который читал на «спасалке» множество книг, объяснил мне, что в сущности я являюсь «кормчим староуфимских проституток» и «объективно» способствую растлению нравов. По простоте души, я рассказал об этом Маше. Она возмутилась и отвернулась, покраснела: «Ну зачем тебе этот кожаный мяч – играй резиновым – он в десять раз дешевле. И прошу тебя – не сажай ты в лодку нехороших женщин, ну вози парней». Я задумался: «Нехорошие женщины» мне нравились – они были весёлыми, лёгкими – шутили, смеялись, восхищались моим загаром и называли меня

«хозяин». Но Маше я этого не сказал, а объяснил, что кожаный мяч летает не так быстро, как резиновый – «я тебе покажу». Она передрнула плечиками – «ты всё равно не будешь футболистом, будешь художником – рисуй».

Мы уселись на плоту в совершенно одинаковых позах и оцепенели со своими удочками над чуть колыхливым зеркалом реки. Немного погодя Степа спросил шепотом: «Чем она его?» - «Ножницами – на рукоделье притащила и... через шнуровку». «Рукоделье», - невесело усмехнулся друг, но тут послышались бодрые такты моторки, и мы обернулись в сторону бледно-сиреневого далека, из которого двигалась к нам белая-белая лодочка. Я улыбнулся – «Юра». Он вскоре приблизился к нам по фарватеру и, выключив на минуту мотор, сказал, нагнувшись к воде, что на обратном пути заведет мне книгу, которую брал у Елены Григорьевны. Я поднял вверх руку с двумя опущенными вниз пальцами, что означало: «Буду здесь еще два часа». «Лады», - сказал Юра, и волнушка его легонько качнула плот. Задумавшись, Степа протянул мне окурок, но я зашипел совсем уж как змей: «Ты че – вон Нагима Асхатовна смотрит».

Действительно, красавица стояла на берегу с двумя бельевыми тазиками и хмурилась на сияющую речку. Мы догадались: Нагиму смущали пятна мазута, плившие от ремзавода по нашей стороне реки. Я сел в голубую свою плоскодоночку и подгрреб к ней: «Садитесь, я отвезу вас на остров». Она стояла со склоненной набок головушкой. «Айбят (хорошо), рахмат (спасибо)», - сказала она и попросту, без обычных ахов и охов, устроилась на корме с молчаливо-приветливой своей скромностью. Красавица спокойно о чем-то думала, но на человека не походила вовсе, а была так же равнодушна и сияюща, как сам белый свет. Из-за отражений блескучей воды глаза ее не казались темными. Я вспомнил, как моя бабушка восхищалась Нагимой Асхатовной: «А ведь простая деревенская

девушка... и какая тишина и простота, какое чувство меры, какая грация души – талант, талант, талант».

Вскоре я вернулся на плот и, не вникая в неописуемо дипломатичный Степкин вид, продолжил разговор о книгах. Степа очень похвалил «Остров сокровищ» и спросил: «Как же вы с ней читать теперь будете?» Я улыбнулся с уверенностью, вроде бы не своею: «Будем». Дело было в том, что мы с Машей уже давно (и одновременно) читали «Войну и мир». И я очень гордился тем, что сам придумал превращать обычное чтение в процесс, укрепляющий взаимопонимание и дружбу. Когда мы возвращались из школы, Маша тихонько говорила мне: «Сегодня в восемь вечера читаем со страницы 182 до без пятнадцати девять – аха?» В назначенное время я брал темно-синий, с красными буквами (точно такой же, как у Маши) томик великой книги, забирался на печку и при свете свечи читал о живой жизни мертвого уже Отечества. Я читал, и сознание того, что сию же минуту эти же самые строки читают ее глаза, наполняло меня тихой радостью, и нежно корчилась душа от свежей, непривычной, почти физической истомы сопереживания. Окончив первочтение взволновавшей нас книги, мы договорились написать на листочках имена самого «хорошего» героя, самой «хорошей» героини, сравнить их и объяснить друг другу мотивы нашего выбора. Не без волнения достали мы листочки из серенькой муфты Елизаветы Федоровны и прочитали их не без удивления. Объяснений не потребовалось: герои были одинаковыми – «Петр Кириллович Безухов» и «Мария Николаевна Болконская». Маша разволновалась – покраснела и головой покачивала, словно к чему-то прислушиваясь. Потом, попив воды из белого ковшика, спросила: «А кто еще тебе понравился?» Совершенно неожиданно навернулись слезы растроганности: «Капитан Тушин». Она кивнула и, не глядя на меня, с хорошим и легким лицом, передала мне беленький ковшик с удивительно чистой водою. Потом, накинув мамину шаленку и взяв с плиты ведро с едой для «поросюшки», она пошла проводить меня

до калитки. Очевидно не догадываясь о неминуемой и горестной своей участи, поросенок сновал по своему загончику совершенно оптимистически и смежал беленькие свои реснички с видом лукавого самодовольства. «Отпусти ты его, - сказал я, коснувшись своим плечом Машиного плечика, - пусть в леса бежит и станет там диким кабаном – вепрем». Маша ничего не отвечала и вздохнула совершенно по-старушечьи.

Реагируя на уже демонстративные Машины вздохи, я стал медленно выплывать из детства – оттуда, где все было впервые и, казалось, навсегда... А потом мы пили чай, разговаривали, помалкивали, бессознательно участвуя в смирной ворожке тихого единодушия. А через меня, тоже тихо и тоже бессознательно, текла и текла река – она и сейчас течет – ненаглядная моя Белая.

Уютные разговоры не мешали вспоминать мне, как виртуозно, на последних тактах выключенного мотора, к нам подъехал тогда Юра и, держась одной рукой за плот, передал мне вечную книгу. Спросил: «Ты читал Библию?» - «Нет, - отвечал я, - мне Елена Григорьевна рассказывала». Юра вздохнул: «Я там одно место не понял, ты у нее спроси... Почему Каин убил Авеля... брат же?» На загорелом, светлобровом Юрином лице искажился состраданием горячий интерес к причинам и подробностям самой древней нашей драмы...

«Почему земледелец Каин убил пастуха Авеля?» Я спросил об этом у Маши, которая, умаявшись за день, прилегла на диване, закутавшись в черно-красный плед. Она посмотрела на меня, подумала и отвечала с медленным тихим распевом: «Я не знаю, я не поняла». Нежно так отвечала. И виновато. Поговорили о Библии, и я сказал, что тоже не все в ней понимаю, хотя некоторые места в ней сильно меня волнуют, обогащая мыслями, чувствами и картинами, ранее мне неведомыми. Маша оживилась: «Ластик, расскажи что-нибудь из Библии, ну, пожалуйста.

Видимо, и сочинять-то я начал только потому, что больше всего на свете любил смотреть, как Маша слушает, и посему начал не без поэтического воодушевления:

«Представляешь, Маш, ночь... громадная, неожиданно-жданная ночь – ночь на полмира. Совершенная тьма с тусклой желтизной на горизонте. Постоялый двор, и древняя дорога кончается у древнего его порога, дальше дороги нет. Ветер и тревога. Тьма и старый дом со множеством пристроек и разновысокими крышами. И слабо и медленно осветится в нем только одно оконце. А за ним, в пустой горнице, на топорной скамье, несравнимо маленькая с грандиозностью будущего события, сидит молодая, круглолицая (как ты) девушка в просторном грубого холста платье. И смотрит она на свечку, и в руке у нее хлеб, но она не ест, она задумалась – и не шелохнется милая – и не знает, что сейчас она поможет человечеству и сокрушит старый мир. Словно огрызаясь, этот мир страшно взревет ветром, и встрепенется огонек свечи неистребимостью девичьей надежды, и осветится не улыбочивым беспечалием ее небесной простоты лицо. И совсем уже скоро, на ее удивленный вскрик, явится важный хозяин и деловито ее выгонит: «Рожай в хлеву». И она послушно пойдет – девочка кроткая – по переходам, по коридорам, в кромешной тьме, боязливо вытянув перед животом ослабевшие свои руки. Детские совсем руки. И будет чудовищно реветь ветер, и сама распахнет сарайная дверь, и пошатнется Мария, и будут сочувственно вздыхать добрые коровы. И она закроет и вздохнет и откроет глаза и с завораживающе-естественной неловкостью опустится на спину, на солому, на несчастную нашу землю. И в эту, смешанную с навозом землю, она будет вжимать маленькие свои ладони, будет безмолвно и кругло открывать простодушный, с паутинкой слюны, рот, будет из последних сил задерживать дыхание, разрываясь в мучительно прекрасных судорогах, и вдруг закричит, так закричит, что в небе вспыхнет звезда – она и сейчас нам светит – вечная звезда Вифлеема. И станет совершенно тихо.

Тихо-тихо. И станет их двое. И будет смотреть она в еще серые глаза Сына, радоваться будет птаха и уже будет знать, что она защитила всех. Навсегда. И нас с тобою тоже. Господи, как просто все произошло: хлев, ночь, беспомощная девушка и, как щеночек, копошащийся в соломе, наш Спаситель. Он будет расти, идя по земле, всматриваясь в глаза и сердца человеческие. Он будет работать плотником в Назарете, и окрестные рыбаки будут с удивлением слушать негромкое и справедливое Его слово. И Он – сын Божий – будет говорить им (и нам) речи простые и ясные, как неомраченный взрослым сознанием свет ребяческой души. И ничто не минует Его: ни предательство, ни верность, ни искушение; ни женский взгляд Марии, ни товарищеская доверительность Марфы, ни летящие в Него камни, когда руки сами тянутся вверх, чтобы прикрыть голову и лицо; Он даст нам нравственность; Он тихо протянет нам тоненькую, но никогда не сгорающую свечечку ненасилия; Он скажет нам самое на этой земле главное: Бог – это любовь. И за это Его прибьют гвоздями к занозам креста, и Он долго будет смотреть в нежный горизонт, и мы станем людьми, если поймем, что Он тогда думал. И ветерок поможет Ему терпеть, и будут провалы сознания, и несказанность младенческих (и до младенческих) воспоминаний, и боль – ох, какая же будет боль. Он посмотрит вниз, увидит беснующихся, плюющих в Него людей, и недоумение святой любви тихо уплывет с крестного, человеческого Его лица, оставив на Нем только надмирный и спокойный свет Божественной истины. Дождь закрапает, и вдруг, поудобнее устраиваясь в ранах, Он вспомнит, как один из распинавших Его – бывший ребенок, а ныне солдат – долго и тщательно принаравливался к Его ладони – старался, добрая душа, чтобы гвоздь прошел между косточек. И страшная радость зальет Его душу – на мгновение он крепко зажмурится, крутанет головой, закинет к небу свое окровавленное лицо, и крест дрогнет от последнего содрогания естества. И птицы вспорхнут над миром. И умрет Он. И мы виноваты. До днесь. И мрак познания, и

свет ребяческой души ведут между нас борьбу за первенство. А вот когда маленький мальчик найдет ягоду и, падая и вставая, через много-много грядок понесет ее, Маш, к тебе – и принесет, и протянет ее, и глянет на тебя, то на тебя глянет Иисус, детскими прекрасными глазами».

Маша лежала большеглазая и тихая-тихая; она теребила возле горла черно-красную бахрому пледа и на полудетском ее мизинце, как далекая, туманная звездочка, мерцало полудетское, простенькое колечко. В ночи.

### 3

Меня так долго и торжественно «собирали» на деревню к дедушке, что я почувствовал себя персоной почти значительной. Крестная дала мне рукописную молитву «Живые помощи», а мама, под отцовы шуточки, оделила меня множеством наставлений и колоссальной суммой денег. Из книги «Робинзон Крузо» я уже знал, как опасно хранить нечто важное (порох, например) в одном месте и распределил сумму по четырем карманам – в каждом по рублю. «Серебром». Когда поезд тронулся, мама долго еще шла рядом с вагонным окошком и покачивала головой, вроде бы ужасаясь. Улыбаясь только глазами, отец легонечко приподнял руку, словно провожал меня не в дальнюю дорогу, а просто в школу. Мы подмигнули друг другу, и поезд стал набирать ходу.

Будучи всю жизнь пешеходом, я несколько растерялся от стремительных перемен дорожных видов. Привыкнув к естественной неспешности, я не вдруг сообразил, что неисчислимое количество быстро мелькающих и, казалось, совершенно одинаковых деревьев – это и есть лес, который мнился мне издавека «существом» цельным, недвижимым и загадочным в голубеющей своей тихости. Невольно вспоминался мне мой родной тополь. Его одиночество не казалось теперь сиротским, а напротив: выглядело это одиночество

благородным избранничеством и неповторимостью души родной и единственной. «Это как Маша», - мелькнула во мне догадка, словно бы чужая, но все же я смутился и стал особенно прилежно смотреть в окно. Даже оглянулся.

А деревья неслись и неслись назад, и было их так много, что мне взгрустнулось: «Кто же «встречает» весной и «проводит» осенью каждое это дерево?» У меня даже расширились глаза: «А в глубине леса, может быть, стоит дерево, которого никто и никогда не видел... Как же оно?» Тогда, восьмилетнему, мне было просто невозможно понять мудрость и красоту самоотречения – а ведь какая стоическая, какая удивительная романтика – быть одиноким, никем и никогда не виданным деревом, в огромном, как жизнь, лесу. И только русские иноки и русские солдаты, неся в сердце своем Божью кротость безыменья, лучше всех служили Богу, царю и Отечеству. Их некому помянуть, их имена знает один Господь. Но в детстве я этого не знал и полагал, что каждое живое существо на свете не минует хоть чей-то внимательный и любящий человеческий взгляд. А зачем человеческий, когда есть Божий?

Очевидно, взбираясь на гору, поезд пошел медленнее, показалось деревушка – над соломенными ее крышами плавно, как спина зверя, темнела гора с видом почти сказочным. Проплыло несколько деревьев, и у меня невольно приподнялась ладонь – привет и прощание – на спокойное их одиночество. И вдруг, совершенно неожиданно, открылся простор – простор во весь мир - такой высоко-небесный, такой ясный, такой неоглядный простор, что у сознания остались только глаза, легкое головокружение и, казалось, крылья. Неожиданно даже для себя я мысленно шепнул: «Маш, смотри». Ее домашние, желтенькие глаза распахнулись на бескрайность Божьего мира и обрадовались ему, как «пятерке» в дневнике, новым сандаликам или солнечному сиянию только что вымытой тарелки. Желая все лучше рассмотреть, я встал, вытянув шею, и Маша исчезла из моего воображения до следующего удивительного случая.

Поезд шел по городу, простор уменьшился, и я обратил внимание на своих попутчиков. Их было четверо – трое пареньков лет по семнадцати и неприветливая старушка с массой узелков и эмалированным ведром с аленьким на нем цветочком. Старушка была скучною, она не смотрела ни в окно, ни на соседей, вообще никуда не смотрела, а была полностью погружена в брезгливое недовольство, для нее, очевидно, обычное. Пареньки ее не уважали: шепотом матерились и, обсуждая половые вопросы, поясняли их друг дружке позами самыми непристойными. Обходя взглядом молодежный миманс, старушка вздыхала и заботливо перекладывала узелки, словно охраняя их от тлетворного влияния юности. Потом пареньки веселились, пьянствовали, играли в карты и на первой же «большой» станции выскочили из вагона пополнять оскудевшие запасы выпивки. Чуть позже, мимо столов недалекого базарчика, пареньков протащили куда-то коренастые милиционеры – юные гуляки топорщились и простирали руки в сторону поезда, как персонажи какой-то старинной и правильно нарисованной картины. Когда поезд тронулся, я вспомнил ее название – «Прощание Гектора с Андромахой». Старушка беспечально кивала в окно: «Вот и сидите там – олухи царя небесного». Больше мы не видели удалых комсомольцев, но вскоре к нам пришел проводник с рукописной бумагой под названием «Прата Кол». Он, очевидно, сам ее составил, дабы сундучки пареньков «пропали по назначению». Проводник что-то долго нам толковал не совсем понятными словами и попросил нас со старушкой подписать протокол. Я сказал, что я «маленький», а старушка оказалась неграмотной – я расписался вместо нее – «Шилкина». «И сам распишись, чего там», - сказал проводник с уважением к моей образованности. Конечно, я не стал писать свою настоящую фамилию – зачем? – а старательно вывел красивую и заграничную – «Крузенштерн». На такую фамилию проводник шевельнул бровью с назидательной уважительностью и, товарищески пожав нам руки, уволок осиротевшие сундучки. «То-

же вор», - спокойно сказала про него Шилкина и продолжила печалиться о несовершенствах мира. Эта печаль мне прискучила и, взяв рюкзачок, я пошел побродить по вагону. «Мешок-то оставь, - сказала старушка, - я ж тут сижу». Я ничего не отвечал и поплелся выполнять мамину инструкцию – «вещи ни на кого не оставлять – носить с собой». Ладно, один рюкзак, радовался я, приглядываясь к вагонной безрадостности.

Пассажиры меня просто возмутили: скучали все – скучали, как нанялись – и какой-то тоскливой нудностью исполняя кряхтящие слова, вялые жесты и безнадежные зевки с почти нечеловеческим подвыванием. Мне, никогда в жизни не скучавшему, странно было видеть всеобщее такое уныние. Эту ритмичную тоску несколько разнообразила компания выпивающих фронтовиков и крохотная девчонка - капризная тиранка – которая буквально ездила верхом на несчастной своей матери. Я пристроился возле фронтовиков. Деревенские ветераны рассуждали масштабнее городских своих со товарищей – они беседовали не о своих однополчанах, не о битвах на смоленской и курской земле, не о толстой «облегчающей» самокрутке после бомбежки, а печалились, что из-за «политики» Красная Армия не вышла к Атлантическому океану. Один худющий фронтовик с очень прямыми волосами и испепеляющим взглядом говорил не громко, но жутко: «После Берлина Жуков сказал Сталину, что в июле наши танки могут быть в Португалии...» Я осмелился и спросил: «А где Португалия?» - «У самого океана, - сказал фронтовик с решительным жестом и грозной восторженностью. – Европа там и кончается». «И бесь бы Юропа наш был», - поддержал товарища старенький башкир с орденом Красной Звезды на сереньком, обтрепанном своем пиджачке.

В проходе возле нас стояла на четвереньках молодая женщина с бессовестной дочкой на своей спине. Дитя держалось за ее волосы, жмурилось и сильно надувало щеки с видом комической пресыщенности, а мама, неловко переступая ладошками, несколько

исподлобья смотрела на ветеранов, слушала, и робкая надежда на смелую мечту едва светилась на изможденном ее личике. Мне очень захотелось приласкать дитяtko, но, соблюдая приличия, я поступил попроще – достал из рюкзака яблоко и протянул его девочке, уже отчаянно голосившей: «Бак бробит, хвост горит, но машина летит на чисослове и на одном крыле-е». Она внимательно осмотрела яблоко и спросила: «Мытое?» Я кивнул. Девчонка мгновенно взмахнула ручкою, и яблоко полетело в сторону трех ветеранов, пекущихся о судьбе Европы. Шесть рук прикрыло не пустую еще пол-литру, а башкир удивился: «Па-а-ташь». Женщина поплелась к своему месту, а мятежница оборачивалась и грозилась: «Дядьки, я счас пописию и приду». Чуть ли не полвагона принялось уговаривать хулиганку «поспать», а я пошел восвояси и своими словами рассказал суровой старушке об утраченной нами западной Европе. Не меняя выражения лица, старушка пробормотала что-то вроде: «Сидите уж,.. олухи царя небесного». Неразвитая старушка.

Я задумался о войне и вспомнил недавний разговор трёх других фронтовиков – отца, Николая Андреевича и маминого брата – дяди Миши. Дядя Миша рассказал, как поздней осенью сорок первого года он встретился со своими фронтовыми соседями, ребятами из легендарного (как оказалось позднее) Подольского военного училища. Они отправлялись на позиции. Молодые совсем ребята – смеялись, толкались... Дядя Миша задумчиво улыбался: «Совсем пацаны... Был сильный мороз... Они уши у шапок завязывали под подбородком... Некоторые корчили рожицы... Ну дети и дети... Не пропустили они немцев. Но с позиций не вернулся никто. Не было даже раненных – они полегли все. До единого». Мы все замолкли. Даже ложки положили. Была совершенная и странная тишина. Я по сей день помню эту тишину. И машинально встаю.

За окнами, казалось, были одни небеса, а земли было очень мало, и была она совершенно пустынной – ни речки, ни кустика, ни жилья. И небо было не совсем привычным – ни облачка, ни пти-

цы, ни самолетика, лишь бледная бирюзовость с невероятным совершенством постепенно сгущалась в безупречно плавную голубизну воспаряющей и светлой бездны. Было нечто загадочное и совершенно нездешнее в печальном однообразии грандиозных и пустых пространств и бесчеловечной земли, и безбожного, казалось, неба. Как сквозь небытие, мы мчались в крошечных пустотах, и поезд все прибавлял ходу, словно пытаюсь настигнуть хоть что-то живое. И настиг: рядом с поездом (Маш, смотри) бежала, быстро мелькая лапками, белая собачка. Осанисто так бежала – маленькая и гордая. «Откуда тут собака?» - начал я мучиться, но тотчас отмутился – пес бежал за телегой, в которой сидели мужчина и женщина, а меж них – ребенок. Вроде, мальчик. Мальчик. Все трое грызли семечки – родители очень ловко, а малыш при помощи рук, отбрасывая шелуху с усилием почти комическим. Собачка оказалась впереди лошади и обернулась к хозяевам с языкатой своей радостью.

Показались домики. «Иглино, - сказала старушка, - собирайся». Мне не нужно было выходить сейчас, я намеревался просидеть в тамбуре до цели своего путешествия. Любовь моя ко всяческой «конспирации» часто доставляла мне массу житейских хлопот, повергая отца в насмешливое удивление: «Это у тебя от предков наших – владимирских раскольников – они лет триста обижались на патриарха Никона и постоянно таили от всех преданность старой вере, безграмотным своим книгам и дикому своему двуперстию». Я помалкивал и тайно гордился бессознательной своей верностью – верностью, которая всегда казалась мне гораздо важнее, чем ее предмет.

Когда, сняв тряпочные тапочки, я стал шнуровать ботинки, мне в волосы вцепились маленькие, но крепкие ручонки. Тотчас все сообразив, я решил сразить окаянную девчонку выдержкой нечеловеческой и забавною. Довольно долго, даже упираясь ногой в мое колено, она дергала меня за чубчик, но, не утерпев, присела: «Ты,

чево, дядька?» Мне было восемь лет, и новый титул помог мне невинно спросить: «А чего?» Разбойничье и довольно славное личико очень на меня удивилось: «Я тибя трипа-а-а-ю». Я продолжал шнуровать ботинки: «Это тебе показалось». Маленькая кромешница была изумлена: надувала щеки, тарасилась и вдруг потрясла меня, скромно опустив глазки: «Дай мне, пожалуйста, яблоко». Пришлось дать. На сей раз девочка не стала швыряться, а вцепилась в антоновку зубками, несколько по-медвежоночьи приплясывая. «Пока», - сказал я маленькому человечку, чем-то глубоко и тайно мне симпатичному. Не имея возможности говорить, она мне кивнула и помахала ручкою – невыразимо прекрасною, как у всех маленьких детей. Я ушёл в тамбур, забыв попрощаться со старушкою, угнетенной своей мудростью.

Недолго я развлекался своим «нелегальным» положением в тамбуре – станция моя появилась совсем неожиданно, оказавшись совсем маленькой. Дедушка встретил меня с улыбкою и поздоровался со мной негромко, сердечно и с некоторой долей смущения. Выяснилось: мы не тотчас поедem в Турбаслы, а будем дожидаться попутного обоза с мочалом и лыком, оформляя пока документы на оное. Лыковое «присутствие» оказалось просто избою, но непростая сине-золотая его вывеска сияла аббревиатурой сложной и загадочной. Пока я разбирался в ней и ее смысле, дедушка со своими бумагами почти заканчивал обход столоначальников, которые показали мне гораздо моложе документов, им вверенных. Я дивился чудовищному их количеству, загадочности и древности – краешки бумаг загибались на манер коры березового полешка. Повеяло отвагою: многие полки угрожающе прогибались под неисчислимыми папками, но чиновники бесстрашно сидели прямо под ними, очевидно не догадываясь о беззаветном своем мужестве. Несколько оторопев от обилия государственности – всюду бланки, печати, лозунги – и заметив, что юная чиновница возится под столом с кошкою, я поставил себе на ладонь ярко-фиолетовую печать с государ-

ственными колосками и вышел на волю знакомиться с окрестными собаками. Не вышло: очевидно, часто шугаемые, собаки были угрюмы и недоверчивы – близко не подходили, а рассматривали землю или просто отворачивались.

Я сел на крылечко и огляделся. С любопытством смотрел я на чуждую выразительность новых мест, пытаюсь по привычке соединить с ними задушевные свои представления: вообразил, как Маша смотрела бы на краснокирпичную, кругленькую вон ту башню, или как Лобик носился бы по розовой тропинке среди зелёной травы с синенькими васильками. Потом, углядев несколько соломенных далеких крыш, подумал, что бы сказала о них маленькая моя приятельница. И вспомнилось мне, как этой зимою, в крещенье, в толпе, окружавшей крестообразную прорубь, из-за чьей-то полы выглянуло вдруг круглое Машино личико. Я подошёл, послушал, как Елизавета Федоровна беседует с моей бабушкой и спросил у Маши, знает ли она, какой толщины лёд, на котором мы все стоим. «Вот», - сказала Маша, держа серо-красную свою рукавичку чуть выше серо-красной толсто-вязаной своей шапочки. Серьёзенько так сказала. Я согласно кивнул, заливаясь внезапно сильным и необъяснимым счастьем. А ведь не произошло ничего особенного – мы все разошлись со своими бидончиками, но круглое Машино личико в круглой шапочке, тихая её серьёзность, отчего-то запомнились мне на всю мою жизнь. Отчего? Это так загадочно, что невольно наводит на мысль о наших дожизненных или послежизненных встречах. Это воспоминание или предчувствие? Однажды среди жизни я спросил об этом у Маши. Она, вспомнив Ольгу Сергеевну Прозорову, вздохнула: «Если бы знать». И я вздыхаю сейчас: «Если бы знать».

Наконец на крыльцо вышел дедушка и шевельнул брезентовым своим портфельчиком – «Готово – пошли дальше». Улицей почти сельскою, мы пошли на лыковый склад. Во дворе одного дома рыжая корова лизала светло-зелёный алмаз величиною в пол-

ведра. «Это соль», - успокоил меня дедушка. На складе мы отмечали бумаги, ставили (даже я) угольком метки на связках лыка, и дедушка вёл деловые разговоры, небрежные от своей привычности. Меж всех этих дел я успел обойти склад кругом, оглядывая тихий летний вечер, не по-городскому просторный – всюду был виден горизонт – гаснущий, нежный и дымчатый. А в одном месте он был вроде порозовевшим от смущения, но, как и везде, тихим, словно молитва, утешающая и безмолвная. Очень простодушные облачка золотились на краю неба, как на старинных картинах старинных мастеров – художников очень старательных и, как мне казалось, вежливых. И странно было думать, что давно нарисованные облачка переживут забившихся в уголок мироздания маленьких своих братьев – баранчиков.

Перед уходом дедушка покурил на крылечке, и кладовщицы ласково попрощались с нами голосами вечерними и затихающими. Уже в сумерки мы пошли ночевать к дедушкиному другу Мидхату Ахметовичу, который почти бессловесно дал нам понять о своем спокойном и сердечном радушии. По-башкирски (двумя руками) приятели поздоровались и, со словами «Айбат», ритуально и легонечко похлопали друг друга по спинам. Мы вошли в дом – запахи его меня поразили: пахло домашним хлебом, чистыми полосатыми половичками, свежей рогожей кулей в сенях и еще чем-то удивительно приятным – запахом чистоты вещей простых и естественных. Я полюбил и запомнил эти запахи на всю жизнь, как запахи сена, лыка, конского пота, мороженого белья и запах теплой пыли, только что прибитой детским весенним дождиком. В доме было множество цветастых занавесок, но на стенах не было ни картинок, ни фотографий родичей, ни портретов товарища Сталина. Снимая на порожке ботинки, я вспомнил маленькую попутчицу, мельком удивившись, что вызывает она не раздражение, а улыбку. От воспоминаний я невольно принял вид маленькой мятежницы, надув щеки и таращась на молодую девушку, ставившую на стол угоще-

ние. Она встретилась со мной взглядом и, передразнив меня мгновенно-веселой украдкой, продолжала свое дело, улыбаясь задумчиво и рассеянно. Я догадался, что она простой и хороший человек, и задумался, как удалось мне это узнать, не обменявшись с ней ни единым словом. Дедушка меня окликнул: «Уснул, внучек?» Мы сели за стол, но молодая хозяйка, очевидно повинувшись мусульманским своим обычаям, исчезла за цветастой занавескою. После еды – каймак, чай (мне не дали на ночь) и очень вкусные, пахучие ржаные лепешки – меня отправили спать в соседнюю комнату. Занавеску задвинули не до конца, и я видел беседу старинных приятелей – беседу степенную и красивую: плавная учтивость речей хорошо гармонировала с точностью неторопливых и скупых жестов. Мне очень нравилось благолепие взаимной доброжелательности, но слов я почти не слышал и стал прислушиваться к тихому говору круглого (как у нас) радио. Я чуточку прибавил звук, и душа опахнула неожиданной радостью: наш любимый Дмитрий Николаевич Орлов продолжал чтение глав легендарной книги, начало коих мы начали слушать вместе с отцом в далекой, казалось теперь, Уфе. Точно зная, что батя тоже включил сейчас радио, я мысленно пристроился возле него (даже почудился запах махорочный) и уже не слушал, а просто-таки внимал: «Или, может, в этих дымах, Что уже недалеко, Видишь нынче свой родимый Угол дедовский, Борки? И у той черты недальной, У земли многострадальной, Что была к тебе добра, Влился голос твой в печальный И протяжный стон: «Ура-а...». Я скорчился под лоскутным одеялом и крепко сжал себя руками – меня легонечко потряхивало от великого восхищения красотой русского слова и, пожалуй, не только слова... «Мой родной, родной мой», - мысленно приговаривал я неведомо кому – герою, автору или отцу, который называл эту книгу «откровением нашего народа». «Родной, и все», - как-то хаотически думалось мне о чем-то несомненном, святом и вечном. Я даже заплакал, но слезы мои не были горькими. Постепенно волнение улеглось и, слушая про-

стые вроде бы стихи, я смутно догадывался, что происходит нечто очень важное – важное, как снегопад, светленький весенний дождик или всегдашняя течь реки.

Дедушка разбудил меня очень рано и постоял над душою, пока я не спустил с кровати ног и не козырнул ему какой-то рукою. Частично проснувшись, я немного посидел с закрытыми глазами, пытаюсь вспомнить хоть что-то, способное вернуть меня в реальность. Вспомнил и открыл глаза: «Я ж не дома». Как о наказании судьбы, вспомнил я умыванье и почти со стоном достал из рюкзака мыльницу и полотенце, на коем бабушка изобразила свои представления о человеческом счастье – «Мой шею» было вышито красными буквами на противной белоснежной «вафельке». Дабы окончательно проснуться, я спел (про себя, конечно) чрезвычайно бодрую песню союзных ассов – «Мы летим, ковыляя во мгле, мы к родной подлетаем земле – бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле». Молодцы, подумал я с восхищением, какие веселые дядьки. Мысленно и легонечко дотронулся я до крохотного носика бодрой и маленькой попутчицы и вышел во двор посмотреть на рассвет чужой и незнакомый. Да: впервые в жизни я смотрел на мир, и за моей спиной не было родного дома. Чем-то неуловимым это меняло не все, но многое: мир был красив, но красив как-то по чужому – не так, как в Уфе, на родине.

Было едва светло – все было серое-серое, но по двору уже бродили куры. Появился и грудастый петух – весьма представительный: красивый гребешок на манер берета нависал над оранжевым и мужественным его оком. Очертил оттопыренным крылом некую дугу вокруг скромно присевшей курочки-рябы, упруго прошелся, кивая склоненной в ее сторону головою и вдруг, сполошившись, вскочил на чурбачок для колки дров. Постоял, издавая неясные звуки и перетаптываясь, но потом встряхнулся, сверкнул очами и, увеличиваясь в размерах, заорал истошно и глумливо-радостно.

Рассвет начался. Курочка-ряба вскочила, кудахнула и, как дура, кинулась в неизвестном направлении. Рассвет расширялся – сенький такой рассвет с розовыми кое-где пятнышками. Вроде ветерок. Ветерок.

Обоз уже подошел, и дедушка хлопотал возле одного из возов, устраивая нам норку среди снопов мочала и лыка. Один из возчиков вошел во двор и попросил меня принести чистое ведро – напоить лошадь. Я поднял голову: «А почему чистое?» Мне запомнилось спокойное его удивление: «Лошадь не будет пить из грязного ведра». Я вошел в дом и передал его просьбу Мидхату Ахметовичу. Хозяин сказал негромко: «Динара», и появилась молодуха, с которой мы вчера обменялись гримасами. Очень чистым, без акцента, русским языком он сказал дочке или внучке (оказалось – жене): «Дай мальчику ведро – лошадь напоить». Динара приглашающе по-сторонилась, и мы вышли в сени, где я получил новенькое цинковое ведро, вроде бы в морозных узорчиках. «Как тебя зовут?» – спросила девушка. Я ответил. «В каком классе учишься?» – «В третьем». «О-о-о», – сказала она непередаваемым и затихающим тоном, и я почувствовал, что человеку хочется поговорить. Но меня ждали. Я вышел во двор и передал ведро возчику, уже наполнившему колодезную бадеечку. Мысленно прощаясь, я оглядел гостеприимный двор, который успел полюбить и пожалеть его оставляючи. Петух, так драматически начавший рассвет, теперь стоял у сортира с видом прислушливо-философическим. Думал. На крыльцо вышли кошка с глазами сатанистскими и девушка Динара с глазами рассеянными. Кошка тотчас улеглась, а Динара стояла простенько, как все хорошие люди. Вышел и Мидхат Ахметович. В бархатной зеленой тюбетейке, в рубахе навыпуск и полосатых штанах, он стоял, опустив руки, с чисто башкирским видом солидной и спокойной доброжелательности. Мы попрощались с добрыми хозяевами и, не мешкая, отправились в путь.

Вершилось утро. Вершилась и жизнь – у кого в начале, у кого в конце, но вершилась – странная такая жизнь.

4

На пепельно-голубом небе утро уже наступило, а на пепельно-темноватой земле еще не все было ясно. Мы ехали по бескрайним полям, и просторы их были до того пустынными, что я не мог составить себе никакого о них мнения. Они ни на что не были похожи, их не с чем было сравнить, и посему они казались мне совершенно безжизненными. «Это же не деревья, - думалось мне, - они же бездушные». Да, дома заигрываясь с мячом, я чувствовал спиной, что тополь мой ожидает моего взгляда и без него печалится. «Хороший мой», - подумал я про милое свое дерево и посмотрел на ни в ком не нуждающуюся гордыню просторов с чувством насмешливого превосходства: «А вы дураки». Дедушка лежал в уютной лыковой норке и пытался в неверном еще свете читать газету «Красная Башкирия»; я же стоял и, положив подбородок на свои лыка, оглядывал окрестности. «Ты чего там высматриваешь? - спросил дед тихим вечерним голосом. - Ляг, поспи». Я отвечал, что хочу увидеть, как птица коростель пешком идет в Индию. Дедушка опустил газету и поднял на меня желтые свои глаза, еще подернутые пеленою газетной бессмыслицы. «Куда?» Я все объяснил. «Большой оригинал», - сказал дедушка неизвестно про кого и продолжил чтение.

Внезапно все остановилось, слышались голоса громкие, разноязыкие и встревоженные. Выяснилось: один из возчиков, отбежавши от обоза, наткнулся в придорожной траве на обезображенный труп человека. Мы все пошли посмотреть на мертвеца, но пожилой башкир-возчик (тот самый, которому я выносил чистое ведро) отогнал меня, махнув сложенной нагайкой: «Не ходи – телега сиди». «Да, - сказал дедушка, - сиди, внучек – нечего тебе там

делать». Что ж – я полез обратно в лыковую нашу норку, обнюхав на манер Лобика все углы, и вдруг вспомнил, что еще не познакомился со всеми лошадьми нашего обоза. Я взял из рюкзака немного колотого сахара и подошел к нашей лошади. Господи, какие нежные были у нее губы, когда она брала сахар с моей ладони, а глаза... на меня покорно и смиренно глянула кроткая их вселенная. И она закрыла, и вздохнула, и открыла глаза, потупилась, вниз посмотрела и опять на меня глянула. Как мать. Что говорить, такие мгновения (или воспоминания о них) и привязывают нас к этой жизни. Встав на цыпочки, я поцеловал ее возле теплой ноздри и полез в нашу лыковую норку успокаиваться от чудесного и сладкого волнения.

Я и не заметил, как мы снова тронулись в путь и дедушка оказался рядом. Не желая исказить благости своего настроения, я ни о чем его не расспрашивал. Дедушке, вероятно, это понравилось – дружески меня потеснив, он прилег рядом, накрыв нас обоих спелочкой – поспим. Но мне не спалось, и я отправился в мир воображения – мир для меня привычный, родной и давным-давно обжитый. Даже не закрывая глаз, я видел, как из-за поворота нашей реки, меняя галс у ремзавода, медленно, как во сне, выплывает «Испаньола» и подушки ее парусов отражаются уже не в речной, а морской глади. На светло-древесной палубе, со слегка кривоногим упором, стоял капитан Смолетт с лицом маршала Жукова, а из камбуза выглядывала красная подло-жизнерадостная рожа Джона Силвера. Возле бочки с яблоками мы стояли с Джимом Хокинсом (он же Степан Курпей), и ветерок шевелил по шеям еще коротенькие наши косички. И оживал над нами не сомнительный «Веселый Роджер», а надежный, как товарищ Сталин, красно-синий, лучистый «Юнион Джек». А на берегу, возле лесопилки, стояли две девочки – Маша и Агарь Маношина. В капорах. Маношина просто-таки родилась для сцен прощания – у нее были большие, черные и очень печальные глаза, такие печальные, что однажды я спросил у

Маши о причине постоянной грусти новой ее подружки. Маша приняла важный вид. «Ну, - вздохнула она, - в общем... ну... она же еврейка». «Ну и чё?» - спросил я, озадачившись. «Ничё», - сказала Маша и возвела очи с кокетством таинственной значительности. Только познакомившись поближе, мы узнали, что, несмотря на печальный взор, маленькая Агарь вовсе не была меланхоличной «страдалкой», а напротив – была хоть и застенчивой, но очень живой девочкой, склонной даже потанцевать в одиночестве. Между нами проплывало переливчатое радужное пятно, и я озаботился, чтобы капитан Смолетт его не заметил – ведь тогда (когда?) не было мазутных пятен ни на какой воде. И Силвер тут еще вылез на палубу – с костылем и фальшивыми своими шуточками. Из-за пятна и Джона я исчез не только с «Испаньолы», но и с нашего полушария, дружески помалкивая в обществе загорелого и светлобрового «Зверобоя». Он подарил мне пушистую серовато-желтую белочку и стоял, улыбаясь только глазами, опершись на длинный свой карабин. Я так реально увидел шустренькую белочку с глазами-бусинками, что сделал даже ладонь ковшиком и склонился над ней с ласковым участием.

Дедушка вернул меня в действительность: «Ты где, внучек? Пойдем покушаем – зовут». Ели на расстеленных газетках, углы коих прижимали к земле могучие желтые огурцы и краюшки круглых домашних хлебов. А в центре бумажного «дастархана», как двоечники на школьной «линейке», стояли две бутылки не самодельной, а казенной водки с красно-сургучными горлышками. Как самый старший, дедушка всем разлил водку, а мне кумыс – незнакомый, белый и шипучий. Все выпили - кто крякнул, кто охнул, кто ухнул, а один молодой паренек мигом вскочил верхом на лошадь, скорчил там неопишемую рожу и мигом же соскочил назад – закусь. Все разномыслие заговорили и так хрустели огурцами и луком, что лошади зашевелили ушами, не поворачивая, однако, спокойные и мудрые свои головы. Я не умел (и не любил) одновременно слу-

шать несколько разговоров и, поев, отошел смотреть на лошадей. Когда разговор перешел только на башкирский язык, ко мне подошел дедушка. Сворачивая самокрутку, сказал: «Знаешь, у лошадей такая хорошая память, что если встретишься с нею, - дедушка кивнул на лошадь, - ну, допустим, через пять лет, то она тебя узнает и вспомнит». Подумав и посчитав по пальцам, я сказал: «Но ведь я тогда вырасту – мне будет тринадцать лет». Дедушкино лицо прояснилось не улыбкой, а спокойным и светлым размышлением: «Человеческая суть, внучек, не меняется от возраста, а лошадь чувствует именно человеческую суть – понимаешь?» Его слова были неожиданны и загадочны, но я торопливо кивал, тотчас поверив дедушке, как веришь несомненности жары или дождика. Позже, когда мы опять поехали, я думал о его словах, догадываясь о чем-то неясном, но несомненном. Лежал, смотрел в небо и думал – совершенно помимо слов – думал воспоминаниями, которые чудесно, загадочно и плавно превращались в радость предвкушений и надежд. Надежд, в центре коих были паруса «Испаньолы», Машенька в капоре и река, ставшая морем. А над всем этим были облака, но не наши – небесные, а желтовато-кудрявые из старинных книг и гравюр. А наш возница пел – пел эхоподобную башкирскую песню – песню просторную и печальную. «О чем он поет?» - спросил я Федора Алексеевича. «Не разберу, - отвечал он, - но песня хорошая». Я согласился – хорошая, и, наперекор печальному мотиву, впал в веселье и стал тормошить дедушку. Он улыбнулся, сконфузился, встряхнулся и, привстав, показал на несколько домишек у горизонта: «Вон Турбаслы». Мы медленно приближались к ним, и вскоре я стал смотреть во все глаза, стараясь еще издалека увидеть бабушку. Я знал, что она волнуется предстоящей встречей и будет поджидать нас у ворот.

У околицы мы пошли пешком, и дедушка попрощался с возницами, а я с лошадьми. «Вот и наш дом», - сказал Федор Алексеевич, и я увидел бабушку – в черном своем халатике, она стояла у

ворот, сжав ниже груди крепкие свои руки и склонив голову. Она присела передо мною, и я увидел, что она очень растрогана. Прихмуриваясь на свое волнение, она легонечко дотронулась до меня рукою: «А... как будет по-французски попугай?» «Пироке», - отвечал я не без удивления. Бабушка утерла мизинцем слезу и глянула на меня с легким оттенком виноватости: «А как голубь?» Долгонько тянул я букву «о». «Ле пижо-о-он, - и неожиданно закончил, - здрасте». Бабушка долго еще не могла привыкнуть к тому, что мы снова вместе, и, встречаясь со мной – по пути или взглядами – удивлялась и радовалась. И дружески мне подмигивала: «Казачок». Бабушка ничуть не изменилась: была такая же ровненькая, подтянутая, с завитым локончиком возле большого уха и полированные ее ногти имели такое же невинное девичье выражение и так же выделялись на мощи загорелых крестьянских рук. Держалась она спокойно и осанисто, но полудетские и доброжелательные всплески мимики и жестов бессловесно убеждали всех в том, что радость детского простодушия так же суца в сем мире, как и печаль человеческой осмотрительности.

«Отдохнув с дороги», я пошел побродить по деревне. Впервые в жизни. Я уже знал, что деревня не похожа на город, и Турбаслы показали мне весьма пригожими – дружеское согласие уютных избушек и меж собою, и со всеми окрестностями бессловесно поведало мне о цельности и гармонии всего естественно рожденного. Среди дороги сидела собака. Сидела и все. Утки и куры бродили по улице, словно по своему двору. Увидел я и низенькую рогожную фабричку, но к дедушке меня не пропустили: рогожные кули, сумочки-плетенки, лапти и лапоточки появлялись на белый свет из под покрыва государственной тайны – «производство» было засекречено еще со времен войны. Склонив голову перед сторожем – существом неясного пола, возраста и национальности, я зауважал секреты лаптей и побрел далее с некоторой гордостью от косвенного приобщения к тайнам Государственной Безопасности.

Оказалось, что путь мой лежал к сельсовету, стену которого украшал видный издалека лозунг – лозунг обширнейший и загадочный. Я считал своим долгом читать все кумачовые предначертания и постигать сокровенное их значение. Вникал и сейчас: «Под знаменем Маркса – Ленина – Сталина и товарища Минжуренко У. К. – вперед к победе коммунизма!» Я вздохнул от непонятности: «Почему только Минжуренко У. К. был назван товарищем, а великие вожди остались вовсе без титулов?» Дня через два все разъяснилось: сам товарищ Минжуренко У. К., прибывший в колхоз для воодушевления, прочитал лозунг и сказал колхозным вождям с укоризненной, но всепрощающей мягкостью: «Нельзя же так, товарищи – вы про Энгельса забыли». Кто опустил взор, кто обратил его к непривычно спорному лозунгу, и в ропотке покаяния послышалось нездешнее имя – «Генрих». «Энгельса звали Фридрихом», – назидательно опечалился товарищ Минжуренко У. К. и почтительно обнажил упревшую голову.

Выяснилось, что Генрих – это художник из Уфы, утративший от самогона всяческую связь с реальностью. Степенное и мудрое руководство решило лозунг «пока» оставить, а дополнить его «потом», когда «камень на шее общества» всплывет из жутких глубин подсознания. Но Генрих не торопился вступать на загадочный и страшный путь трезвости – вскоре он, почти нагим, промчался по деревне и, остановленный у сельпо, сказал громко, театрально и жутко: «Нищ и преступен». Когда его вязали, он кричал истошно, но по-доброму: «Слушайте англичан: будем вежливы или умрем». За преступления по женской части кроткие колхозники выпороли художника, часов пять совсем не давали выпивки и стали исчислять историю Турбаслов «до» и «после» Генриха. Много позже таинственного его исчезновения старушки уважительно показывали на половичок в сельпо: «Вот тут Гинрих на колен стоял – у Розы вотку просил... долго стоял». И вздыхали, добрые женщины. Однажды бабушка сказала небритому от забот живописцу: «Генрих

Тимофеевич, а почему бы вам не попробовать свои силы на сцене – мне кажется, что у вас есть артистический талант». Генрих поставил на землю ведро с пивом и, положив на кадык грязные пальцы, закрыл глаза и отвечал почти мелодическим распевом: «Ах, Александра Алексеевна, вы видите самую суть вещей: я уже играл на сцене и в Бирске, и в Стерлитамаке, а в Мелеузе я даже играл роль генерала в пьесе Корнейчука «Фронт...» За исполнение этой роли меня чуть в тюрьму не запсачили. Завистники настучали в органы, что советского генерала я играл в форме царского палача. А я причем? – костюмерша давала (за деньги, конечно) форму советского генерала поносить, для понта, своим друзьям – на свадьбу или в гости куда...» «Что такое понт?» - вежливо спросила бабушка. «Понт» - это суетная гордыня, - торопливо отвечал Генрих, но продолжал обстоятельно: - Они может и упекли бы меня в Сибирь, но тут я начал репетировать роль Ленина в «Курантах» - отвязались, но сказали: «Смотри, Сорокопудов, - мы тебя помним». Я удивился: длинный, тонкий, цыганистый Генрих совсем не походил на Ленина – как же играл-то? Спросил у бабушки. Слабо улыбаясь, она смотрела, как отошедший от нас Генрих, на манер лошади, пьет прямо из ведра: «Похож, похож – тоже ведь сын хороших родителей». Утолив жажду, Генрих взял полегчавшее ведро и очень талантливо жестом выразил нам восхищение приятной беседой и светлую печаль дружеской разлуки. Бабушка, задумчиво улыбаясь, поклонилась ему головою и тронула меня за плечо: «Пойдем, внучек».

Работая учительницей младших классов, она ходила переписывать будущих первоклассников – я носил за нею тетрадку и карандаш. Мы заходили в серенькие осоломленные избы – их чистота и нищета меня поразили. Бабушка печалилась: из-за войны первоклассников было совсем мало – всего трое. Они и пришли на другое утро знакомиться со школой, при которой мы жили – два стриженных наголо мальчика и девочка – маленькие, тихие, босоногие –

сорок второго года рождения. Они неважно говорили по-русски и, опустив лица и руки, стеснялись почти мученически. У девочки даже навернулись слезы. Мне стало ее жалко, и я поцеловал ее в ухо. Почти с испугом она отшатнулась и прошептала: «Урус», - косясь на меня с оттенком шокированной благосклонности. Бабушка меня одернула: «Это невежливо – навязываться со своими чувствами (я обиделся), иди лучше козу паси – уже девятый час».

Коза «Дериза», кнут и узелок с едою уже ожидали меня у крылечка. Для бодрости я щелкнул кнутом, плюнул в сторону школы, и мы отправились за околицу. Шли очень быстро, дабы как можно меньше людей увидело меня в обществе очень некрасивой козы – пузатой, тощей и глупенькой. Потом, попривыкнув к ней, я перестал ее стесняться и всегда попрекал себя за прошлое бессердечие: «Она же не виновата, что такой уродилась». Дойдя до ручья, мы из него напились, и я лег на пригорке, а Дериза стала щипать траву.

Небо было серенькое, как Машин воробушек, и помогало хорошо думать. Я закрывал и открывал глаза, и в голове моей стали тесниться слова, взыскующие себе подобных. Было очень интересно не только подбирать слова с похожими окончаниями, но и дивиться их своеволию. Сочинив несколько «стихов», я озадачился: понятные моим чувствам, они были совсем непонятны даже моему разуму: «Небо, как коза не виноватое, смотрит вниз, как Маша на дневник, Дериза, как дура бородатая, ей навстречу поднимает лик». Я махнул рукою – не мое это дело – и, пробежавшись раза три до оврага, лег петь замечательные фронтовые песни. Хорошие сами по себе, они с необычайной живостью напоминали мне дорогие особенности дней войны, когда я слушал их по радио, поджидая очередных грозно-ликующих приказов товарища Сталина. Закончил я свой репертуар совершенно замечательной песней, которую очень любил отец: «Эх, дороги – пыль да туман, Холода тревоги да степной бурьян».

Эта вечерняя, подернутая красной фронтальной пылью мелодия еще звучала во мне, когда я вспомнил вчерашний вечер на уютном нашем крылечке. Я предчувствовал, что этот вечер запомнится мне на всю жизнь. Садилось солнце, было неярко, светло и мирно. Бабушка сидела на скамеечке и, приподняв брови и чуть шевеля пальцами, читала ноты, лежащие у нее на коленях – играла мысленно. Дедушка просто сидел на ступеньке с махорочной своей самокруткой. Тишина и покой вечера были так совершенны, что было неясно – то ли я растворялся в благодатном его покое, то ли вечер, тая во мне, возносился к нежности золотых небес. Мне почудилось то, о чем я прочитаю много позже: «Тихий ангел пролетел». А он и пролетел в детски простодушном небе – пролетел, названный пока не словами, а молитвенным состоянием души. Я сидел не шевелясь, чувствуя только глаза, уши и легонький ветерок, который ласкался ко всем, как нежное предвкушение будущего счастья. Глядя в ноты, бабушка стала очень тихонечко напевать, а дедушка подмурлыкивал ей с чуть заметной ласковой шутливостью. Я прислушался к словам, которые слышал однажды по радио, но сейчас они получили какое-то особенное, златонебесное значение: «Так весь обвеян дуновеньем Тех лет душевной полноты, С давно забытым упоеньем Смотрю на милые черты...» Я встрепенулся и успокоился одновременно: со сладким замиранием души я увидел сказочную красоту Нагимы Асхатовны, уступающую родной милотности Маши – и это было самое удивительное – поверх таинства женственной их прелести смотрела прямо на меня Агарь Маношина – смотрела просто, смотрела бесстрастно, смотрела печальными глазами Бога. И вчера и сегодня я медленно недоумевал: отчего появилась Агарь в круге моих тайных и задушевных представлений. Но постепенно, оглядывая serene уютность небес, не без сомнений и робости я начал смутно догадываться о том, что женская краса и прелесть девичества существуют сами по себе, не-

винно беспощадны как жара и нуждаются в идущем за окном тихом и печальном, как глаза Агарь, дождике.

С небес на землю я опустил взор и встретил мутно-светлоглазый взгляд Деризы – она смотрела на меня с безжизненным и равнодушным высокомерием мира совершенно нездешнего. Взор бесчувственной козы напомнил мне звезды, о коих рассказывал мне вчера дедушка, когда мы вместе засыпали на сеновале. С оживлением для него редкостным, покашливая и делая паузы, он рассказывал мне о мире совершенно безжизненном – мире, где не было деревьев, речек, собачек; не было лошадиных глаз и кругленьких девичьих ручек, держащих в руке перо. Я вежливо вздыхал, слушая о «массах» и «скоростях», о «временах» и «пространствах», но на звезды, видные в открытую дверцу сеновала, смотрел недоверчиво. «Тебе интересно про звезды?» - спросил дедушка, очевидно уже утомившись. Я помялся: «Нет». Федор Алексеевич подумал и сказал: «А вот мне звезды помогли в... там». Я вроде бы удивился про себя – как может помочь то, что не дышит, не летает, не шелестит; не удивляется дождику, не смотрит на снег и не склоняет над книгою беленькие-беленькие бантики. Совершенно неожиданно я сказал: «Звезды – дуры – торчат и торчат, всегда одинаковые, а вот зимой по реке трактор ходит, а летом река веселая». Подумав, я повторил слова отца, который пересказывал Николаю Андреевичу изречения Лао-цзы: «Вода принимает форму сосуда – сильная – она всегда поддается: холодно – замерзает, тепло – продолжает течь...» Конечно, не разумом, а сердцем, я понимал эти слова – их подтверждал даже мой житейский опыт, и я вопросительно повернулся к дедушке. В темноте я не видел его лица, но, очевидно, он улыбнулся: «Спи, философ Хома Брут».

Я лежал на «своем» пригорке и, глядя в замшевые, казалось, холмики, думал о непонятной любви дедушки к звездам, небесной механике и непостижимым разуму временам и пространствам. Это казалось мне странным – «Отчего так?» - но, не умея думать поми-

мо зрительных образов, я представил себе в связи с дедушкой что-то вопрошающее и кроткое, с легким отзвуком не то бывшей, не то будущей печали. Я перебирал в памяти картинки из отцовых художественных книг и вдруг замедлился на изображении, внешне никак не похожем на дедушку. На той картине был изображен мальчик, вроде бы как и я, пастушок, но не в лапотках, а в сапожках. Светленький. Тихая вопросительность отрока чем-то нездешним и сущим неуловимо уравнивала в едином значении пожилого хворого дедушку с тоненьким русским мальчиком. Вспомнились слова дедушки: «Человеческая суть не меняется с возрастом». Не меняется. Я забоялся: а вдруг я вырасту и изменюсь – не буду любить деревья, собак, книжки, а буду пить водку и ругаться матерно. Встревожилась душа: «Упаси, Бог». Чтобы ничего со мной не случилось, я оглянулся по сторонам – вокруг ни души – встал на колени, сложил руки и закрыл глаза: «Отче наш. Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, Да приидет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...» Я открыл глаза и, вздохнув от необычайной четкости зримого мира, неожиданно повторил вслух: «Да будет воля Твоя». Коза обернулась на мой голос.

## 5

Живя в Турбаслах, я часто вспоминал Уфу, и однажды, материализуя свои воспоминания, стал устраивать в бабушкином «каретнике» точно такую же лежаночку, как в уфимском нашем сарайчике. Лежбище получилось весьма похожим, но для полного счастья мне не хватало Лобика и фронтальной отцовской шинели, которой мы оба укрывались поздней весной и ранней осенью. Дни, когда мне разрешалось спать в сарайчике, были самыми особенными и счастливыми – это означало, что завтра не надо было рано вставать и (как говорила мама), подпирая глаза пальцами, не выспавшись, тащиться в школу. И еще это означало, что вечером можно

было читать сколько угодно, можно было не торопясь и не под одеялом прочесть весь «Отче наш», ободряясь незримой, но несокрушимой его защитой. Я зажигал свечу, ложился на свой топчан и некоторое время не мог приняться за чтение из-за чувства тишайшей и глубочайшей радости, пока Лобик шебуршился, укладываясь у меня в ногах; шелестел неподалеку тополь, вскрикивал пароход на реке, и свеча светила желтеньким тысячелетним своим светом. Устроившись, ушастенькая моя «кровиночка» не вдруг засыпал, а порой пробирался к моему лицу – лизнуть, вместе погрызть сухариков и вместе послушать ночь. Вместе послушать ночь... Порою, на шум дождя или внезапный порыв ветра, он оглядывался на меня выпуклыми своими глазками и всем смирным совершенством своего естества словно бы советовал не придавать слишком большого значения скромным земным событиям. Я опускал книгу и удивлялся: точно такой же взгляд бывал порою и у маленькой Агарь Маношиной. Несколько неземной этот взор словно намекал на то, что на свете есть много такого, что нам не дано видеть, слышать и понимать. Агарь казалась мне совершенно особенным человеком – когда мы ссорились с Машею, нас примеряло не время, не сила обстоятельств, а мудрое сердце этой доброй и веселой девочки с печальными глазами. И ведь ничего особенного она не говорила – просто страшно мучилась (даже вроде худела), когда мы с Машей «не разговаривали», и молчаливо и растроганно цвела при нашем примирении. Конечно, всегда был виноват я со своею вспыльчивостью, но Агарь ни разу не дала этого понять ни мне, ни Машеньке. Только вздыхала и вроде бы чесала воздух тоненькой своей горсточкой. Я отложил книгу и, радостно закутавшись, вспомнил наш поход в художественный музей – вспомнил с нежностью.

Зима ради такого случая украсилась инеем. Мы – Маша, Агарь, Степа и я – впервые шли на встречу с искусством под руководством Елены Григорьевны. Уже в воротах мы все притихли – очень красивый белый дом был словно укутан кружевом инея. В

прихожей девочки сняли валенки и надели домашние туфельки на сером войлоке. Не без волнения прошли мы поочередно в темно-резную высокую дверь. Я шел самым последним, впереди меня шла Маша. Не без опасений, скользящим движением, поставила она пунцовую свою туфельку на сияющий паркет. Войдя, мы остановились. Я поднял голову – мы были во дворце. Первый раз в жизни. Господи, как все сияло – изнутри, как глаза. И снаружи тоже – отсветами дня морозного и солнечного. Мы подошли к своим.

Я знал, что, окончив школу, Елена Григорьевна собиралась стать учительницей, но у нее не получилось, и вот теперь, достав блокнотик и помедлив, она, казалось, робела, встретившись с юношеской своей мечтой. Решившись, она обратила наше внимание на большую и неоконченную картину. Почти знакомую. По белому мелкозернистому холсту, в центре композиции был хорошо прорисован карандашом светловолосый худенький мальчик с печальным и вопрошающим профилем. Стиснув руки перед грудью, со сбруей на локотке, он стоял перед фигурой в плаще. Лицо взрослого, скрытое капюшоном, было в круге света – святой. Опушка, на которой оба стояли, была еще в карандаше, но дальний лес художник уже начал красками. Из отцовых книг и разговоров я знал, что это – «Видение отроку Варфоломею» - картина нашего земляка Михаила Васильевича Нестерова. «Самая русская», - вздыхали над ее репродукцией отец с Николаем Андреевичем. В нашем музее был неоконченный ее вариант.

«Милые девочки, хорошие мальчики, - начала Елена Григорьевна, волнуясь и не совсем по-учительски, - в четырнадцатом веке в городе Радонеж жил мальчик Варфоломей, которому очень трудно давалась русская грамота. Однажды, в поисках пропавших лошадей, он заблудился в лесу и встретил там святого старца. Мальчик попросил у него не мирских благ, но помощи в учении и получил благословение схимника. Потом, через много лет, мальчик Варфоломей станет Сергием Радонежским – основателем Троице-

Сергиевой лавры и духовным руководителем русского народа». Я посмотрел на маленьких своих товарищей – Маша учтиво слушала, Агарь изображала преувеличенное и стремительное внимание, Степа же смотрел в окно, задумавшись. «Руководителем, как Ленин?» - спросила Агарь. «Да, - отвечала крестная, - у святого Сергия Радонежского был очень большой авторитет – ведь это он благословил московского князя Дмитрия Ивановича – Дмитрия Донского – на Куликовскую битву. На Куликовом поле, у речки Непрядвы, решалась судьба еще разрозненной России, которая именно там осознала себя единою. Русских воинов, павших в этой битве, по сей день каждой осенью, в «дмитриевские субботы», оплакивают в русских храмах – оплакивают и за них молятся».

Мы уже медленно подвигались к другой картине, но Маша от нас отстала и вновь подошла к «отроку». Постояла, склонив голову, посмотрела и, не отрывая подошв от пола, быстренько заскользила к нам. Крестная с удивительной нежностью поправила синенький ее бантик. Другие картины мне тоже понравились, особенно красные и голубые муаровые ленты на груди усталых полководцев и пышных скучноглазых дам. Были в музее и нескромные скульптуры – девочки обходили их взглядами, с преувеличенным вниманием рассматривая старинные часы, вазочки и всякие непонятные штучки. Одна из скульптур меня поразила: это были просто две мраморные ручки, вроде бы какой-то царицы. Они лежали на бархотке, под стеклянным колпаком, на высоте удобной только для взрослых. Мы встали на цыпочки. «Обождите», - сказала Елена Григорьевна и вскоре вернулась с табуреткой. Мы по очереди на нее взбирались. Я замер: ручки были, как у Маши – невероятной, нежной, зимней, освещенной солнцем красы. «Слезай уж», - сказала Маша с почти печальным распевом. Я соскочил прямо на Степину ногу – он тихонечко взвыл, а крестная сказала: «Помоги же Машеньке». Я помог, взяв ее за талию. Первый раз в жизни. В музее. Среди старинной красы. Агарь, слезая, восхищалась: «Какие ручки,

какие ручки – прям как у нашей Маши». Все согласились, а Маша приняла вид, что ничего не слышала, но я очень хорошо видел – слышала.

Возвращаясь, мы не сговариваясь вновь остановились у «отрока Варфоломея». Казалось, что Елена Григорьевна смущена чем-то, не до конца высказанным, а мы – чем-то, не до конца уясненным. Разговор возобновился, и как-то сам собою возник вопрос, почему священник благословил полководца и почему именно его, если Русь была разобщенной и были другие начальники. Елена Григорьевна вновь воодушевилась: «В те времена, ребятки, церковь была вроде как сейчас коммунистическая партия и имела очень важное государственное значение – без ее разрешения не делалось почти ничего». Она немного успокоилась и продолжила задумчиво: «Поймите, мои хорошие, в то страшное время решался вопрос – быть нам или не быть... И святой Сергей Радонежский понял, что руководить войсками разных княжеств должен, в тех условиях, не самый храбрый и даже не самый мудрый, а самый сердечный. Сергей знал, что еще маленьким княжичем Дмитрий больше отца и матери полюбил нашу святую землю – он даже плакал от любви к Отечеству. И Сергей, во всех междоусобных спорах держа сторону московского князя, не ошибся в своем выборе. Слушайте, детки, слушайте... Восьмого сентября тысяча триста восьмидесятого года, перед самой битвой, князь Дмитрий Иванович сошел с коня, снял с себя великокняжеские доспехи – плащ, латы, шлем, парчовую сорочку, надел простую холщовую рубаху, поклонился черному с золотом образу Спасителя, знамени, перекрестился, взял топор и с непокрытой, как перед Богом, головою встал в ряды простых ратников. На время битвы он растворился среди них – мужиков с топорами, рогатинами и вилами...» Крестная почти дрожала от тихой, большеглазой восторженности: «Ребятки, почему он так поступил – как вы думаете, скажите?» Немного смутившись от ее волнения, мы призадумались. Опустив голову, двигая челкой и му-

чаясь бровями, Степан размышлял, Агарь, сложив ладони у горлышка, смотрела в большое окно, сияющее голубыми и розовыми узорами, а Маша вдруг решилась: «А просто так... он и сам не знал... почему... просто вот... вот – так», - и, стиснув кулачки, она вроде бы распахнула невидимую свою курточку. Маленькая Маша (думаю я сейчас), конечно же, была права: гениальное прозрение Дмитрия Ивановича было следствием не военных или государственных соображений – его вел Господь.

В тесноватой, но высоченной прихожей крестная была совсем счастливою – помогала нам надевать шубки, завязывала шарфики и проверила девичьи мешочки со сменной обувью. Радовалась: «Ничего не забыли?» И вдруг почти крик: «Варежки, варежки – все покажите». Вроде бы сдаваясь в плен, мы показали свои рукавички и дружно вышли в кружева зимы. У ворот мы с Машей оглянулись на желтоватую белизну дворца, чуть видную сквозь голубоватые узоры инея. Высвободив из-под серо-красного шарфика нос и рот, Маша спросила у крестной: «Елена Григорьевна, а раньше здесь кто жил, царь, да?» Крестная осторожно прикрыла калитку: «Что ты, Машенька, это был дом инженера или доктора». Агарь ссутулилась: ее отец был военным инженером, а мама доктором, но они впятером – бабушка Фамарь Соломоновна и сестра Женечка – скитались по «углам» всей страны. Недавно вот приехали из Хабаровска и «снимали» комнату недалеко от Машиного домика. Приняв материнское выражение снисходительно-нежной усталости, Агарь рассказывала о проделках Женечки – маленькой своей сестрички. Я удивился: о детских делах и заботах Маша и Агарь говорили с совершенно взрослым и чуть печальным выражением, приличествующим, казалось им, всем разговорам о совсем маленьких детях. Очень важный вид был у девочек, и мы со Степой тотчас почувляли себя мальчишками и затеяли перепас твердым комком снега. Иногда, дабы повеселить осерьезневших девочек, мы стряхивали на них иней с веточек. Не выходя из материнских своих ролей, они

скорбно нас урезонивали. «Спасу нет», - говорила Маша; «Прям беда», - вздыхала Агарь. Через дорогу, словно собираясь исполнять «народный танец», мы переходили, взявшись за руки. Инструкция была такая.

Возле пожарной каланчи Маша меня окликнула: «Иди сюда, послушай». Оказалось, что Женечкина учительница музыки, в очень тесном классе объяснила своей ученице, как той следует вести себя после исполнения скрипичного номера: стоя лицом к очень близкой стенке, Надежда Александровна глубоко и учтиво поклонилась. Женечка была очень послушной девочкой и на «малолетнем» концерте после своего выступления, она чуть ли не вплотную подошла к ближайшей стенке и скромно поклонилась. Оглянувшись в зал на смех и рукоплескания, она поклонилась стенке еще раз – пониже. В зале веселились и даже потрясали в восхищении снятым валенком. «Ура, Женечка!.. Маношина-горошина-а... бис!..» Женечка растерялась и вновь начала пилить свою скрипочку. Был экстаз, и был полный триумф – Надежда Александровна на руках унесла со сцены талантливую и усердную крошку.

Выслушав Агарь, я так дико расхохотался, что девочки прибавили шагу, а Степа подошел поближе, склонив голову и думая о чем-то своем. Еще не отсмеявшись, я вдруг с необычайной ясностью увидел беленький профиль «отрока» - в беленькой своей рубашке он стоял словно бы не на лесной опушке, а на матово мерцающем паркете, среди бархатных диванов, муаровых лент и мраморных царских ручек.

На всю жизнь запомнился мне этот день: сквозь морозную красу зимы, чудесно и робко, как материнство в девочках, просвечивала незнакомая прелесть музейного Отечества. Книжное и музейное Отечество станет впоследствии для меня единственным: взрослея, я видел и понимал, что все окружающее не Россия, не Родина, а «савецка влась» - бесовское наваждение нашего народа – народа несчастного и детски-доверчивого. А все началось с отрока

Варфоломея – Сергия, который в летней своей рубашке протаивал морозные узоры инея. И странно: в моем воображении светловолосый русский мальчик был одновременно и темноволосой девочкой Агарью и даже стареньким моим дедушкой. Словно это был не мальчик, не девочка и не старец, а нечто вопрошающее, тихое и смиренное; вне пола, возраста и нации – у которого были только кроткие глаза и руки, стиснутые перед грудью, душою, Богом. Как слеза в глазах Отечества, стоял на лесной опушке светловолосый, всесоединяющий русский отрок – стоял перед Богом. Вопросал. Ждал. Близость светловолосого мальчика и седого дедушки была мне понятна, но вот девочка... Девочка. Ничего не ведая о подсознании, я много дивился тогда странности своих представлений. Агарь, думалось мне, – какое красивое румяно загорелое имя... Имя, похожее на погасшую свечу, когда запах горячей восковой гари тоненьким дымком воспаряет в небеса ночные и загадочные. Уже у десятиклассницы, я спросил у Маношиной: «Сергеевна, какое красивое и загадочное у тебя имя – Агарь – это древнееврейское?» «Нетушки, - отвечала она рассеянно, - это древнеегипетское». «Это же из Библии, - пояснила мне Маша и процитировала: - У нее была служанка египтянка, именем Агарь». Память у Маши была не девичьей. Агарь смутно улыбнулась над геранью (обе они поливали цветы на школьном подоконнике) и сказала, потупясь: «Это меня так бабушка назвала из уважения к «порабощенной женщине Востока». Я не утерпел без кривляний: «Вот образованность-то...» Девушки не отозвались – листочки усохшие обрывали.

Спустя годы я прочитал шестнадцатую главу Ветхого Завета, и выразительность древних и простых событий меня поразила. Удивительно: как сумел Моисей в шестидесяти шести строках поведать не только о жизни Агарь, но и вообще о судьбе любой женщины, которая жила, живет и будет жить, опуская перед мужчиной лицо и руки. Это печаль – печаль таинственного ее предназначения. Примерно так чувствовал я тотчас по прочтении Библии и расска-

зал об этих своих впечатлениях обеим девушкам, в ту пору уже студенткам-филологам. Они очень внимательно меня выслушали, и вздохнула маленькая Агарь: «Правдушки». А скромно-цветущая Маша сказала: «Нет». В зеленом мелкоцветовом своем пальто и зеленоватых сапожках Маша была невероятно хороша на фоне осенних деревьев кладбища, но героическим усилием я не дал воли своему восхищению и сказал бюрократическим голосом: «Объяснитесь, Миронова». Еле заметно улыбнувшись на мой тон, Маша сказала с простою и товарищескою серьезностью, что во всей Библии, а в Ветхом Завете особенно, на женщину смотрят, как на продолжательницу рода человеческого. И только. Шевельнула русой своей гривой: «А это обидно». Я спросил: «Почему?» Маша принагнула к плечу детски-лобастенькую свою голову: «Потому что – только». В детстве и отрочестве нам с Машей было удивительно легко разговаривать, но, взрослея, мы чувствовали, что любой, даже самый отвлеченный вопрос как-то неожиданно и странно касается и нас лично. Вот и сейчас я догадался, что она, с женской своей хитрецою, ожидает не сам ответ, а его отсвет на наши с нею отношения. Меня тронула ее покорность женской своей сущности, но я отвечал с привычной своей прямою: «За-инь-ка, а ведь род-то человеческий продолжает мужчина, ибо церковь считает, что новая человеческая душа появляется в сем мире не в момент рождения малыша, а в момент его зачатия». «Так-то», - сказал я после некоторой паузы. Маша зарумянилась и сказала с мелодической безапелляционностью: «Но это всего лишь религиозная точка зрения»... Агарь медленно вздохнула, превращая печальные свои глаза в глаза испуганные: «Так это значит...» Я улыбнулся ей как сестренке: «Да, Агарёк, да, это значит, что дамы извели гораздо больше душ, чем погибло их во всех взятых вместе войнах». Девочки потупились, глядя прямо перед собою, и проплыл перед нами маленький кленовый лист.

На кладбище была удивительная тишина – такая тишина, что нам почудилось (Маша даже оглянулась), что весь мир – кладбище. Мы притихли, сидя на низенькой, как в спортзале, скамеечке, и жизнь вокруг стала очень серьезной. Девушки не любили табачного запаха, и я отошел покурить под рябиною. Курил и думал-думал: «Еще одна осень... Двадцать первая, что ли... какая же была первая?» Господи, как же мне захотелось увидеть или хотя бы вспомнить первую, виденную мною осень... О последней – куда денешься – я и думать не смел: уж больно жутко.

Мысли мои были прерваны шушуканьем меж подружками. «Закрой очи», - крикнула Маша, а Агарь подтверждающе зажмурилась - закрыл. Я закрыл и почти тотчас увидел перед мысленным своим взором кротко-страдальческие закрытые глаза Маши, и почти наяву услышал нежный, чуть капризный ее стон: «О-о-о... Ну, не смотри... Стыдно же... светло... о-о-о...» Все это происходило часа три назад, и, не открывая глаз, я улыбнулся, вспомнив поспешные Машенькины опасения укусить меня всерьез – до крови. Тут же, почти до осязания, я почувствовал колыхливую упругость Машенькиных грудей – грудей больших, круглых, удивленных и совершенно ручных, как неуклончивые от ласки, податливые и доверчивые зверушки. Что говорить, такие мгновения (или воспоминания о них) и привязывают нас к этой жизни... От быстрого, как порез, восхищения я чуть было не взвыл, но девочки меня опередили: «Ты че, уснул там? Открывай». Я отверз очи. Агарь медленно поднимала вверх бутылку «Гамзы», а Машенька назидательно держала столбик из бумажных стаканчиков. И вид у девочек был хитрый, веселый и преступный. Дабы расшугать бесов своего вождения, я задержал взор на ребячески-деловитой и странно-тоненькой Агарь – в белом беретике и синей гедезэровской курточке, она выглядела мальчиком-подростком (моя бабушка называла ее Гаврошиком) и была такая маленькая, что хотелось взять ее на

«ручки» и спеть ей колыбельную, которую, бывало, маленькая Ира Пачикайте пела однорукой своей кукле: «Спи, моя девочка...»

Я подошел к девочкам – они хлопотали над бутербродами, и вновь подивился женской способности придавать самым обычным вещам характер ритуального благолепия. Я поднял опущенную было голову – временная краса осени и вечный покой кладбища превращали девичью прелесть в нечто непостижимо великое – великое, как будущее странствие души в загадочном своем предназначении. Крестная объяснила мне, что после смерти человека душа его находится в состоянии предназначения, в коем она не вполне наслаждается и не вполне скорбит, а ожидает Божьего суда, растворяясь в благодати своего смирения. Я задумался о том свете, но девочки живо вернули меня в этот: «Очнись – держи».

Постепенно наладился оживленный и очень дружеский разговор, легонький, как безграничность земных надежд юношеского невежества. Мы вместе пережили детство, и это соединяло нас надежнее, чем совместное участие в суетных земных делах и молчаливых людских печалях. Все трое едва сдерживали в рамках приличия ласку, сердечность и почти головокружительные приступы взаимной доброжелательности. И как должное воспринимали все громаднейший ум и необычайные душевные качества собеседников. Смеялись и говорили. Удивлялись и слушали. Молчали и радовались. А осень смотрела на нас и тоже молчала, вроде бы между прочим, являя нам краткость земных времен. Меж желтых, похудевших деревьев, за розовым зданием бывшей нашей школы, на плавной горе было видно неисчислимое количество домиков – далеких, маленьких и жалких. Агарь плавно повела на них рукою: «Вон там нет ни одного домика старше семидесяти-восемидесяти лет, а все, кто их строил и жил в них, – вот здесь», - и плавно опустилась тоненькая ручка над окрестными могилами. Дрогнула нежный ее голосок: «И это жизнь?» Маша вздохнула: «И домики эти скоро снесут... понастроят коробочек». Несколько исподлобья смотрела она

на родную свою окраину, и глаза ее вместе с беспечалием, казалось, говорили: «Жаль». Со странным выражением смотрела Агарь на плавные холмы Уфы, и, вопреки печальным ее словам, узенькое, удивительно милое ее личико светилось, а близкие меж собою черные глаза сияли, казалось, против ее желания. «А ты где родилась?» - спросил я ее. «В Сталинабаде, - отвечала она, - а Женечка уже в Хабаровске». Разговор вплыл в тему, еще не зажившую – «О разоблачении культа личности». Корректно негодуя, Агарь рассказывала о случаях невероятного злодейства, а Маша назвала товарища Сталина «балдою». Я не мог всего этого слушать и отошел покурить под рябиною. Печально глядел я на легковерных девчонок: как быстро забыли они Верховного нашего Главнокомандующего. Бабушка, бывало, говорила: «Злодеяния, не доказанные судом, – не злодеяния». Даже не прикрывая глаз, я представил себе сорок первый год и товарища Сталина: он шел не по Красной площади, а по российским полям – полям стылым и заснеженным. В солдатской шинели, фуражке и сапогах, он шел не один – рядом с ним шла Зоя. Светлая наша Зоя - с лебяжьей свернутой шеей – живая ли, мертвая – в растерзанном платье, поруганная, босоногая, родная. Вот так и шли они вместе, в пугающем, но странно-дружеском согласии – отец и дочь, монарх и святая, старый, грозный муж и доведенная до верности жена.

Я очнулся от девичьего смеха. Подошел; с товарища Сталина подружки перешли на меня – верного его «клеветра». Веселясь, Маша рассказывала подруге: «Это ж форменный ортодокс, еще со школы ортодокс – когда ты в больнице лежала, он в сочинении по «Грозе» написал, что сумасшедший этот Дикой – хранитель здоровых народных традиций и суть «луч света в темном царстве» своеволия. Дикой – луч, а Катерина – проститутка... Вся школа угорала... а Нина Ильинична плакала». Я посмотрел на подруг с важностью. Агарь удивлялась, смеялась и, казалось, была тронута. «Что поделаешь? - вздохнула Маша. – Человек хочет верить». «Да, -

шепнул я ей на ушко, - человек хочет». Маша попыталась придать назидательность веселому своему взгляду: «Перетопчешься до вечера».

Не обращая на нас ни малейшего внимания, Агарь собирала обертки с плавленых сырков, стаканчики и всякие корочки. Маша стукнула мне зубками и стала ей помогать, свернув из «Комсомолки» кулечек для мусора. Когда мы уже совсем собирались уходить, оглядывая верхушки дерев, я услышал тихонький голосок Агари: «Спасибо, местечко». Я быстро к ней обернулся – как от малого ребенка, уводила Агарь свой опущенный взор от низенькой, облезлоголубой скамеечки. И мы пошли. Возле ворот Маша отдала пустую бутылку старушке-нищенке. Я шел и, глядя то в землю, то в горизонт, думал: «Надо же... - спасибо, местечко». О чуткость, о душевная тонкость еврейства... О робкая ваша застенчивость... Как же вы сохранились?... Как не утратил вас народ-мученик?..» Множество раз наблюдал я глумление советского хамья над интеллигентностью мудрого, древнего и веселого народа. Да, веселого. Это я видел. А что читал? Содрогнулся: Освенцим, Бабий Яр, белорусские местечки... «местечки». С преувеличенной отчетливостью представил я ров, полный телесного и голого ужаса, и стоящих над ним большеглазых от страха маленьких-маленьких агариков – обреченные и озябшие, они чесали пронзительный воздух скрюченными своими горсточками, пытаюсь остановить и растрогать неменяемость торопливых и злых сердец... Гос-по-ди... Отче наш. Ну отчего Ты ввергаешь нас во искушение чувствами земной справедливости и человеческого возмездия? Вероятно, в этот осенний день мне начала смутно мерещиться будущая моя картина – крест мой, - на которую я «потрачу» почти двадцать лет этой жизни. Картина не получилась, но странно-тайными путями объяснила мне новейшую и печальную историю нашего Отечества. Я страстно хотел изобразить гармонию земного естества и Божьего милосердия, но... но я не умел, я не знал, я не верил тихим движениям своей

души, доверял лишь человеческой логике. «Прельщение гордого ума» оказалось лукавством блудливой земной «мудрости». За двадцать лет, истерев сотни подошв и кистей, я понял одно: смирение перед Божьей волей есть единственно возможная форма существования человеческой души на этой земле.

## 6

Тогда, по дороге с кладбища, мы продолжали дружеские и легонькие разговорчики, кои начали среди будущих своих могил. Я вполуха слушал, как Маша и Агарь вспоминали о том, как я, еще в четвертом классе, «спас» Лобика. В действительности, я просто вытащил его из проруби, а то, что я сам в ней очутился, было лишь следствием собственной моей неосторожности. Девочек волновал не сам факт «спасения» - дело обычное, - а то, что я, то ли убоявшись порки, то ли «выпендриваясь» перед Машею, не убежал домой менять одежду, обсыхать и бороться с будущей простудой. «Вылил воду из валенок и опять со Степкой на лыжах носились, - удивлялась Маша с материнским выражением лица. - Я бы не поверила, если бы сама там не вертелась».

Маша, конечно же, преувеличивала: она никогда нигде не «вертелась», а очень чинно съезжала на лыжах с не очень крутой горки, упрямо наклонив лобастенькую голову и глядя перед собою с пронизательной серьезностью. Отличница. Член совета дружины. Примерная пионерка. Воробушек мой. Несмотря на обычность случая с Лобиком, Агарь – выражением лица и ребяческими своими восклицаниями – восприняла его как пример человеческой самоотверженности: доброжелательность этой девочки была врожденною. Очевидно, по контрасту я вспомнил советское хамье, Освенцим и подумал о причинах коммунистической и фашистской ненависти к евреям. Большевики пытались (порою не без успеха) разжигать эту ненависть и в русских сердцах, забывая, что настоящий русский го-

раздо умнее и человечнее своих «верхов» и «низов». И вспомнилось мне, как моя мама со слезами на глазах, рассказывала то отцу, то гостям нашим, как среди войны у меня от недоедания и золотухи появилось бельмо на глазу. Сначала на одном, затем на другом. Спohватившись, мама чуть ли не бегом отвела меня в больницу. Врач что-то там выписала, но сказала, что лучше всего помогает мед. Мама вздохнула от безнадёжности: «Мед...» По дороге домой нам случайно встретилась бывшая мамина преподавательница из университета Сара Гарифовна: «Галочка, что за слезы?» Мама ей все объяснила. Седая, густобровая старушка надела очки и внимательно на меня посмотрела. Опустив голову, она немного подумала и сказала: «Пойдем ко мне, девочка, тут недалеко». Дома она дала маме большую банку меду – целый килограмм! Мама перепугалась: «Ой, что Вы, Сара Гарифовна – у меня таких денег нету». Медленно и нелегко дыша, старушка помолчала и сказала спокойно и почти торжественно: «Галка, я тебя побью – ребенок слепнет, а она про деньги какие-то хнычет... Уйди». И мы ушли. А мед помог, и я остался зрячим. В детстве я не придавал этому случаю никакого значения и, вероятно, забыл бы про него, если бы мама не поминала его порою, придавая естественному поступку старушки какой-то особый, недоступный мне смысл.

Машино плечико вжалось в мое плечо: «О чем задумался, детина?» Я отвечал – кратко и невесело. Внезапно Агарь хохотнула: «Ребят, а вы знаете, как танцуют евреи?.. Ну, прям как дети – совсем как малые дети – под скрипочку...» И, передав Маше свою сумку и оглянувшись, Агарь очень легко, быстренько и удивительно грациозно исполнила несколько танцевальных движений, действительно ребячески простодушных и чуточку улыбочивых, как все, что напоминает естество и святость детства. «Гарька, ты талант!» – восхитилась Маша и прижалась крутой своей щекой к узенькому личику подружки. Отсмеявшись, отсмуцавшись и ребячески по-серьезнев, Агарь неожиданно сказала мысль, очевидно, впервые ей

пришедшую – даже сама удивилась: «А вообще-то настоящих евреев сейчас и нет, вот: бабушка-дедушка мои и язык знают, и всякие обычаи ихние; мама-папа знают только «здрате - до свидания», а мы с Женечкой вообще ни гу-гу – советские девочки-дюймовочки». В подтверждение своих слов Агарь собралась что-то станцевать, но тут мимо нас заурчал милицейский мотоцикл, из коляски коего Генрих Сорокопудов, явно претендуя на общественное внимание, декламировал стихи, странно звучащие в такой обстановке: «...Незрелых и увядших лет, Ума холодных наблюдений И сердца горестных замет». Агарь удивилась: «И хоть бы что... и не унывает». Действительно, когда мы начали бродить по кладбищу, то наткнулись на спящего живописца, по-ягненочьи притулившегося к могиле знаменитого террориста. «Егор Сазонов», - с оттенком назидательности прочитала Маша на старинном черно-мраморном надгробии. Я помнил, что по верхнему его периметру была надпись выпуклыми буквами. Ее, конечно, скололи, но остались матовые следы, кои я пытался сейчас разобрать – «В борь...бе...обре...тешь...» «Ты право свое», - быстренько закончила Агарь, опасливо косясь на уже седоватого, уютно почивающего Генриха. Я вопросительно на нее глянул. Она приподняла подвижные свои «бровушки». «А это лозунг эсеров - моя бабушка (ну, Фамарь Соломоновна) состояла когда-то в их партии». Я кивнул на черный памятник: «Она его знала?» «Ага-а... Сазонов в их кругах был фигурой – ведь это он, а не Савинков рекомендовал в организацию легендарного Ивана Каляева». Агарь вроде бы смутилась: «Бабушка говорила, что Иван был совестью партии». «Совестью с бомбочкой», - сказала Маша, просто так сказала, но маленькая Агарь, помолчав, вроде бы обиделась за друзей бабушкиной юности: «Ну, М-а-ш, ну не все же они террором занимались». Маша не отвечала, отвернувшись, и тишина эта показалась мне не товарищеской. Дабы ее развеять, я сказал с обычным своим легкомыслием: «Де...уш...ки, хотите я прочитаю вам стихи о «настоящих» революционерах, тоись о

людях, готовых пролить свою, а не чужую кровь?» Девочки согласились, с интересом рассеянным и не совсем искренним: «Послушаем». С несколько шутовским видом я сказал: «Вот. Хороводы зеркал и свеч отражают веселый паркет, и нежность белой перчаткой ложится на твердь эполет. Вы еще взволнованны радостью молодого счастливого тела, и всплывает ваше девичество в кружевную мазурки пену. Отуманена очарованием, вплетается в ласку шутовство, но уже на Сенатской площади спокойно стоит... - Я сотворил хитрый вид: - Филологи, ну вот, какое слово нужно – «справедливость» или «совестливость»? Девочки очень мило засомневались, и вознеслись над кладбищем мир и покой. И еще товарищество – то святое товарищество, которое казалось мне в детстве естественным человеческим состоянием.

Я продолжил «чтение», касательно дивясь тому, что стихи эти, среди осенних деревьев и весенней тайны девичества, не кажутся такими пригожими, как ночью, на кухне, за шатким нашим столиком. Постепенно воодушевился, но, помимо слов, невольно любовался обеими девушками. Господи, какими же они были разными – тоненькая, как тростиночка, ребячливая Агарь и бессознательно скромно-цветущая Маша, у которой даже зеленое мелкоцветковое пальто не могло скрыть великолепия сказочных грудей. Сейчас по дороге я молниеносно их вспомнил и, дабы не взвыть от восхищения, стал тихонечко напевать песню удивительную и загадочную: «Меж крутых бережков...» Сначала Маша, а затем и Агарь стали негромко подпевать мне нежными своими голосочками. А когда мы вышли к Белой, почти в полный голос, спели втроем последний куплет: «Волга в волны свои молодца приняла, по реке, по волнам шапка с кистью плыла...» И песенная Волга, и ненаглядная Белая как-то странно соединились в нашей общей, на тот миг, душе просто в реку – реку жизни, в которую тоже, увы, нельзя войти дважды. Я посмотрел в небо, и было на нем великое множество облачков, похожих на перламутровые булыжники. Как тогда, вспом-

нилось мне, когда давным-давно стоял я вон там, провожая милого мне пленного немца. Вся жизнь изменилась, а небо – нет. И как внезапное и веселое озарение, вспыхнуло во мне убеждение, что ни я, ни Агарь ни-ког-да не станем вполне взрослыми. То ли от свежести, то ли от чувств, подруги полуобнялись и взглядывали с детским ненароком то на меня, то на старый наш город, то на вечную течь реки. Отче наш. Ну отчего мы были тогда такими счастливыми?

7

Мы втроем сидели на кухне и лепили пельмени с картошкой. Родители, меж кулинарных хлопот, расспрашивали меня о деревенских моих впечатлениях. «Что тебе больше всего в Турбаслах запомнилось?» - спросил отец, раскатывая тесто. Я отвечал не задумываясь: «Больше всего... как табун прибегает домой вечером... пыль красная, а кони красивые... - я даже встал, – о-чень... и гривы такие... как реки...»Мама сказала: «Сядь, а вот гривы уж никак на реки не похожи». «Э, Галя – нет, - сказал отец. - У него просто другой ассоциативный ряд (я удивился). Он же говорил мне, что черепахи похожи на спящих древних воинов». Батя хохотнул: «Он думал, что по ночам древние воины укрывались не одеялами, а щитами». Мама отошла к плите: «А мужики-то ихние пьют?» «Пьют, - отвечал я, - но не валяются и не дерутся». «Да, у них – так, - согласился отец. - Башкиры народ патриархальный, степенный и рассудительный – симпатичный народ». Как-то очень уж осторожно и не глядя на меня он спросил: «А дедушка как... ему лучше или хуже?» Мама перестала лепить и на меня посмотрела. Поколебавшись, я отвечал: «По-моему, лучше - он теперь улыбается». Все замолчали, и мне показалось, что в тишине слабенько простонала совесть – даже в детстве я много дивился постоянной ее болезненности. Я высунулся в окошко и глянул налево – тополь мой стоял потупив-

шись и, конечно же, меня дожидался. Я мысленно с ним поздоровался: «Привет, сейчас поем и выйду».

После обеда, посидев на сереньком сундучке в сладостном забытии чревоугодия, я вышел во двор, подсвеченный особенностями долгой разлуки. Конечно же, появилась Ирка-колдунья – важная, медленная и до того таинственная, что я тотчас спросил: «Чего это ты натворила?» «Я-то ниче, - отвечала она, смежая пороссячи свои реснички, - а вот рабочие с лесопилки хотели твоего Лобика пополам распилить циркулярной пилой. Уж как он визжал, как вырывался – я смотреть не могла, ушла. Не знай – распилили или не?» «Нет», - прохрипел я, глядя как за ее спиной кубарем катится с горы родной бежевый комочек. Подбежав, Лобик, вертя хвостом, припал к земле, но моментально вскочил почти вертикально и бросился мне на грудь. Совсем по-человечески обнимая меня лапками, он слизывал мои слезы и, непрерывно скуля, дрожал от величайшего и радостного возбуждения. «Вырвался, значит, - сказала Ирка и приняла взрослый вид. - Ну, как там, в ауле – молоко почему?» Я ей не отвечал – она вздохнула с презрительной снисходительностью и отошла гордая и жалкая. Только много позже узнал я о страшном одиночестве Ирмы Пачикайте и странной ее душе: с двух лет была она круглой сиротою и воспитывалась здесь, у тети – мать и отца ее расстреляли коммунисты. «За то, что они были литовцами», - сказала однажды нам, четверым, светлоглазая и светлогривая Ирма, и на нее было страшно смотреть. То ли в шутку, то ли всерьез, Степа сказал: «Вот как надо любить свою родину». Маша вздохнула, Агарь сказала: «Ну уж...», а Ирма повернулась и ушла – гордая и жалкая.

Лобик еще не привык к «чудесному» моему возвращению и от радости впал в щенячество – делал короткие и стремительные пробежки в разные стороны, не переставая вертел хвостом и просто так лаял. Больше, во всю мою жизнь, мне никто и никогда так не радовался. Обрадовался и я: возле турника Нагима Асхатовна прищем-

ляла белье на шелковистой, щегольской веревочке. Был серенький день, но она улыбнулась вместо солнышка: «Приехал... Айбат». Я хотел рассказать ей о своем путешествии, но, разглядев, что она развешивает не вообще белье, а свое собственное, отошел, почему-то сконфузившись. Мне показалось, что она это заметила и посмотрела в землю с ласковой усмешкой. Много лет спустя Нагима напомнила мне эту мимолетность и развеселилась, пряча лицо, как девчонка – бывало с ней такое. Я видел ее только мгновение, но все же успел заметить (как и во всем другом) нечто новое в сказочном ее лице – лице явно случайном среди жизненных обыкновений. Лобик лизнул ее босую ногу, и мы пошли к реке. Она тоже казалась изменившеюся.

Сидя на берегу и поглаживая Лобика, я задумался: после почти месячного отсутствия все окружающее получило, казалось, чуточку новое значение. Я вздохнул от непонятности: «Тайна». Потом мы долго взбирались по крутой лестнице «спасалки», присаживаясь на маленьких площадках, и оглядывались на светлую, меж темных берегов, Белую.

Юра нам очень обрадовался, но так, словно мы расстались не месяц, а четверть часа назад. Светлокудрявый, загорелый и светлоглазый, он сидел с паяльником в руке среди канифольных паров перед анатомически обнаженным радиоприемником. И вид у него был тихо-веселый и уютно-самостоятельный. «Ну, как, - спросил он, - отнеслись к тебе дикари, когда ты предстал перед ними с бусами в руке и Христом в сердце?» «А что? - удивился он на мои улыбочки. – Башкирята-то еще дикие – мы (Юра поднял палец) научили их стоя писать, добывать нефть и рисовать товарища Сталина». Догадываясь, что все это несправедливо, я любил, однако, разговоры и шуточки о преимуществах России перед смешными и маленькими народами. Для восьмилетнего это, вероятно, было простительно. Юра угостил меня чаем, и я сел на гамак, заваленный книгами, с кружкой и баранкою. Лобик, осыпанный щедротами,

залег у дверей с мозговой косточкою. А за большими окнами светила река и немного тускнело небо.

Я очень любил слушать Юру – он недолго задерживался на скучной злобе дня – и его «исторические» рассказы выглядели хроникой бытового обихода. Вот и сейчас он как-то незаметно и естественно перешел от товарища Минжуренко к Александру Македонскому. В неспешном его повествовании герой веков и потрясатель вселенной утратил демонические свои черты и выглядел просто староуфимским хулиганом – «пареньком» беззлобным, вспыльчивым и мечтательным. «Ну и вот... собрал он всех царей, им покоренных, и говорит: «Пора, друзья, в Индию» Ну, те, знаешь, то да се – у кого дети маленькие, у кого жена дура, у кого солдаты разбежались, и у всех – «денег нет». Но Александр был паренек твердый – хлопнул рукою по столу: «Не рас-с-суж-дать», - и прекратил совещание. Ладно, думают те, чтоб он утих, подсунем мы ему блондинку хорошую, и подсунули – у нее была розовая ленточка во лбу и кушачок розовый... - Юра опустил уголки губ. – И больше, наверное, ничего на ней и не было. Александр посмотрел на нее и говорит: «Ничего... возьму я и ее в Индию». Ну, цари тут совсем очугунели: «Опять Индия – упрямый какой». Я почувствовал, что Юре нравится улыбочное мое внимание, но все же решил его прервать: «Юр, а может, он просто географию любил и всякие путешествия?» Серьезно и почти грустно Юра отвечал: «Да нет, такие ребята просто не умеют любить – это же не всем дано». Я кивнул и опустил голову. Это я уже знал.

Осторожно, с Лобиком на руках, спускался я по крутой лестнице и один раз присел посмотреть, как желтый пароход закругляется возле недалекой нежно-бирюзовой пристани. Пристань была старинною и, как старый наш дом, вся в деревянных кружевах. Красивая. Я разобрал название парохода и улыбнулся от радости – «Иван Черняховский». Белый, кудрявый дым валил из его трубы, а река была светлее неба. Пароход загудел одновременно тревожно и

утешающе. Мы глянули вслед затихающему его звуку, и Лобик обернулся ко мне – посмотрел снизу вверх: маленький же...

А в нашем дворе уже вертелся с мячом Степа и, вместо приветствия, отдал мне исключительно удобный пас внешней стороной стопы. Пока я в деревне развлекался пастушеством, Степа придумал замечательную игру: подбросив вверх мяч, нужно было быстро обернуться вокруг своей оси и ударом подъема направить его в кружок, начерченный на стене сарая. По очереди мы тем и занялись. Тополь мой никак не реагировал на новое наше развлечение – стоял простенько, и все... А мы... а мы совершенно растворились в бессознательности телесного счастья. Утирая пот, я на мгновение отвлекся от игры и косвенно удивился свежей выразительности обычной жизни нашего двора: двое чужих пареньков с фальшивой скромностью ухаживали за сатанински-гордыми нашими девушками, Виктор Иванович потрясенно стоял, опустив черные свои руки над распластанным самодельным лодочным мотором, который он, как поэму, начал «слагать» еще до войны; Зойка-снегурка, показывая небесам то один, то другой каблучок, плясала вокруг серенькой будочки, не то тренируясь для школьной самодеятельности, не то талантливо дожидаясь своей очереди. Сидя на завалинке с учебником, Нагима Асхатовна внимательно смотрела и слушала, как моя мама, вертя пальцем вокруг своей ладони, объясняла какой-то физический закон. Расширив глаза и медленно кивая головой, Нагима внимала так детски-прилежно, что живо напомнила мне Машеньку. Наконец она понятливо просияла и опустила учебник физики на свои колени – я старался не смотреть на них, как на солнышко. Да, я уже стал смутно ощущать, что где-то там, за жгучими этими коленями, притаилось мучительно стыдное счастье и судьба, никого неминуемая. Неминуемая. «Все там будете», - так сказал Степану и мне Юра Караваев, заканчивая обзор очень интригующих обстоятельств, связанных с нашим появлением на свет. Я очень обрадовался, а Степа сказал: «Позор».

Я поднял взор от освященной Нагимой завалинки, и споткнулась душа: словно в последний раз смотрел я на меркнувший день, и странная печаль замирала вместе с пароходным гудком над привычностью нашей окраины. Печаль. Даже мысленно я не произнес не единого слова, но что-то вздохнуло во мне: «Прощай». Вероятно, не с загадкой людей, не с добротой дома и не с нежной серостью вечера прощалась тогда моя душа, а вот именно с тем мгновением – пришло и ушло – может быть, последним мгновением детства. Прощай... Конечно, я не знал тогда Ахматовой, но позже именно в такие минуты я твердил про себя как молитву или признавался Агарь почти с улыбкой: «Ржавеет золото и истлевает сталь, Крошится мрамор – к смерти все готово. Всего прочнее на земле – печаль и долговечней царственное слово». Печаль. Слово. А меж ними – жизнь. Или то, что вместо нее.

Вдруг что-то случилось – не слышно мяча – я обернулся: Степа сидел на земле и, зажмурившись, держался за ногу. Мигом вспомнив Машенькины наставления – «сестра милосердия» же – я быстро и сильно дернул на себя загорелую ступню друга. Степа шумно вздохнул, вспотел и успокоился. Я сел на мяч, а Степан, поглаживая ногу, стал рассказывать уфимские новости. Он говорил медленно, устало, и ветерок шевелил склоненные его вихры. Мне хотелось еще «постукать», но было неудобно, и я внимательно слушал, что: Маношина-горошина получила в подарок велосипед, но кататься не может – корячится, корячится и не может – маленькая; у Маши (твоей) умерла кошка Митрофан, а у Маши Шульц сгорел сарай вместе со скворечником. Я не знал, но догадывался, что Агарь Маношина и Маша Шульц ведут в Степиной душе борьбу за первенство. Потом, помявшись, друг сказал, что пьяницы (кивок на лесопилку) распилили пополам чужую собачку, похожую на Лобика. Я быстро обернулся – Лобик спал у крылечка, свернувшись кренделем, и напоминал изображение человеческого зародыша, которое мы вместе с Машей углядели в учебнике Елизаветы

Федоровны. Поглядев на странный рисуночек, Маша меня спросила: «А ты знаешь, что человек произошел от описьян?» Я очень хорошо знал, что человека создал Господь, и посему первый раз в жизни посмотрел в приличные и мудрые глаза маленького моего товарища с чувством усмешливого превосходства. Машенька смутилась. Маша промолчала. Мария порозовела и, видимо, обиделась. От ее многочисленных жизнепроявлений гордыня моя потускнела, уступая место обычному моему удивлению перед великими тайнами внешних обыкновений жизни. Маша об этом догадалась и сказала: «Вот» - с важностью.

Как всегда с опозданием, я испугался: «Распилили?» Степа совсем опустил голову. «У-у, - и добавил: - Гады» - совсем упавшим голосом. Я рассказал другу Ирочкину версию жуткого события. Степа поднял голову: «Нет, просто она испугалась, заплакала, убежала и не видела, что это не Лобя». Мы обернулись на гул ребячьего восхищения. В центре его светилась всеобщая любимица двора пятилетняя Рабига со щенком на руках и во взрослых калошах на босу ногу. Стараясь сохранять достойный вид, девочка сияла всеми оттенками радостной гордости: щенок прозрел на ее глазах! На обоих языках оповещала Рабига всех об удивительном этом событии, то закрывая, то открывая свои изумленные глазки-смородинки. Счастливая была – крохотная и потрясенная: «Одна глас открыл – смотрел, два глас о-от-кыры-л – смотрел...» Девочки взвизгивали, а мальчишки близко заглядывали в чрезвычайно сосредоточенную мордочку нового созерцателя вселенной. Проснувшись, подошел Лобик, встал на задние лапки, обнюхал щенка (может, сына) и отошел зеваючи. Мне очень хотелось приласкать ушастенький комочек жизни, но я не посмел – Лобик бывал очень недоволен, если я оказывал знаки внимания другим собачкам, даже совсем маленьким – горделиво отворачивался и уходил усталой походкой. Я горестно тогда удивлялся: любовь к живому существу приходилось скрывать, так же как и любовь к Богу. Хотя... не все-

гда лицемерие это было мне тягостным – бывало, чудилась в нем почти озорная прелесть таинственности. Пританцовывая, подошла Зойка-снегурка и, разделив всеобщее восхищение, увела всю компанию к себе в сарай показывать щенку своих черепашек.

Я посмотрел на опустевшее «черное» крыльцо, туманно радуясь родной его привычности – каждая его доска, каждый сучок и каждая его трещина были знакомы мне, как бабушкины морщины, мамины глаза или махорочный отцовский запах. Хорошее, родное крыльцо. Я улыбнулся: в первую же зиму, когда мы приехали в наш сказочный дом, на этом крыльце случилась история смешная и непонятная. Зимнего пальто у меня в ту пору не было, и я ходил в укороченном бабушкином «спороче», из коего торчали клочья подкладочной ваты в сочетании с тем, что оставила моль от еще дореволюционного сукна. За пазуху для тепла мне засовывали кусок козьей шкуры, который высовывался от движений и торчал у горла на манер бороды. Пьяные принимали меня за карлика и даже предлагали соучастие в саморазрушении человеческой личности. Я возражал. Гуляки вглядывались мне в лицо и отходили в ругательском смущении. В таком удобном, но странном убранстве я стоял солнечным и морозным утром на нашем крыльце и дивился на вознесение, как мне чудилось, зимы в ослепительность утренних небес. Голубые снизу и оранжевые на фоне ярко-зеленого неба столбы дыма из труб были такие высоченные, что птицы пролетали ниже тающих их верхов. А снег на земле был голубой и, судя по приближающимся шагам, скрипучий. Скрип прекратился, и я опустил голову – передо мной стояла молодая бледная женщина не в валенках, а в ботиках! Это была, вероятно, новая соседка, которая приехала недавно в ту комнату, в которой умерла совсем одинокая старушка, оставив после себя очень много старинных осиротевших книг. Порывшись в сумочке, женщина дала мне денежку и, оглянувшись на цветную медленность вознесения, нагнула голову в

черной шапочке и пошла в наш черный и таинственный коридор. Я сказал «спасибо» и продолжал свои наблюдения.

Дома я отдал денежку бабушке и рассказал о молодой соседке. Бабушка недвижно смотрела на узоры окна, и глаза ее почему-то заплывали слезами. Озадачившись, я дотронулся до черного ее халатика: «Ты чего?» Бабушка по-детски шевельнула голову: «Не надо стесняться добра». А я ничего и не стеснялся и посему задумался о бабушкиных словах в большом недоумении. Ничего не придумал. Через несколько дней мне опять встретилась соседка в ботиках: «Ты чего ж тогда промолчал?» - «Так...» Она ко мне склонилась: «Ты не обиделся?» «Нет», - отвечал я, не задумываясь, но удивляясь. В черном пальтеце и в черной шапочке она тихо и неловко отошла – через два года она получит «похоронку» на своего мужа. За три дня до Победы! Отче наш, за что? Конечно, в страданиях есть благостный и горный смысл, но «все же, все же, все же...»

Степа толкнул меня локтем: «Очнись», - приглашая подивиться на творческие муки Виктора Ивановича. Не вставая с четверенек, как зверь, ходил Виктор вокруг чудовищно разросшегося своего мотора, пронизательно что-то высматривая и вдумчиво сопоставляя увиденное. Не только сегодня сей подвижник механики был так поглощен многолетним своим детищем. Однажды, сильно напившись по случаю обретения важного какого-то краника, он с изумлением обнаружил, что, кроме Зойки-снегурки и Олечки у него есть еще два детища – Калерия и Сталинка. Недвижно помолчав, Виктор загремел: «Эт-то что за имя... Кал – это говно...» Убоявшись загреметь по поводу второго имени, Виктор затоптал папироску в страшном негодовании. Юра, тут случившийся, улыбнулся с сонливой лучезарностью: «Вот, Витек, как в сараюшке спать со своим моторчиком», - и добавил печально, что дизельный мотор с химической батареей невозможно сочетать в «принципе». Чудесное появление дочерей, их дикие имена и сволочные принципы физики

вышвырнули из себя несчастного и перепачканного Виктора: «А-а-а, идите вы все к рваной матери – в Америке вон по приемнику морды пока-зы-вают, у нас машинка пилмени делает, медведь на вильсапедке кат-таецца... а ты, Караваев – матросня и едиот». Переглядываясь, я хихикал тогда вместе со всеми ребятами на зава-линке, совершенно не предполагая, что из года в год во мне будет постепенно расти и крепнуть улыбчивая и светлая приязнь к этому, не от мира сего, человеку. И, несмотря на несходство душ и судеб, я почти повторю крестный путь невежественного его поиска, когда из года в год с исступлением, надеждой и отчаянием буду корпеть над своей сердечной, жалкой и никому не нужной картиной.

## 8

«А вот скука – правильное слово?» - спросил я родителей, не уставая радоваться на новую клеенку – сияющую, чем-то пахну-щую, в веселых красно-белых квадратиках. Я спрашивал не просто так: в последнее время меня сильно интересовали разные слова и несовпадение впечатления от них с тем значением, которое они имели на языке взрослых. А началось все с того, что недавно, на празднике дня Победы, Николай Андреевич рассказывал о своем фронтовом товарище-грузине, который считал, что русский язык неправильный: страшное оружие нежно называется «пушка», а без-обидная птичка звучит пугающе «вор-ро-бей». Я крепко тогда за-думался и, после ухода гостей, залез на печку обдумывать то, что я всегда смутно чувствовал, плутая в громадном лесу слов и знако-мясь с неожиданными его обитателями. Перебирая мысленно вся-кие слова, я безупречными нашел только шесть – осень, небо, зима, икона, Маша, топор. Многие другие слова казались мне сомнитель-ными, например, «отец» (о-тец), словно падает что, как тесто, или подзатыльник намечается. «Я насчет скуки», - напомнил я родите-лям, допивающим шиповник с белыми сухариками. «Скука – это

болезнь», - сказал отец с веселой строгостью, а мама добавила: «Лодырей». Я ж не о том вас спрашиваю, подумал я с горечью и привычно подивился сплоченной непонятливости взрослых.

Из больницы пришла печально усталая после ночного дежурства бабушка и посидела немного на кухне, недвижно глядя в окно. Дедушке было очень плохо, стояла тишина, и никто ни о чем ее не спрашивал. Бабушка приподняла брови и сказала, легонько до меня дотронувшись: «Пойдем, внучек, тебе надо проститься с дедушкой. - И добавила родителям: – Ему надо сейчас, пока не началась агония». Я не знал, что такое «агония», но почувствовал страх и торжественность неземной неотвратимости. И еще была непонятность – такая жуткая непонятность, что я замер и, вероятно, первый раз в жизни шел, совершенно не оглядываясь по сторонам. Я осознал себя только в чуланчике, в котором лежал дедушка – в больничные палаты он не попал не то из-за их переполненности, не то из-за политической своей неблагонадежности.

Комнатушка была крохотной и тесною – чуть ли не до потолка лежали всякие матрасы, а всяческий хлам, очевидно, бабушкой, был расставлен с трогательной попыткой хоть какого-то уюта и благолепия. Собравшись с духом, я глянул на дедушку – он вроде бы спал, но глаза и рот его были приоткрытыми. Он явно был без сознания, и остановившиеся его глаза поражали выражением пристальной собачьей незащитности. Бабушка тронула меня своим самообладанием и, превратив свое горе в старательность, занималась бытовыми подробностями с видом обычной усталости. Стало не так страшно, и вроде бы ненароком я прижался щекой к теплой ее руке. «Не бойся», - сказала бабушка и села передохнуть, глядя в узенькое чистое-чистое окошечко, за коим привычно сияли голубые, непривычные небеса. Небеса. Небо. Каменный пол. Была странная тишина, усугубленная редкими, тихими звуками далекой, казалось, жизни. Я косился на дедушкино лицо, даже не пытаюсь что-нибудь понять или почувствовать. Первый раз в жизни у меня

не было совершенно никаких сил. Тишина была гнетущей – мне хотелось что-нибудь сказать или шевельнуться, но я не смел, догадываясь о наджизненной важности происходящего. Неизвестно откуда послышался голос бабушки: «Возьми дедушкину руку – попрощайся с ним». Я взял легонькую и безжизненную руку, постоял и оглянулся на бабушку – она смотрела в мою сторону, но не на меня. Собравшись с духом, я торопливо наклонился и поцеловал шрамик на щеке дедушки. Совершенно не зная – живой или нет, я опасливо глянул в желтый, невидящий взор. Последний раз в жизни. Легонечко и едва слышно дедушка вздохнул, словно присела душа перед дальней дорогою. «Иди, внучек, и прости деда – он всех простил, - сказала бабушка и, вздохнув, повторила: - Всех». Когда я выходил, боясь оглянуться, бабушка тронула меня за плечо. «Ступай, внучек, - и помолчав, попросила, – дома... помолись». Я торопливо кивнул и вышел за ржавую дверь «черного» больничного выхода.

Спотыкливо прохрустев по гравию двора, у ворот я прибавил шагу, а затем побежал. Бежал быстрее и быстрее – страх и ужас гнались за мною; но странная, подлая радость жизни бессознательно рвалась наружу, и я бежал то попросту, то обегая деревца, то делая руки самолетиком. Около нашего дома ко мне присоединился Лобик, и мы вместе выбежали к сиянию реки. Выкупались. Обсыхая, я лежал на плоту и смотрел на больницу, в чулане которой дедушка расставался с жизнью. Перевернувшись на спину и закрыв глаза, я стал вспоминать, как называется слово, которое означает то, что скоро случится с моим дедушкой. Лежал, вспоминал, от солнца жмурился, однако редко поминаемое слово ускользало от встревоженной и опечаленной памяти. И вообще мой словарный запас был очень убог: думая, я представлял сами предметы, а не словесное их значение. Вода блестела, Лобик себя лизал, и вдруг, словно меня окликнули, я повернулся в сторону больницы. Из ржавых ее дверей медленно вышла бабушка в черном английском сво-

ем костюмчике. Медленно и боком она сошла по ступеням крыльца и, поправив черную вуальку на маленькой черной шляпке, пошла домой, старательно глядя себе под ноги. Пошла не улицей, где бежал я, а задами, у самой кромки оврага, видимо не желая, чтобы ее видели. Возле одного сарайчика она остановилась и прижалась к нему, как ребенок, играющий в «прятуски». Я вспомнил забытое слово: «Смерть». «Дедушка, наверное, умер», - подумал я и, не успев еще ничего почувствовать, тотчас вообразил, как Маша воспримет это известие. Почти воочию увидел я ее желтенький прилично-расширенный взор и крепко сжатые простодушные губы. Что она скажет? Как опустит голову? Что подумает – ведь мы с ней еще никого не хоронили. Разные чувства меня обступили, и в них было страшно, как в любой толпе. Я увидел Машу: круглое личико на тоненькой шейке и родные желтенькие глаза с выражением примеренного с судьбою приличия. И смерть стала не такой страшною и вроде бы минучею.

Пока я одевался и мы с Лобиком поднимались по косоугору берега, бабушка спустилась с горы, и мы встретились у старого нашего крылечка. Лобик не прыгал, а деликатно отошел в сторону. Бабушкины светлые глаза глянули на меня с жалкой и просящей приветливостью: «Умер дедушка». Я опустил голову. Это была первая смерть в моей жизни.

## 9

Я сидел у окошка и слушал крестную – волнуясь и большеглазо на меня взглядывая, она читала мне: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Елена Григорьевна отметила карандашиком

начало и конец этой притчи и сказала: «Это выучишь наизусть». Я радостно кивнул головою и сказал: «А я уже выучил». Крестная строго на меня посмотрела и сурово назвала меня полным моим именем. Я встал со «своей» скамеечки и, приняв достойный вид (руки по швам), без запинки повторил вечные строки, заменив только слово «итак» на слово «вот», но сделал я это сознательно. «Талант» в России всегда воспринимается как покушение на естественный ход вещей, и крестная посмотрела на меня с опаскою. Я исполнил несколько «танцевальных» движений и вышел во двор, освещенный, казалось, большим, чем обычно, небом. «Это, наверное, от Священного Писания», - подумал я с медленной и почти-тельной важностью.

Нагима Асхатовна чистила на бревнышках животрепещущую рыбу в окружении не котов, а, казалось, их внимательно-недвижных изваяний. Я собрался было поговорить на интересные рыбные темы, но странная освещенность двора обратила мое внимание на небеса и окрестности. Все – как всегда, только над моргом был непривычный простор неба – неба голубого и чистого, но, как новичок, безвинно виноватого. Я опустил голову, но тотчас ее поднял: тополя не было. Очень внимательно осмотрев гравий под ногами, я снова поднял голову – нет. Нету больше моего тополя. Я повернулся к Нагиме Асхатовне: «А где тополь?» Она, сделавшись уродливою, вспарывала живот карасику: «Сру-би-ли». Испарина выступила над верхней пухлой ее губою, перламутром светилась изнанка рыбьей чешуи, ждали коты своего счастья, день сиял, а тополя не было. Совсем не было. Пошел домой. Как ни в чем не бывало занимались домашние своими делами и на мои слова посмотрели в окно со скучной безнадежностью: «Да,.. очень жалко...» От их равнодушия я утерся как от пощечины и вышел во двор, пытаюсь хоть что-то понять в тишайшей этой бессмыслице. В прошлом году, в эту же пору, умер дедушка, но его смерть, предсказывая мою, обещала будущую встречу наших душ, но сейчас – сейчас было со-

всем непонятное. Я не знал еще благости смирения и лихорадочно думал о «помощи» павшему моему другу. Надо что-то делать. Что? Степа уехал в деревню, Юра из-за драки на пристани, уже два дня томился в милиции, и я побежал к Маше. По дороге я живо представил себе, как она прилично погорюет, обратит мое внимание на какую-нибудь книгу или случай какой, скажет что-нибудь (обязательно скажет), клонящееся к тому, «что ничего нельзя сделать...» И совсем неожиданно я свернул в переулок, где жила Агарь.

Маношины трудились на маленьком своем огорожке: Сергей Петрович забивал колышки в грядки, Руфь Марковна подвязывала к ним кустики помидоров, Агарь косенько шла с полной лейкой, а Женечка сидела меж грядок с дикоглазой своей куклой. Фамарь Соломоновна наблюдалась в окошке и смотрела на всех одобрительно. Это была особая семья: все так простецки на меня обернулись и так дружески на меня глянули, что я совсем не почувствовал себя чужим и лишним. Агарь подбежала – ее черные, близкие меж собою глаза светились вопросительной доброю: «Ты че?» Уже давно знала она о моей дружбе с тополем и, услышав о страшной его судьбе, она взметнула брови и растопырила на обеих руках пальчики: «Я счас – переоденусь только». Она убежала и вернулась, сменив сарафан на черное трико и мальчишечью ковбоекку. Явился и знаменитый велосипед: «Поехали». Возле кинотеатра «Луч» мы углядели Софью Николаевну и Машу – они с бидонами стояли в очереди за квасом. Агарь им все рассказала. Маша, не зная как себя вести, сделала неулыбчивые ямочки на румяных своих щеках: «Ну и куда вы теперь?» Агарь расширила черные свои глазки и сказала ужасливым шепотком: «Проститься». Я отвернулся, но услышал голос Софьи Николаевны: «Иди с ними, доча – я сама квас донесу». Посомневавшись, не без печальной чопорности, Маша согласилась, и мы пошли втроем. Хотя нам всем было по одиннадцать лет, Маша выглядела старше и удивляла нас порою повадками вполне девичьими. Так, она решительно отказалась катить на «ве-

лике» и уж тем более бежать за ним «язык высуня». «Вы че?» – урезонила она нас медленным взглядом почти взрослой девушки. Возле почты Агарь приподняла остренький свой подбородок: «Вот здесь его уже было видно...» Мы свернули налево и подошли к моргу. Возле его забора лежали бревна. Я первым на них взобрался и глянул во двор. Тополь мой лежал на земле. Мертвый. Что-то во мне вспыхнуло – «это не он», но тотчас погасло – «он». Я обернулся: Агарь, понунив голову, сидела на велосипеде, уперев одну ногу в забор морга, Маша смотрела на Белую. Осторожно, чтобы не раскатить бревна, я спустился на землю. Потом наверх взобрались девочки и, трогая подбородки, посмотрели вниз. Переговаривались очень тихонечко.

Мы попрощались и разошлись. Я подождал: оглянется Маша или нет. Оглянулась и опустила голову, а Агарь помахала ручкою. Я ушел. Наступал первый вечер без тополя. А река текла, и небо хотело меня утешить – утешить своей кротостью и своим неучастием в странных людских делах. А тополя все равно не было. Это было первое горе в моей жизни.

## 10

За школьным окном шел снег, и пелена его была такой густою, что кроме нее не было видно ничего, и в классе был не свет дня, а таинственное свечение белого хаоса. Миловидные снежинки даже толкались из-за тесноты и оседали вниз, к первому этажу, где на них, вероятно, дивились первоклассники и, я даже улыбнулся, маленькая наша Рабигушка. В другое время ничто не отвлекало бы меня от созерцания таких чудес, но сейчас в класс решительно вошел директор и следом, нерешительно, давно ожидаемая новая учительница литературы. Мужественный Борис Иосифович волевым голосом представил нам очень молодую «выпускницу филфака» с аристократически стройной фигурой и крестьянски вздерну-

тым носиком: «Нина Ильинична Гусенкова». Пытаясь улыбнуться, девушка опустила гладко причесанную голову и, видимо не решаясь взглянуть на нас, глянула на снежинки и снег вроде бы со вздохом облегчения. И все тут же ее полюбили. Я тронул в спину сидящего впереди Степана – он, не оборачиваясь, кивнул головою – все, мол, в порядке. Агарь ко мне обернулась и, сделав ручкою жест от горлышка, возвела к потолку черные, восхищенные свои очи. Маша, уже давно решившая стать учительницей, недвижно смотрела на ритуал представления, словно проницая замороженным взором светлое свое будущее. Знакомясь с классом (всем – «вы»), Нина Ильинична несколько замедлилась на Машиной фамилии – «Миροнова» - и дрогнули вверх ее брови: «Мария...» Порозовев, Маша встала и до неприличия преданно посмотрела в глаза Нины Ильиничны, которая ответила ей тронувшим всех взглядом застенчивого одобрения. Они явно друг другу понравились, и класс затих на минутку, смутившись чувствами добрыми и тайными. Нина Ильинична сказала: «Садитесь, Маша, - и улыбнулась, – Миροнова». «Капитанская дочка», - послышался негромкий ропоток, и все стали смотреть на Машу и оборачиваться на последнюю мою парту. Нина Ильинична, мельком на меня взглянув, сказала легонько и без всякой политики: «А это, вероятно, поручик Гринев?» Класс неопишимо молчал, я, согласно обычаю, изображал свое отсутствие, запылав даже ушами. Маша уткнулась в учебник, а Агарь, в некотором вдохновении, приподняв голову и взор, чуть шевелила тоненькими своими ручками, словно дирижируя слышным только ей хором – хором сердечной таинственности и дружбы.

Знакомясь, Нина Ильинична перестала робеть и сказала нам, что великая русская литература – это не обычный «предмет» вроде химии, а способ сохранения человеческой души и форма праведного ее существования. Мы переглядывались не без удивления – так с нами еще не разговаривали. Подумав, улыбнувшись и решившись, она нам сказала, что очень хорошо понимает неопределенность ны-

нешнего нашего положения: «Вас еще никто не считает за взрослых, но уже никто не принимает за детей, но вы не смущайтесь этим обстоятельством и будьте просто людьми, и все будет славно». Мы молчаливо все это одобрили. Нину Ильиничну так полюбили, что стали слагать о ней легенды: «она синеглазая» - у нее были серые глаза; «у нее муж – Герой Советского Союза» - у нее не было мужа; «у нее пятнадцать платьев» - а у нее было единственное – синенькое, шерстяное. Я очень любил смотреть, как ворсинки этого платья вспыхивали удивительной радужной синевой, когда она стояла возле моего окошка, и морозные узоры на нем казались только что снятой белой кружевной ее шалью. И шали такой у нее не было, но зато был белый кружевной воротник и такие же манжеты, которые она, как «вычислили» наши девочки, надевала всегда, когда в каком-либо классе она «проходила» Пушкина. И не только воротничком и манжетами отмечала она эти, праздничные для нее, дни – надевала еще туфельки на высоком каблуке. Вишневые. Без особых разговоров мы все это очень оценили, и когда она нам сказала: «Сегодня, ребята, мы начнем – надеюсь, на всю жизнь – дружить с Александром Сергеевичем Пушкиным», - мы тотчас поняли всю важность происходящего. Нина Ильинична говорила о Пушкине так просто, сердечно и хорошо, что даже у Ирмы Пачикайте лицо было нежно-задумчивым, а восхищенная Агарь прижалась щекой к Машиному плечу. Я не очень внимал Нине Ильиничне – у меня были свои представления о Пушкине, и чужое мнение казалось мне изначально ошибочным. Я воображал себе Александра Сергеевича жгуче-светлоглазым и смуглым, сердечно-простым и благородным – то усмешливо-мудро, то с веселым, волчьим, женолюбивым оскалом; он понимал всех, оставаясь никем не понятым. Маша, приподняв решительный свой подбородок и опустив взор, очень внимательно слушала, и выражение ее лица удивило меня своим серьезным и раздумчивым отчуждением от пронзительной прелести всего сиюминутного. Я ужаснулся:

«Взрослая...» И печалью подернулась душа: «Прощай, маленькая Маша, прощай, воробушек мой».

Даже не постучав, в дверь просунулась подруга Нины Ильиничны, наша «историчка» Элла Александровна: «Нин, Нин». Нина Ильинична вышла и вернулась со странным лицом и заканчивала урок без прежнего подъема, в состоянии печальной и тревожной рассеянности. «Что-то случилось», - сказала Агарь, когда мы одевались на вешалке. Маша сложила в мешочек для сменной обуви пунцовые (как и пять лет назад) свои туфельки, передала его мне и вздохнула: «Что-то случилось».

Мы шли сквозь снегопад, и девочки осыпали нас дружескими укоризнами за то, то мы «тянем» со стенгазетой – до Восьмого марта оставалось меньше недели. С вялым достоинством перечислили мы со Степой все отговорки лодырей и «железно» заверили «актив» о скором своем исправлении. А снег шел. Господи, какой снег... Входя в наш двор, я остановился от нежности – был не день и не сумерки, а величайший снегопад; неправдоподобно медленно он оседал покачиваясь, а навстречу ему, казалось, возносился к невидимым небесам наш старый и добрый дом. Крутая его крыша и островерхие башенки живо напоминали мне Диккенса, которого мы читали по вечерам вместе с Машей. Сказочная выразительность события затуманила мне душу почти сладкой печалью – печалью русских песен, дворянских стихов и нового вопроса: куда исчезла маленькая Маша. Я так задумался, что спросил вроде бы вслух: «Маш, ты где?» А снег шел и шел... «На землю», - успел сказать Диккенс, падая и умирая, и на земле падал медленный снег, сквозь который, как добрая его душа, возносился к небесам наш «общий друг» - старый дом. Я улыбнулся: «Здравствуйте, мистер Диккенс». И в доме зажглось окно. Желтенькое. Одинокое.

Дома я обнаружил записку: «Слушай радио». Почерк бабушкин. Включил – музыка. Вроде печальная. Печальная. Поел, посидел, свет зажигать не хотелось, а тихая и прекрасная музыка посте-

пенно становилась угрожающей. Я подошел к окну и посмотрел на то место, где раньше стоял мой тополь – оно еще не зажило и по-прежнему казалось чужим и странным. Печалилась музыка, смеркалось, и вдруг вспыхнул свет. Я очнулся: пришел отец и, раздеваясь, спросил: «Ты слышал?» - таким тоном, что мне почудилось, будто я подошел к самому краю высокой и скользкой крыши. В тишость вечера и уже привычного прощания с тополем неожиданно и грубо вторглась внешняя людская жизнь. Мелькнуло тягостное отчуждение: «Что там у них – война, что ли?» А снег за окном плыл и плыл, как душа после вечернего чтения. Посмотрел на часы – рано еще. Донеслись слова невероятные и негромкие: «У Сталина инсульт. Вероятно, сынок, мы скоро осиротеем». Я поднял голову – музыка замолкла, и отец показал пальцами: «прибавь звук». Голосом государственным и искренне печальным перечислял Левитан непонятные медицинские слова, невольно-безжалостно сопрягая их с именем родным и беспомощным. Мне показалось, что диктор сам не верит страшным своим словам.

Отец погасил свет, тут же зажег и вышел курить. Взволнованные, но не печальные, пришли бабушка с крестною и стали смотреть медицинский справочник. Примчалась мама – с разбегу раздеваясь не у вешалки, а среди комнаты, она скороговоркой объявила нам общественное мнение: «Сталин помрет – народ сопьется – весной не понизят цен». Бабушка с важностью подняла голову от медицинского справочника: «Какие вы все паникеры – сейчас со всего мира нагонят медицинских светил – они примут меры – сейчас такая медицина...» Отец скривился: «Нагонят... светил... Вы, Александра Алексеевна, как пятилетняя – какие мировые врачи, когда в своей стране они оказались изменниками и отравителями». Бабушка с достоинством на него посмотрела: «Это вы, Алексей Васильевич, пятилетний или не знаете, что любая вина может быть доказана только в открытом суде, а не до-но-сом какой-то медсестры-полудурки». Отец собрался возражать: «Тимашук не медсестра,

а...», но мама его перебила: «Молчи, Леш, и ты, мама, молчи, а я вот думаю, что гораздо хуже, и Нагимуша тоже говорит, что Сталин уже умер, а нас это так... вроде подготавливают». Мы все переглянулись в недоумении тягостном и горестном. Я надел тулупчик и вышел. В полутемном коридоре наши мужики курили на корточках и рассуждали о сроках жизни. Я курнул пару раз из Юриной папироски и стал слушать, как Виктор Иванович рассказывал, что у его Зойки (снегурки) есть черепаха, которой пятьсот лет. «Как ты это узнал, Витя?» - спросил Юра вполне вроде бы безобидно, но Виктор Иванович осерчал: «Морда у ней морщиниста... и...лапки». Юра покуривал с лучезарной сонливостью: «И у тебя, Витя, морщин немало». Я подумал: «Господи, о чем они», - и пошел на Белую.

Снегопад перестал, но черное небо на западе обещало скорое его возвращение. Я думал о том, что переживают сейчас Маша, Агарь и Степа – как они там?

Дома, посмотрев на часы и зная Машенькину верность слову, я сел читать «Давида Копперфильда». Иногда неожиданно я поднимал голову: «Сталин...» А наутро, в школе, праздник всеосвещающего сияния снегов странно соседствовал с тризной печальной новости. Но как обычно, мальчишки носились по коридорам, а девочки степенно беседовали возле горшков с цветочками. Все как всегда. Странно. Поговорили немного о Диккенсе, и Маша сказала, что ей «очень» нравится, но, выяснив, что из-за газеты я отстал от нее только на страничку, строго сказала: «Не успеете». Агарь (они со Степой уже прочитали эту книгу), сияя своими глазками, не без политичности спросила: «А правда, наша Маша похожа на Агнесс Уикфилд?» Маша с нетерпением ее перебила: «Гарька, эти друзья газету заваливают...» Ее приличное и несколько удивленное негодование как нельзя лучше было подкреплено не только уютной ее дисциплиною, но – и это самое главное – самой нежной на свете шейкой, самими цветущими щеками и, казалось, растущим на гла-

зах, видным даже сквозь черный фартучек, молодым великолепием сказочных, таинственных ее грудей. Я аж вспотел. А Степа сказал осмелившись: «А вдруг он помрет, и газета не нужна будет – траур...» Маша прикрыла желтенькие свои глаза: «Не помрет», - с таким видом, словно в ее власти были жизнь и смерть человеческая. А она, в сущности, и была... В кругленьких, полудетских, божественно-прекрасных ее руках... Агарь вздохнула: «Лодыри вы... - и добавила: - Не помрет».

Наутро, еще затемно, к нам постучался сосед: «Умер». Мы тотчас включили радио и услышали невыразимо печальную и до странности прекрасную музыку. И странно было догадываться, что только смерть вызывает к жизни эти прозревающие, иные миры, явно неземные звуки. Позже я узнал - Моцарт, «Лакримоза». Слезная, значит. Реквием.

Опустив руки и высоко подняв брови, отец недвижно стоял возле круглого, черного-черного радио, и слезы текли из невидящих его глаз. Было жутко и, на самом краешке души, смешновато. У мамы вмиг отекло лицо, она одевалась медленно и, видимо, ничего не понимая. Бабушка готовила утренний шиповник с видом почти неприличного стоицизма – она была убеждена, что демонстрировать свои чувства так же недопустимо, как ходить голым, сквернословить при «дамах» и есть пирожки на улице. Сообщения еще не было, и я на что-то надеялся.

Музыка прекратилась, и тишина увеличивалась, как капля в кранике. И вдруг Левитан начал нестерпимо медленно: «От Центрального Комитета...» Я закрыл глаза и открыл их только тогда, когда уже не было с нами родного товарища Сталина. Не было.

Я надел тулупчик и без шапки вышел во двор. Сарайчик Виктора Ивановича был открыт, и он стоял возле своего мотора с керосиновой лампой. Видно было, что он ничего не знал. Я подошел и, поздоровавшись, сказал ужасное известие. Вероятно, давно и много передумав, он вздохнул: «Отмучился... поддержи-ка лампу вот, воз-

ле втулки – я ковырну пару раз». Я подержал и пошел к заветному местечку между двумя сарайчиками – нашим и Елены Григорьевны. Раньше тут было хорошо сидеть на мяче и смотреть на тополь. Здесь же полтора года назад я схоронил своего Лобика, которого рабочие с лесопилки все же распилили надвое. Я постоял над его могилкою, посмотрел туда, где жил мой тополь и, озябнув без шапки, пошел домой. Шиповник пили в молчании – отец был суров, а мама плакала.

Со своим рулончиком стенгазеты я пришел в школу раньше всех – было еще темно, и уже седая Маргуба Галеевна открыла мне двери, отворачивая заплаканное свое лицо. Я включил в классе свет, сел за парту Маши и Агарь и стал смотреть на портрет товарища Сталина. Господи, какие добрые, какие ласковые у него глаза. Только на мгновение правильное мое горе осветилось вспышкой неправильной и животной радости: сейчас придет Маша. И Агарь. Пришел Степан и, посмотрев на темно-синее окошко, вздохнул: «Да, брат...» Он присел на парту и, опустив голову, сказал: «У мамы был сердечный приступ, я бегал... неотложку вызывал... из автомата. Укол они сделали... - Растерянно обернулся ко мне. - Не знаю – как она там...» Я посмотрел в поникшее родное лицо Степана и круто смутился сердцем. Мы обнялись – внезапно, неуклюже и молча. Потом застеснялись и посидели, задумавшись. Степа взял с батареи и развернул рулончик стенгазеты: «Ничего... Жалко, что не понадобится – я ведь как чувствовал». Пришли Маша и Агарь. Вздохнули вместо приветствия. Мы к ним подсели. Совершенно по-взрослому шевельнув изумительными бровями, Маша сказала: «Ну что же, все-таки семьдесят три года прожил...» Агарь добавила: «И семьдесят три дня». Дрогнула ножкой, собираясь сделать танцевальное движение, но опомнилась и встала очень ровненько. Мы все ворохнулись и стали подсчитывать на бумажке. Удивились – «точно». Не замечая кощунства, друзья мои принялись рассуждать о преемнике товарища Сталина. Маша сказала –

Молотов, Степа - Маленков, а Агарь, грозно и доблестно нахмурившись, выпалила полудетским своим голоском: «Бу-у-денный» и показала пальцами усы. Я хохотнул, а Степан сказал назидательно: «Дитя мое, Кремль – это не приют для слабоумных». Я состроил ангельски-ханжеское личико и сказал «Машиным» голосом: «Ты, Курпей, доболтаешься». Маша одарила нас снисходительным взором невыносимой мудрости и уточнила: «Вы с Курпеем доболтаетесь». Степа хлопнул меня по плечу: «Пойдем, брат, покурим перед виселицей». Маша на меня уставилась: «Си-ди». Агарь глянула на свои часики: «Стень, чичас звонок». Степа вернулся – звонок прозвенел, урок начался.

Прежде рассказов о безобразиях Кромвеля, Элла Александровна предложила нам встать еще раз и почтить минутой молчания светлую память товарища Сталина. Все, кроме Пачикайте, дружно встали – Ирма медленно и неохотно приподнялась самой последней и стояла, согнувшись над учебником и держась рукой за поясицу. Только на ней одной был не черный, а белый передничек. Скромная и приличная, вроде Маши, Света Мухаметшина легонько к ней прикоснулась: встань, мол, как следует. Ирма спокойно к ней обернулась и еще спокойнее села на свое место. Степа ко мне обернулся и шепнул почти с уважением: «Во... деваха». Я кивнул: «Крепкая».

В день похорон мы пошли с мамой в очередь желающих поклониться памятнику товарища Сталина. Возле крыльца встретили Ирму. Пригласили ее с собою. Девочка загадочно улыбнулась: «Праздники я праздную сама». Мама склонила голову: «Господи» - и прибавила шагу, а я подмигнул уже осерьезневшей Ирке – святая ее прямота чрезвычайно меня трогала. Я никогда не ходил на праздничные демонстрации, и количество людей меня поразило – очередь была многоверстной. Под серым небом, по белой земле еле двигался черный поток толпы. Люди негромко переговаривались, и меня удивила редкость подлинно скорбных лиц. Запах, обещающий весну, странно соседствовал с неопределенностью

громадного человеческого сборища: вроде бы скорбь всех собрала, но разговоры велись самые обыкновенные. Я вспомнил: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим; И не введи во искушение, Но избави нас от лукавого...» «Помолюсь вечером», - сказал я себе, и тотчас узнал Машу. Софья Николаевна говорила с моей мамой, а Маша дернула меня за рукав: «Очнись, привет...» Мы разговорились, и как всегда я думал помимо слов: «Сталин умер... а Маша цветет...» И краешком души чудилось мне, что девочка сама удивляется новизне своего первоцветения - так маленький Лобик удивлялся порою на свой хвост и оставлял его с важным спокойствием, убежденный в естественной его необходимости.

Мама прервала разговор восклицанием: «А вон Маношины – Сонь, пойдем». Софья Николаевна замаялась, и я понял почему – после январской шумихи с «еврейскими» врачами многие сторонились Руфи Марковны – и еврейка и врач. Многие, но не моя мама. Я улыбнулся: если маме давали «линованную бумагу», она обязательно писала поперек. Так, в 37 году, когда она выходила замуж, а перед этим арестовали ее отца, то подружки ее радовались: «Вот, Галка, замуж выйдешь – сменишь фамилию, чтобы не придирались насчет «врага народа». «Фигушки», - сказала мама и показала подружкам аж два кукиша. Так и остались мы с нею при разных фамилиях. Как ни странно, из университета ее не исключили (дипломница), а из комсомола ее изгнали еще в пятнадцатилетнем возрасте за участие в нудистской демонстрации: ошалевшая от демократии толпа подростков прошла под безобразными лозунгами, в совершенно голом виде по главной улице Ростова, притихшего от революционной такой наглости. Мама и ее задушевная подруга Капка шли в первом ряду и несли на шестах лозунг - «Долой стыд!» Бабушка сидела на балконе своего дома и вместе со своей кузиной княжной Натальей Белосельской дивилась на ужасное падение нравственности. Грациозно склонившись к бабушке, княжна «На-

талочка» осторожно сказала по-французски: «Шурочка... а ведь это... Галочка...» Бабушка тщательно отрегулировала перламутровый театральный бинокль и, увидев совсем голую дочку, решила ее убить, прекратив тем самым страдания внезапного девичьего безумия. Но дедушка не дал убивать «дуру», а, отобрав у бабушки топор, стал колотить им лучинки для самовара, наблюдая, как жена его, совсем уж не по-дворянски, таскает дочку за волосы по всему двору, разметав швейцара, собак и дворника. Княжна застыла на балконе и ела мороженое, не открывая от страха прекрасных своих глаз. Девочка не плакала, напротив – воздух звенел от возмутительных лозунгов: «Палачи, долой стыд... Варвары, долой самодержавие... Идиоты, да здравствует эркаэсэм!» С Капкой-подружкой обошлись суровее – подполковник Шестопал (бывший, конечно) выбрил дочке одну половину головы, а потом, сжалившись, другую. Капитолина стала носить косынку, назло – красную.

Очередь продвигалась медленно. И за половину дня мы прошли только до краеведческого музея, возле которого к нам присоединился Сергей Петрович с маленькой Женечкой и живыми цветами. Когда мы подошли к памятнику, Женечка стала главной меж нами фигурой – к самому монументу офицеры из оцепления пропускать только маленьких детей с цветами, и все мы отдали крошке свои букетики, почти у всех – самодельные. «Они даже теплее», - сказала Руфь Марковна, и Агарь торопливо ее поддержала: «Аха, аха». Маша ничего не сказала, покраснела только – она сама букетики делала. В черной шубке с красным кушачком и красным шарфиком, румяная и черноглазая Женечка понесла к памятнику искусственные и живые цветы с ребяческой важностью. Женечка, конечно же, отличилась – перед постаментом, где лежала гора цветов, она сняла калошки и, положив букетики, радостно засемила к нам. Потом все целовали Женечку и говорили, что она почти умная. «Полу-умная», - простодушно сказала Женечка, вколачивая в

калоши черные свои валеночки. Офицер, принесший калошки, долго стоял задумавшись.

Перед тем как расходиться, Маша посмотрела в бежевый свой блокнотик и сказала мне страницы, которые я буду читать сегодня вечером. Я записал. Прощаясь, все говорили бытовые, невыносимо скучные слова, Женечка что-то тихонечко напевала, Агарь махала ручкою, а Маша, держа под руку Софью Николаевну, смотрела вниз, очевидно уясняя себе свое настроение. Отчего-то у меня сжалось сердце – «Ма-ша», и я оглянулся на товарища Сталина. Гранитный, высокий, в длинной кавалерийской шинели сверху вниз, через плечо, вождь внимательно прищурился на непонятный свой народ. Я подумал: «Прощай, отец», - и обернулся к Маше. Они уже уходили, но она, тоже случайно, обернулась, и осветилось не улыбочивым беспечалием ее небесной простоты лицо. Не без робости она показала мне свою рукавичку – пока, мол. Солнышко мое.

## 11

Мы с мамой пошли к Николаю Андреевичу – там нас ждал отец и «поминки» по товарищу Сталину. По дороге я вспомнил, как Агарь, после многочасового нашего топтания заявив, что если она сейчас что-нибудь не съест, «то умрет в страшных корчах», и, собрав «денюжки», умчалась куда-то за «тошнотиками». Вскоре она явилась, и все ели пирожки с печенкою, все – но не Маша. «Это неприлично», - сказала она и, вздохнув, продолжала читать «Занимательную физику» с несколько возвышенным видом. Голодная.

Николай Андреевич уже давно женился, и дверь нам открыла его дочка Наталья – существо пятилетнее и мрачное. Глаза ее полностью были закрыты челкою, нос – щеками, и пещерный ее вид вполне соответствовал угрюмости ее мировоззрения. «Приперлись», - сказала она хрипловатым шепотком и, повесив голову, ушла в комнату, не отвечая на наши приветствия. Отец и Николай Ан-

дреевич уже сидели за столом при всех своих орденах и медалях – для них товарищ Сталин прежде всего был Верховным нашим Главнокомандующим. Уныло и безнадежно беседовали фронтовики о грядущих в Кремле переменах; женщины хлопотали на кухне – мама к ним присоединилась. Я вспомнил, что Нина Ильинична всем нам, участникам литературного кружка, дала номер телефона квартирной своей хозяйки. У Николая Андреевича был телефон, и, посомневавшись, я решил позвонить человеку, которого уважал, не повинуюсь долгу, а с чувством симпатии и любопытства. «Над вымыслом слезами обольюсь», - в ее устах вовсе не казались цитатой, а простодушной, вскользь упомянутой самохарактеристикой. Я протиснулся к телефону и набрал номер, показавшийся мне тайно-многозначительным во вдруг наступившей тиши – «Так суеверные приметы Согласны с чувствами души». Раздался голосок встревоженный и милый: «Слушаю». Я представился и сказал, что в такой горестный день вспомнил ее и стихи Пушкина, которые Александр Сергеевич, казалось, создал именно о ней. Я слышал ее дыхание: «Право... я очень тронута... а вы... помните эти стихи?» Я вздохнул, отвел взгляд от внимательной челки и сказал: «В тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный и правды пламень благородный и как дитя была добра...» Я перевел дух, а Нина Ильинична явно улыбнулась в тишине и продолжала с медленной и загадочной веселостью: «смеялась над толпою вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо набело». Я засмеялся от радости, тоже ее поблагодарил, и мы расстались совершенно дружески. Наташка пожевала почти не видными из-за щек губами и сказала с унылой своей хрипотцой: «Зачем унижался?» Я посмотрел на зеленый ее фартучек, на коем было вышито - «Наташа – радость наша» - и спросил сурового ребенка: «У тебя какого цвета глаза?» Дитя задумалось. Надолго.

Меня позвали за стол. Николай Андреевич встал со стаканчиком в руке и, ни на кого и никуда не глядя, устало сказал печальные слова о потере невозполнимой и еще не до конца всеми нами осознанной. Не чокаясь, они выпили. Когда все уселись, и я «положил глаз» на пельмени, мама пугливо меня одернула: «Ты что, сначала блины и кутю – порядок такой». Я вспомнил, смутился и едва начал вспоминать про себя «Ныне отпускаеши», как под столом с меня начали снимать валенок. Я нагнулся: «Чего тебе?» В полумраке Наташка держала ладошку на лбу: «Вот какие у меня глаза». Я взгляделся: «Нормальные – отдыхай». Елена Никаноровна, души во внучке не чаявшая, сказала с ласковой таинственностью: «Это что у нас за дух подземный такой?..» Дитя принялось завывать под столом и весьма кстати, ибо отец ее говорил вещи страшные: «Пропадет без Сталина Россия – без хозяина ей хана».

И начался ад: женщины громко удивлялись, но не на погибель Отечества, а на некий кулинарный рецепт, фронтовики горячо спорили о «запоздалом» сталинском приказе № 227, Наташка дула мне в ухо и канючила: «Ну че мне делать...ску-у-чно», пельмени обжигались, а во дворе кого-то били. И кричали. Я оцепенел, ожидая покоя, и постепенно все утряслось – женщины унесли на кухню свою трескотню, пельмени остыли, а художники обсуждали легендарный приказ № 227 уже степенно. Наташку я усадил поливать слезами цветы, а побитый насвистывал за окном «польку Ребикова». Так, по крайней мере, мне сказала Наташка, которую чуть ли не с трех лет начали мучить музыкой. Как бывало уже не раз, после нервотрепки во мне помимо сознания стали возникать словосочетания, взыскующие себе подобных. Я знал, что словесный поток вернется ко мне вечером перед сном и не дал воли своему воображению, тем более что избалованное дитя стонало над моей душой: «А у меня слез нету...»

Стали пить чай. Последнее созвучие угасло во мне, и я подивился неожиданной его странности – «...излучинка брови». Вроде я

и слова такого не знал. Значит, знал. Улыбаясь про себя, я вспомнил, что еще в третьем классе сочинил первое в моей жизни стихотворение. Все крепко обдумав, я решил показать его Маше и Агарь. С очень достойными лицами девочки выслушали: «Околоколенное небо». Встрепенулись: «А дальше что?» - «Ничего». Узенькое личико Агарь совсем вытянулось: «Только два слова...» А Маша решила: «Дальше сочиняй». Недели через две я принес «продолжение»: «Важнее мяса, соли, хлеба». Агарь прикрыла глазки: «Замечательно». Маша вздохнула: «Это лозунг, а не стих». Еще раз вздохнула: «Вот я у бабушки в сундучке нашла открытку старинную – «С Рождеством Христовым» - и там очень хорошие, настоящие стихи». Агарь к ней приласкалась: «Маш, почитай ему...» Маша огляделась – никого, кроме нас, в классе не было – и, встав ровненько, начала с «выражением», как на утреннике: «Вечер был... Сияли звезды... На дворе мороз трещал... Шел по улице Сиротка – посинел и весь дрожал...» Мы даже не переглянулись, а просто слушали тишину – тишину удивительную и совершенно особенную – таинственный ее покой до сих пор вспоминается мне как самое первое в моей жизни прозрение. Даже, пожалуй, не прозрение, а встреча с тем тихим миром, где вместо солнца светит жалость, а смирные и слабые люди надеются, верят и ждут...

## 12

Вечером, засыпая на печке, я помолился за упокой души товарища Сталина и перестал фантазировать о чудесном его воскрешении. Еще вчера у меня радостно заходило сердце от вероятного (а вдруг!) превращения слез безнадежной горести в слезы восторга от величайшего на свете чуда – чуда воскрешения. Сегодняшние похороны, казалось, узаконили нелепейшую смерть, но открытые двери Мавзолея оставляли слабую, тайную, полубезумную, но все же – надежду. Тень ее. Я лежал весь в слезах, желая избавиться от

вновь нахлынувшего потока слов, которые сами себе выбирали соседей, меняясь местами или беспечально исчезали, словно догадываясь об иной своей пригожести. Я припомнил все слова, которые «некто» во мне оставил от хаоса созвучий, и получилась череда слов, меня самого удивившая: «Свежий траур державы...печально неясен... Как излучинка брови над сыростью ясель...» Я очень крепко задумался, стараясь проникнуть в тайну словес, которые росли во мне незаметно, как волосы, и вроде бы проник: «сырость» - это вроде бы от того, что в сообщениях о болезни Иосифа Виссарионовича упоминалось моча, а «ясли» получились от того, видимо, что, желая еще крепче полюбить товарища Сталина, я часто воображал его совсем-совсем маленьким. Словно договорившись с собой, я не стал топорщиться против вновь поплывших созвучий: «Не встревожит ничьи первобытные сны Излукавленный ветер над успеньем весны... - Я повернулся на другой бок. – А весна, наклонив чернокрасье знамен, Поднимает ресницы перемены времен, И глаза смотрят просто, В них неслышимый вой - Это место погостов Было раньше страной». «Погост, - утешал я себя, - ведь это не только кладбище – раньше так называлось селение или крепостица какая». Полежал, подумал, вспомнил маленького «Сиротку», и нынешние созвучия показались мне странными, недобрыми и совершенно чуждыми, как звуки неродной речи.

Мне было уже четырнадцать лет, но детская проницательность еще меня не покинула: я смутно догадывался о бесовском обаянии подсознательных движений души. Почти с раздражением отмахнулся я от наглых непонятностей и принялся думать о людских странностях: как мало среди множества плачущих лиц видел я сегодня слез истинно горестных. Вероятно, это лукавство скорби напомнило мне прямодушие Ирмы Пачикайте, и ее белобрысость и правдивость почудились мне ясными, хрупкими и отлетающими, как слово «сестра». Думал: «Колдунья, мятежница, и вот – сестра». Господи, опять: «Сестра, мятежница, колдунья... а в небе серебристость золота И тонкий

серпик новолунья без перекрестья молота...» Я отряхнулся, зарылся головой в подушку и поплыл в спасительные сны.

Утром я потоптался у крыльца, не вдруг сообразив, что поджидая, когда Ирма отправится в школу вместе с гордым своим одиночеством. Вроде светало. Была еще совсем зима, но и весна уже чувствовалась – я начал ее высматривать, озираясь почему-то с осторожностью. «При-и—и-вет, - пропела Ирка, - ты че, дорогу в школу забыл?» «Аха, - отвечал я с радостью, - жду вот тебя, как Ивана Сусанина». Полувздохом, полувзглядом Ирка дала понять, что не воспользуется мощью своего остроумия, и мы пошли вместе, помалкивая. Малоаметность утра вроде бы перестала смущаться, и столбовой рассвет неспешно всплывал дымами в огромность светлеющих высот. Солнце еще не взошло, и светились только небеса – светились под скрип снега и таинство девичьего дыхания. Ирка шла непривычно смирной и тихонькой, невольно подчиняясь безмолвию утра и дружеского к ней расположения. Прежде чем раздеться на вешалке, девушка приняла вид безразличной значительности, и я понял, что случилось нечто важное. Конечно, важное – новый свитер. Уже зная, что у них обнова приравнена к событиям эпохальным, я принял вид, что пошатнулся разумом: «Па-ра-диз». Ирка опустила зимние свои реснички: «Да вот, сама связала». И была она до того на себя не похожею, в молчаливом, крохотном своем счастье, что я тотчас постановил: «В Париж – на выставку красавиц – не-ме-длен-но». Ирка улыбочиво нахмурилась и, толкнув меня ладошкой, побежала вверх по лестнице – веселая такая побежала. Я улыбнулся ей вслед: «Эх ты, соломинка», - и пошел в коридор первоклассников, откуда доносились привычные звуки ада.

Средь воплей, стенаний и зубовного скрежета мечущихся полчищ челочек и бантиков, Маша и Агарь белоснежным бинтом ангельски тихо перевязывали голову, ну, конечно же, Женечке, неудачно вскочившей в новое (и уже бывшее) зеркало. Впрочем, «горошину» не столько перевязывали – крови-то не было, - сколь спа-

сали ее красу, прибинтовывая ко лбу противосинячный пяточок. Была у меня примета: дабы весь день был удачным, я должен был с утра посмотреть в детские глаза – глаза Бога. Я присел перед Женечкой – она стояла серьезная такая, сдвинув бровки и почему-то держа руки самолетиком. Маша мне улыбнулась и продолжала с «профессиональным» бесстрашием вертеть бинт, а Агарь, как часто с ней случалось, вдруг растрогалась: «Вот... когда вы поженитесь, у вас будет дочка, как Женечка, и по утрам вы будете собирать ее в школу». Маша пошатнулась от очередного толчка и, с некоторым отчуждением от пронзительной прелести сиюминутного, сказала простенько, как в детстве, но с новым оттенком взрослости: «А я хочу, чтоб тогда у нас был мальчик». От такого простодушия я пришипился на своих корточках и мысленно возроптал, как всегда, когда моим будущим занимался не Господь, а люди. «А-а-а... испугался, - начала было Женечка протяжным «сказочным» голоском, но передумала и стала стращать подружек. - Я вас шас кусать буду – на-доели». Вверх-вниз двигая свои ладошки возле ушей, Агарь собралась что-то станцевать, а Маша подняла на руки Женечку, и они там бодались, кусались, целовались, ну, а я поник головою: «Сталин умер, а им хоть бы что... веселятся вон даже». «Это жизнелюбие», - сказал позже Степан, а я не знал, что ему сказать.

Звонок прозвенел: урок начался. Как ни в чем не бывало продолжила Элла Александровна разоблачать заблуждения Оливера Кромвеля и ошибки буржуазной английской революции, которые, впрочем, произвели на классовое сознание гораздо меньшее впечатление, чем новый Иркин свитер. Маша Шульц даже срисовала его узор (или фасон) на дико-розовую промокашку, Агарь из маленьких своих кулачков смотрела на него «в бинокль», а вот Мария Михайловна на него не глянула – строгая девушка. Элла Александровна тараторила так плавно и равнодушно, что я, не веря ни одному ее слову, тотчас переключился на обычные комбинации своих воспоминаний, на сей раз вчерашних.

Не без тревожного недоумения вспомнил я застольное единодушие фронтовиков, убежденных в опасностях, грозящих России, лишившейся твердой руки товарища Сталина. Отец говорил: «Достойных наследников у него, конечно же, нет, и я, Коль, боюсь, что Маленков, увлекшись «строительством», ослабит дисциплину, а это – крах». Николай Андреевич горячо с ним соглашался, и слово «дисциплина» и подтверждающий его крепко сжатый кулак занимали важное место в беседе друзей. Я чувствовал, что разговоры их не надуманны, как большинство человеческих «мнений», а вытекают из личного, особенно военного, их опыта. Фронтовики порешили, что «дисциплина для всех» - это высшая форма справедливости, и только она может спасти осиротевшую Родину. «Дисциплина, - думалось мне, - какое интересное, какое загадочное слово – оно было вроде к чему-то прилеплено и торчало из него что-то остренькое, страшноватое». Я задумался очень крепко: «Дисциплина... слово как заплата... пелены... распятого Христа... И свисают на него охвостья... дремлющей свирепости кнута...» Я вздохнул: вроде «ниче», но ни о чем и, спасаясь от словесного наваждения, я глянул в окно и чуть не вскрикнул от восхищения – весна.

Совсем весна. Солнце было на новом месте и ребяческим сиянием своим обещало новоселье и нашим обнадеженным весной еще молодым душам. Я лег головою на локоть и, от радости вцепившись зубами в рукав, мысленно поздоровался с весной: «Здрассте». Белая и голубая, сизая и ослепительная – весна была легонькой, как пар, прозрачной, как капля и, как сосулька, хрупкою. Нежная. Как улыбка полупроснувшегося младенца, она была четкою, как нутро ручных часиков, а местами недоуменно дымчатой, как утренний, только что открытый взор. Я оглянулся в класс и не вдруг после весны, разглядел сонливую его сумеречность – Агарь явно спала с открытыми глазами, а Маша, держа линейку в немислимо плавной ручке, втихаря заполняла санитарную свою тетрадочку, и опасливое, тихо-цветущее ее приличие поразило меня, как знакомая но-

вость знобящего таинства весны. Позже, в течение многих лет, я пытался изобразить это таинство (и его тоже) в несчастной своей картине, но деспотизм жалости к «сиротке» погубил смелость моего воображения, ибо чувства человеческие, казалось мне, требуют почти суровой сдержанности и скромности.

Почувствовав мой взгляд, Маша обернулась и, вопросительно помаргивая, глянула на меня так до оторопи знакомо, привычно, что я невольно почувствовал вечность, в которой постоянно встречались наши души, жизни и взоры. И, пожалуй, будут еще встречаться. И еще. Всегда. «Всегда...», - думал я, глядя на портрет товарища Сталина, и косая черно-красная ленточка придавала какой-то особый и новый смысл этому замечательному слову – «всегда»...

Очевидно, возмущившись, Элла Александровна поставила меня «столбиком» и спросила, о чем я думаю. Согласно обычаю, я уныло молчал, а класс оживился предположениями – «о ЦСКА, о буфете, о Мироновой и даже о конце света». Элла Александровна вздохнула и задала мне вопрос о гражданской профессии Кромвеля. «Мясник», - отвечал я тоном, почему-то очень развеселившим все общество – смеялись все; даже Маша, порозовев, морщила в улыбке губы, рассматривая черный свой фартучек. Агарь «прямо угорала», а Ирка, взволнованная успехом своего рукоделия, успела «выдать» меж своих смешков: «Да все же революционеры – мясники». Элла Александровна поникла: «Па-чи-кайте, Па-чи-кайте», - а я опять уставился в ласку сталинских глаз. Смотрел и, вероятно, с помощью сияющей весны, я только сейчас заметил в победной полуулыбке вождя легчайший оттенок несколько смущенной скромности. Это меня тронуло, и я еще сильнее почувствовал едва заметное единство весны, Маши и вождя – единство, которое, порою, мне давно уже мерещилось. Да: время года, девочка и вождь были, казалось, освещены всесоединяющим светом естественного, как весна, «правильного», как Маша, и надежного, как товарищ Сталин, порядка вещей. Он, этот порядок, казался мне незыблемым,

как твердь берега, которую ощущаешь, бегая по плывущим в ледоход льдинам. Олицетворением этой же правильной тверди казался мне школьный хор, в коем Маша и Агарь пели по праздникам, а упражнялись по средам и субботам, когда мы со Степаном покуривали в котельной, их поджидаячи. Ах, какой это был хор! Девочки пели в нем так самозабвенно и старательно, словно встречались и прощались с жизнью. «Это молитва!», - думалось мне с тихой и тайной радостью, когда Маша и Агарь, розовея от душевного серьеза и берясь в нужных местах за руки, пели в хоре «Радостную песнь о великом друге и вожде». Брови и шейки девочек тянулись вслед отлетающим от них словам – душевным и возвышенным: «Сталин – нашей юности полё–о–от». Летом красным цвели девичьи щеки и галстуки и чистотою зимы светилось белоузорье воротничков, белоснежье фартучков и бубенчики ослепительных гольфиков. Ах, какой это был хор... И как много стояло за наивной его праведностью: и восторг приличия, и гордое одиночество нашего Отечества; и синяки и кровоподтеки чеховских чувств – «похожих на нежные, изящные цветы»; и переливчатый шелк и златошвейный бархат чужеземных знамен, повергнутых перед нашим усталоспокойным вождем; и святое безумие Победы, и натужно-разухабистая мощь державы, и легкомысленная тишь весны, и белые-белые бантики, послушно склоненные над еретической простотою старых и добрых книг. Весна стояла за этим хором – та самая нежданная-негаданная и кареглазая весна, которая, наклонив чернокрасье знамен, поднимала ресницы перемены времен.

Мы шли из школы, удивляясь, что к вечеру подморозило. Неожиданно Степан сказал без всякого пафоса: «Сталин умер, но дело его живет, - и добавил, - и душа». Все молчаливо согласилось: Агарь смотрела в нежный горизонт, Степа – себе под ноги, очевидно удивляясь, что снег скрипит совсем по-зимнему. Маша украдкой одобрительно на меня глянула, и кто-то страшно закричал вдали.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

Тихий, неяркий летний день. Не спеша, споро и почти бессознательно мы пилили дрова, совершенно позабыв о времени. Ритмично рыская опилками, пила двигалась так легко и послушно, что казалась одушевленной. «Ты хорошо её развёл, - кивнул Юра, - ишь, как летает».

Попривыкнув, пилу не слышишь, и она не мешала нам думать, наблюдать и обмениваться фразами. Порой совсем неожиданными. Запах опилок и свежесть близкой реки ободряюще вплетались в благодать нашего настроения.

Радуюсь телесному счастью и несомненности нашего занятия, я мотнул головою: «Хорошо». «Ещё бы», - выдохнул Юра так быстро, убежденно и естественно, что я невольно улыбнулся простоте и легкости человеческого взаимопонимания. Разговорчики «меж дел» очень нравились мне своей явной искренностью и неявным своим смыслом; я любил их вспоминать, удивляясь, что время, ничего не меняя, выявляет истинное их значение.

Вспомнилось, однажды меж дел мама нас спросила: «Как настроение, товарищи?» Бабушка, лепя пельмень, её урезонила: «Вот советский вопрос. «Настроения», Галя, бывают у кухарок, лакеев и горничных... Закрой рот (это мне)... А люди порядочные, люди воспитанные просто не имеют права ни на какие кривляния души...» Я улыбнулся, вспомнив недвижную оторопелость маминого лица, и улыбнулся ещё шире: с точно таким же выражением к нам сейчас подходил Степан Курпей, приподняв, однако, ладонь приветственно. Для приличия похвалив нас: «У-у, сколько намахали», он сел на чурбачок и стал выпускать из кулака опилки с видом задумчивым и печальным. Однажды он обронил мимоходом: «Опилки – маленькие трупики дерева...»

Кивая головой, подошла курочка-ряба и, расшвыряв в опилках ямку, уселась в неё, оправившись стоном и крыльями. Задумалась. Степа мельком на неё глянул и, явно не увидев, приподнял светлые свои брови:

«Сейчас по радио постановление передавали... о культуре личности... - Оглянулся. - Получается, что Сталин прохиндей был».

Пила остановилась. Сама. Стало значительно, тихо и стыдно. Степан смотрел испуганно и ожидаючи; ветерок шевелил прямые светлые волосы, и опилки уже не сыпались из разжатой его руки. Не разумом и не чувством, а чем-то совсем иным я знал – это неправда. Мы сели на чурбачки: Юра закурил и стал осторожно его расспрашивать. Стеня не любил быть в центре внимания и отвечал кратко, тёмно и невесело. Морщился.

Близко-близко, глядя перед собою, курочка-ряба задумалась с видом сонливой значительности. Самоуглубленность её была такой несомненной и сущей, что от странных людских дел повеяло легко-весной несерьёзностью.

Я не любил неожиданностей и, оцепенев от новости, перестал вслушиваться в слова, её объясняющие. Как обычно после физической работы, мир выглядел чётко и ясно – ясно до лёгкого головокружения и все же чуточку непривычно, как подросший за лето одноклассник. Даже самые мельчайшие подробности жизни – как черты знакомого и повзрослевшего лица – были на своём, единственно возможном месте, превращая очевидный мир в зримое, казалось, время. Это время не торопилось и не останавливалось, а отстаивалось в тишину, которая казалась мне молчаливым и вездесущим Богом. Богом то далеким, то близким, как надмирность простых стихов: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...» Как красиво; вероятно, такими вот словами древние колдуны останавливали кровь у раненых...

По привычке я глянул на то место, где жил когда-то мой родной тополь. Конечно, оно ещё не зажило и по-прежнему было чу-

жим и странным. Но не грусть и не жалость уютно устраивались в моей душе, а нечто не совсем привычное, что-то совсем иное. «Иное» - всё чаще это слово (или чувство) стало возникать во мне по мере взросления и как-то незаметно родниться с обычным и тихим присловьем Степана: «А куда денешься?»

«А куда денешься?» – с этими словами он туманился в детстве над рыбацкими и футбольными нашими фатальностями, а став военным лётчиком, улыбочиво шурился на свое новое «назначение». Непростое, порой, назначение.

Я опустил взор – возле могилы Лобика белел «колодец» недавно наколотых нами дров. Как отражение бледного облачка в неспокойной реке, колыхнулось во мне нечто похожее на покаяние - возможно, эти дрова тоже были «чьим-то» тополем: «Прости...»

Внезапно Юра встал. Мы на него посмотрели. Он глядел в землю. Курочка-ряба клюнула что-то на стенькиной кеде и вновь погрузилась в созерцание внутреннего своего мира. Стёпа совсем согнулся на своем пенёчке – худенький, озадаченный, родной. В серо-желтой своей ковбеечке. Когда утром восьмого марта сорок четвертого года Серафима Акимовна получила «похоронку» на мужа своего Петра, она сказала вечером пятилетнему сыну Стёпушке: «Сталин тебе отец».

Я тоже встал, положил ладони на узенькие Стенькины плечи, прижал: «Ничего, брат, переживём». Не решился этого сказать, но подумал: «У тебя второй раз отнимают отца».

Подошла древняя старушка Пудовна и, попросив «известного мастера» Стёпу отбить косу, ушла за молотком. Не зная, что сказать, мы просто так постояли и молча вернулись к своим делам; пила зазвенела, Степан застучал, и неловкость в душе заглушилась спорой работой. И всё же было стыдно. Стыдно, как в первом (или во втором) классе, когда меня обсчитали не в нашем магазинчике, и я прибрел домой с унижительной сдачей. Родители посмотрели на меня насмешливо – дурачок, мол, и только бабушка за меня засту-

пилаась: «К чему эта ирония – у мальчика благородная доверчивость, её всячески поощрять надо, а вы... - и, совсем затихая, - а вы.., а вы...» Она медленно кивала полуседой головой. И такая, почти улыбочивая печаль угасала в светлых её глазах, что, запомнив её, я через много лет вернулся к этой мимолетности. На мой вопрос бабушка медленно подняла от шитья уже совсем белую свою голову: «Доброта, внучек, лукава, она бывает и корыстной; а вот благородство свято, это наглядное и единственное доказательство истинной человечности. Других – нет. - Волнуясь, и даже откладывая шитьё, добавила: - Мы не знаем, добрым ли был Дон-Кихот или нет, но он был благороден, и посему Достоевский прав, утверждая, что на Страшном суде человечеству для своего оправдания стоит предъявить Богу только эту книгу... Только её одну».

Мои воспоминания прервал негромкий голос Степана: «О-о... - Он белой своей головой кивнул на рыжую нашу гору: - А вон и будущие наши... вдовы...»

Тогда я улыбнулся на шутку друга. А содрогнулся много позже, когда Агарь Сергеевна получила «похоронку»: «...Ваш муж, подполковник Курпей Степан Петрович...» Стеня....

## 2

Я обернулся: как крылышками, махая ладошками возле плечей, Агарь быстренько сбегала с крутизны, а вслед за ней, бочком, держась одной рукой за косу и опустив ресницы, осторожно спускалась Маша. Не успев поздороваться, Агарь восхитилась: «Вот тру-у-же-ники... опилок-то скоко... и ряба тут... Батюшки, Стеня-то, как смерть, с косой... Юрьвасильич, здрасте... мальчики, привет...» Подойдя неслышной своей походкой, Маша тихо сказала: «Здравствуйте», - и с удивительной ласковостью, вроде бы случайно, чуть коснулась моей спины нежной своею ручкою. Как веточка. Как ветерок. Как мама. Я посмотрел на её чуть склоненную к плечу

русую голову и, не без сердечного движения отметив, что она недавно из бани, спросил: «Вы радио-то слушали?» «А ка-а-к же, - пропела Агарь, внимательно осматривая чурбачок, - я один раз на такую занозищу уселась...»

Угомонились; первые же высказывания о странной новости удивили меня неслыханным своим «вольтерианством». Юра сказал, что «криворожие на зеркало пеняют», а Гаря «великосветски» удивлялась: «Храбрецы-то какие отыскались – после драки кулаками махать... Парвеню, мон ами...» Стеня помалкивал, а Маша, скромно потупившись, удивила всех (но не меня) своей памятью и знанием до-пушкинских писателей: «В этом постановлении весьма много... - с оттенком назидания она чуть исказила «винчианскую» безупречность своего лба, – «иносказаний и двусмысленных речений, которых подлинная мысль автору токмо известна». Агарь расширила свои печальные и добрые глазки-вишенки: «Ломоносов...» Маша шевельнула разметнувшимся привольем своих бровей: «Это Державин».

Выражением лица Юра дал мне понять: «мудрая у тебя девушка». Мудрая: уже второй год Маша усердно и планомерно знакомясь с теми писателями, коих могла читать славная её предшественница – Маша Миронова, капитанская дочка. Зачем? Это не обсуждалось нами: какая-то милая, сокровенная тайна легонечко здесь туманилась, тая в бессловесной несомненности этого занятия.

«Капитанская дочка». Для нас с Машей это была не только любимая книга, это было прозрение: чудесное совпадение сиюминутности и вечности. «Сейчас» и «всегда» простенько держались за руки. «...Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, со светло-русскими волосами, гладко зачесанными за уши, которые у неё так и горели». Однажды моя Маша с выражением чуть ли не испуганной значительности прочла мне это место и, опустив голову, сказала тихонечко: «Это про меня». Уши у неё так и горели. Я спросил: «А где же почти двести лет?» Маша подняла ресницы, и я

понял, что ответа не может быть, Маша Миронова – которая? – на меня просто смотрела. Условность времён и безусловность девичества румянились на круглом её лице с вечной сиюминутностью неба.

В прошлом году, уже девятиклассницей, Маша сказала мне теплой и мгливой осенью: «Знаешь, я вчера сильно так размечталась и вообразила себя пушкинской Машей - капитанской дочкой... Зима... снежок такой редкий... я в синей шубке... робею... толпа... пули же... и мама тут – та, Василиса Егоровна. - Лицо у Маши было как у ребенка, задумавшегося в одиночестве. - А мама говорит: «Иван Кузьмич, в животе и смерти Бог волен... Благослови Машу. Маша, подойди к отцу...» Я подошла, встала на колени... и Иван Кузьмич меня перекрестил... - Помолчав: - Как отец». У Маши стало иное лицо и, сделав детское движение головою, она стала смотреть в меркнувший осенний горизонт, небо над которым светились неяркой желтизной старых, добрых, тихо открытых книг. Слезы стояли в её глазах, и я стал смотреть в землю – у неё не было отца. Стоял я тогда и думал и вдруг почувствовал не только головокружительное таинство девичьего естества, а просто живую и «обыкновенную» девочку, которая явно выросла из клетчатого красно-черного своего пальтишка. Душа моя померкла (или осветилась) иной, чем обычно, жалостью - отцовской, что ли: ну-да, оно ещё в шестом классе куплено, а она же растёт. Растёт... и так много необъяснимого, чудесного и стыдно-тайного, связанного с взрослением, затеснилось в моём сердце, что я с особым вниманием стал всматриваться в печальную прелесть осенней земли. Светло-желтый, сердцеобразный опавший лист, как щеночек, жался к черному, резиновому её сапожку, и мне хотелось стать им.

Сейчас, сидя на своём чурбачке, я вспомнил всё это, и странная новость «постановления» вдруг осозналась такой вопиюще ничтожной, что я резко переменял позу, а малое клетчатое её пальтецо, листочек тот верный и высыхающие её слезы - внезапно и на-

всегда – стали гораздо важнее товарища Сталина, Советского Союза, да и всего на свете. Я прозревал: «Гос-по-ди...»

Смотрел: Маша – руки на коленях, горсточка в горсточке – с унылой учтивостью слушала, как Юра, приводя примеры из древней истории, осуждал «деспотизм». Несчастливая лошадь Калигулы, конечно же, была упомянута. Агарь, высоко подняв брови, прутиком по опилкам рисовала узорчики; Степан изредка и не без горечи ударял по кесе – Гаря в сердцах к нему оборачивалась, и он клал молоток с видом душевного опустошения. Курочка-ряба нахохлилась на завалинке и с колоссальной выдержкой не смотрела вниз, на кота Самоеда, возлежавшего на боку с видом безмятежного отдохновения. За всякие дерзкие и лукавые пакости этого кота чуть не ежедневно «метелели» и даже собирались убить за обретение им своего прозвища. Мы со Стенькой кота отстояли, но теперь все его безобразия зловеще на нас отсвечивали. Нам оставалось только пошвыстывать с видом вызывающего безразличия. По привычке я залюбовался скромным приличием девичества. Обе были в новых платьях – Маша в розово-сереньком, а Гаря в синем с белыми горошинами. Несмотря на «партикулярные» сарафанчики, на обеих были комсомольские значки. Я опять быстро переменял позу – Машин значок смотрел прямо в небо.

О, сталинские комсомолочки. Чистые, простодушные, румяные... Опрятные «формочки», шершавые ладошки, правдивые глаза... Ваши попытки стать над человеческой природой выглядели удивительно трогательно. Ясная любовь к вождю и неясная к «коммунизму» уберегли вас от проклятий уницизма, придав вашим житейским хлопотам стоицизм почти религиозного смирения. Нравственность ваших бабушек-дедушек, которые жили в живой ещё России, затихающим эхом аукнулась в ваших душах и откликнулась чувствами святого товарищества и наивной верой в соборную силу растерянных и слабых душ. Конечно, эскизы иного общества – «социализма» были не всегда удачными, но делали их в про-

стоте души, нетерпению сердца и совершенно искренне. «Кто искренен, тот и прав», - говорил Чехов, и посему нет пятнышка на белоснежных фартучках простодушных сталинских комсомолочек. Они не верили в Бога, но они верили.

Благослови, Господь, их имена, дела и судьбы – они просты и святы.

### 3

Разговорчики порхали по-прежнему; слышались слова Гарькины: «свобода», «равенство» и ещё что-то там такое... От слов этих, как от матерщины, я всегда внутренне ёжился, никогда не понимая, что означает гордыня их бессмысленности, и догадываясь, что за ними всегда течет кровь. Не понимаю я «свободы» и сейчас, осознавая, что, появляясь на свет и уходя из него не по своей, а по Божьей воле, человек просто не может рассуждать о «свободе», если не помышляет о самоубийстве – самом свободном из всех окаяньств человеческих. Свобода – это смерть. (1 марта 1881 года в Санкт-Петербурге, на Екатерининском канале, русский народ, поднявший руки на помазанника Божия, выбрал «свободу» и, несмотря на гениальную попытку Сталина остановить бесов и вернуть россиян к естественному (крепостному) их состоянию, русская нация, в традиционном понимании, перестала существовать.)

О постановлении Степан отказался высказываться – плечами дернул, сморщился: «Ничё не пойму». Зная, что сам я не «выступлю», Маша спросила меня ласковым, домашним голоском: «А ты как... - потрогала мизинцем небольшой свой носик, - думаешь?» Я ожидал вопроса и успел обдумать ответ: «Я никогда не предаю товарища Сталина, потому что верность гораздо важнее, чем её предмет».

От тайного удовольствия Маша прихмурилась и сказала с мелодической своею растяжкой: «Пожалуй, ты не совсем прав, но...»

Но тут на крылечко вышла Нагима Асхатовна и неярко, как солнышко сквозь туман, светясь, приветливо с нами поздоровалась: «Здравствуйте, молодежь...» Все вежливо, Юра даже привстал – отвечали ласковому её смущению. Все, но не Маша. Ма-ша. От природы вежливая и всегда со всеми подчёркнуто корректная, Маша просто не замечала Нагимы Асхатовны. В упор не видела. Никогда она не произнесла её имени, даже косвенно о ней не упомянула и ни разу в жизни даже не взглянула на неё. Порой мне казалось, что в мироздании произошел некий пространственно-временной сдвиг и о существовании Нагимы Маша просто не ведала. С шести лет не ведала.

«Хар-р-рак-тер, - однажды и приглагозно восхитилась Ирка Па-чикайте совсем по другому поводу, - ты, Марья, покрепче меня». Маша ничего ей не отвечала, только чуть-чуть подольше задержала на Ирме свой желтенький и кроткий взор. Тогда, в юности, я легкомысленно отнёсся к странности её с Нагимою и только много позже, догадавшись о печали девичьего сердца, осознал, что тихая, кроткая каменная её «молчанка» стала частью моей души. Навсегда. Маш, прости.

«Но, - продолжала Маша (она никогда не сбивалась с темы) после странноватой паузы, - но в твоих словах есть смысл, правда, смысл для тебя одного». Конечно же, распорились. Агарь негодовала: «А вдруг это не клевета... а вдруг это правда, и Сталин в самом деле тиран был... Тогда ты просто смешон со своей верностью...» Детски плавную свою ручку Маша положила на коленку Агарь: «Обожди, Гарь, тут сложнее...» Я молчал, размышляя: «В чём они сомневаются?» А вслух повторил: «Верность важнее, чем её предмет».

Улыбчиво покачивая светло-кудрявой своей головою, Юра покуривал, глядя в землю, Степа встал и молча, важно, шутливо, а в общем-то, очень даже серьёзно подошёл, не без ритуальной торже-

ственности пожал мне руку, и я увидел горячую сталь светлых его глаз.

Небольшой, тоненький, беловолосый Стенька – прямо-таки русский инок – молчаливый, застенчивый, тихий-тихий мальчик – будущий лётчик ас. Тихо-насмешливый – тоже было... Был очень сдержан с девушками, даже со своей Агарь, но удочки свои называл женскими именами. Любил ласкать собак и недвижно созерцать реку. Книги любил. Особенно Гоголя. Вероятно, у нас были разные характеры и непохожие души (Стеня сомневался в существовании Бога), но мнения наши (под очень тонкую, почти незаметную Машину иронию) почти никогда не были разными. За всю жизнь мы ни разу с ним не поссорились. После того, как двадцать лет спустя – это в тридцать шесть-то годочков – он погиб где-то на экваторе, я частенько, после тяжких размышлений, мысленно его спрашивал: «Стень, а?..» И он всегда отвечал мне – отвечал не доводами разума и даже не волнением души, а спокойно поднятым взором обречённого русского мальчика: «Терпи», - и опускал глаза.

Последний раз мы встретились года за полтора до его гибели; мы сильно напились, но, несмотря на хмель, Стеня сказал слова трезвые и беспощадно правдивые. Сказал, на меня не глядя: «Мне Агарь рассказывала, что ты никогда не видел могилы Маши, не веришь в её смерть; и всё ещё, иногда, срываясь сердцем, всматриваешься в толпу...» Я молчал, Степан печально смотрел на букет гладиолусов: «А куда денешься – жизнь-то умнее нас. - Закурил и быстренько, чуть виновато на меня глянув, добавил: - Ищи себе женщину спокойную, добрую, похожую на Машу».

Я молчал. Смотрел на Стёпу: желто-зелёная рубаха, погоны с двумя голубыми просветами, по звёздочке на них; невесёлое, почти спокойное, с детства родное лицо. Мне странно было думать, что тонкий, беленький, очень похожий на нестеровского Варфоломея-Сергия русский паренёк в странном самолёте, в гермошлеме и шнурованном по бокам и бёдрам костюме «сверхзвуковика», на

немыслимой высоте, сверлит не наши небеса. Зачем? Этот бестактный вопрос я решился, по пьяни, задать самому Степану, словно предчувствуя, что больше нам не беседовать. «Зачем? - Стенька улыбнулся плутовской улыбкой Пугачёва. - Наливай». Торопливо вошла Агарь – переменяла тарелки, принесла горячих котлет с соусом и зеленью, взъерошила нам «чубы» и быстренько ушмыгнула в свою комнату – диссертацию писать, что-то мудрое, про бензол. Я разлил ирландский виски, и, помаргивая, Стенька повторил: «Зачем?» Выпили. Занюхав стопку кусочком семги, он прищурился: «Ну, служба-службой: куда денешься... а лично: знаешь, брат, романтика это детская... Я бы мог быть зоотехником – собирался... но знаешь, там, над облаками, жизнь как на утренней реке. Красотища... покой...» Стеня встал, подошел к окну: «Помнишь, у Пушкина – на свете счастья нет, но есть покой и воля...» Вернулся, сел в кресло, потупился: «Покой... - Вздохнул: - По-кой».

Всё это было почти двадцать лет спустя, а сейчас Стенька передавал хозяйке отбитую косу: «Косите, Евдокия Пудовна».

Я встал со своего чурбачка, подошёл к Юре прикурить и увидел из-за его плеча, что Нагима Асхатовна стоит у самой реки и смотрит в сизую неясность горизонта. Что может быть загадочней и выразительней – одинокая женщина на одиноком берегу. На этом берегу. Но однажды, в разлив, я увидел её и на том – она терпеливо дожидалась попутную лодочку и рассеянно покорный и дымчато-голубеющий её силуэт тронул меня – тронул, вероятно, предощущением будущих открытий. Открытий уже не моих, а Николая Рубцова: «... вы не видели? Сам я найти не могу. – Тихо ответили жители: это на том берегу».

«Это на том берегу» - как часто простые эти слова проясняли мне Божью волю и невозможность жить по своей.

Да, думаю я сейчас, всё, что я пытался любить, оказалось на том берегу, а всё, что я так и не понял – на этом.

Занятые сами собой и, как шурилась Агарь, «европейским политик», мы не вдруг обратили внимание на молчаливо-рассеянную значительность, возникшую возле сарайчика Виктора Ивановича. Наши мужики слонялись у его дверей и не только лица, но и фигуры их были как перед получкою, выпивкой и битвою – не совсем от мира сего. На манер аквариумных рыб они, казалось, прислушивались, чего-то ожидаючи. Юра первым догадался о сути происходящего: «Эпохальщина... Никак Витя собрался свой перпетум воде предать...» Мы со Стенькой переглянулись более чем значительно, и даже девушки встали, оправляя причёски и сарафанчики: мы четверо появились на свет одновременно с этим мотором, росли вместе с ним, и вот он уходил в первое плавание.

Минута была важною; мужики отогнали от дверей собак и мальчишек, стараясь не обращать внимание на включенные головы, торчащие над острым забором лесопилки с почти исторической жуткостью. Головы молчали, но, уяснив происходящее, стали материалистически насмешничать. Глумились. После убийства Лобика я старался не смотреть на эти рожи и поднял взор повыше, на портрет товарища Сталина, украшавший крышу лесопилки. Давным-давно портрет сей исполнила Елена Григорьевна «сухой кистью» и гуталином по молочно-белой (в те времена) бязи. Наградой ей было всеобщее восхищение и дюжина горбылей для ограждения полдюжины мальвочек крохотного предоконного её садика. Портрет получился очень пригожим; особенно удались художнице красивое шитье на фуражке, мопассанистые усы и маршальская звезда, стоявшая, по народному мнению, миллиард рублей. После суммы следовал вздох: «Не жалко, страну спас». Новорожденный портрет был прекрасен; сейчас же от лихих, как говорил Гоголь, погодных перемен и некачественной ваксы товарищ Сталин находился как бы в чаду и дыме победных сражений; от грозно взыскующих и благо-

родных черт остались лишь усы, ноздри и зрачки глаз – лишённые всего прочего и осенённые кухонным обыкновением лавровых листьев, они имели дивное выражение. Такое дивное, что древняя старушка Пудовна, равнодушно взиравшая на новенький портрет, вот уже с год боязливо крестилась на нынешний.

Вникая в тайну потёков, я был поражён мыслью неожиданной и преступною: «А вдруг Хрущёв с Ирккой правы и Сталин действительно был бандитом...» От возмущения я крутанул головой и увидел, что на крыше Викторова сарайчика стоит на задних лапах кот Самоед и, обнимая передними ржавое ведро, смотрит на людскую суету без всякого любопытства, но внимательно. Маша тронула меня нежною своею ручкой: «Смотри, выносят...» «Выносят, выносят», - тихонечко и печально повторила Агарь и, по-старушечьи склонив коротко стриженную черноволосую голову, сложила на животе тоненькие свои ручки: её чувства порой полностью подчинялись широте и мощи ассоциативного её ряда.

Хрустя гравием, четыре мужика тащили на носилках вечный мотор, который, судя по всему, был тяжёлым, как судьба, и сложным, как советский район мироздания. Стараясь не смотреть на своё детище, Виктор шёл за носилками; от авторского волнения он хмурился и крепился так трогательно, что мне захотелось дружески его ободрить, пожелать удачи и хоть чем-нибудь помочь. Но... но рядом стояла Маша. Ма-ша. Запах новенького её сарафанчика и чистого-чистого (явно после бани) тела, вплетаясь в свежесть близкой реки, заморозил меня таким беспокойным и необъяснимым счастьем, что я вдруг догадался о греховной его сущности. Тем более, что Маша, уступая кому-то дорогу, посторонилась, коснувшись моей руки тугой и нежной своею грудью.левой. Я посмотрел: не задымилась ли моя ковбойка - нет, странно, но ожог-то был. Вздыхнул: это бесы меня окаянят.

Встряхнувшись, я с особым вниманием стал вникать в состояние Виктора Ивановича. Российский мечтатель, расширивший пре-

дела человеческого терпения и бросивший вызов законам семейного благополучия (ползарплаты на мотор), был собран, совершенно трезв и смотрел на «тот» берег с видом преодоленного потрясения. Приделся – кирзовые сапоги его были вычищены, а чистая белая рубаха повязана розовым галстуком. Мы, четверо, присоединились к процессии.

Возле ворот, на завалинке, сидела маленькая Рабига в новом, таком ослепительном наряде, что Маша и Агарь подходили его рассматривать. Вернулись довольные: «Растёт Рабигушка». Имелся в виду творческий рост. В раннем своём детстве Рабигушка – нечесаная, весёлая и чумазая, носилась по двору с щенками и котятками и была очень милой, но самой обыкновенной девочкой. До третьего класса. Лет в десять она стала фантазировать с лоскутками и обрезками, которые приносила со швейной фабрики её мама. Увлёклась: целыми днями она шила, думала, порола и опять шила, щёлкала ножницами, стрекотала на швейной машинке, без конца комбинировала и доводила себя порою до благостных слёз творчества. Набравшись опыта на кукольных платьях, девочка, крепко сжав губы и расширив глазки-смородинки, решила одевать себя сама. Кроха ушла от сует мира. Надолго. Во дворе её почти и не видели: даже при лампе сидела согнувшись над шитьём – вечером было видно в окошко. Иногда она всполошено выскакивала на крылечко, торопливо кормила своих щенков-котят и, приласкав их на скорую руку, быстренько возвращалась к подаренному ей Богом счастью. После многодневного затворничества Рабига медленно-медленно вышла на крыльцо в новеньком, удивительно прекрасном платьице и села на завалинку, опустив глаза в землю. Сидела тихонечко, почти не шевелясь. Порой она поднимала глаза, и я дивился их свету – чудесному и странному. Как тихое сияние вечерних снегов. Я думал: «Отче наш, благослови эту девочку». Просил: «Не туши, Господь её свечечку».

Наш отец первым обратил внимание на увлечение Рабиги, на её талант и её настойчивость. Стесняясь детей (да и взрослых), он не решался подойти к ней близко и рассматривал новые её «композиции» с некоторого расстояния. «Смотри, - говорил он мне, вроде бы равнодушно покуривая на корточках, - вон там и там она пришивает кружевца (кусочки тюля) по однотонной материи, а вот здесь и здесь – по рябенькой... Понимаешь? Она уравнивает чёткое и нечёткое... Какое чувство меры, пропорций... Талант...» И всё же мелькал в его глазах некий оттенок печальной обречённости. «Отчего?», - думал я тогда, в юности, не подозревая, что талант в России воспринимается как покушение на естественный ход вещей. Отец это знал и жалел девочку, предчувствуя будущие тяготы нежной её души.

И не только талантами были схожи отец с Рабигой, но и ещё чем-то: окончив великолепный, тонкий, удивительно лиричный пейзаж, отец тоже, бывало, выходил во двор, садился на завалинку и опускал глаза в землю. Сидел тихонечко, почти не шевелясь, порой поднимал свои очень светлые глаза и я дивился их свету – чудесному и странному, как матовое мерцание утреннего инея.

Я оглянулся на розовый, вознёсшийся к небесам, удивительно сказочный наш дом; Рабига не пошла вместе со всеми на берег, а, склонив голову, вероятно, слушала звуки жизни и движения одинокой своей души.

## 5

Мужики пристроили мотор на лодке, крепко выругали его на прощание и отошли на безопасное расстояние. Закурили. Виктор Иванович явно оттягивал решительную минуту и не дёргал за шнур – что-то проверял, подворачивал, протирал тряпчочкой – лодка медленно плыла по течению. Стеня толкнул меня коленкою – кот Са-

моед появился на брёвнах и посмотрел на общество скучным, но благосклонным взглядом. Зевнул.

Трое слесарей с лесопилки, широко раскорячившись и приседая, чудовищно закричали и затопали на кота сапожищами. Левый и правый чрезвычайно вытаращились, а коренник вывалил язык аж до самого кадыка. Орала русская тройка – благим матом орала. Вопили и топали они долго – парторг успел сжевать огурец – пока не учуяли, что народ не уяснил причину сурового их негодования. Юра Караваев и сторож ремзавода Рашид Назарович степенно беседовали о преимуществах славянской души перед всеми другими душами. Не просто было в это поверить, ибо сыны лесопилки всё ещё не ограничили извержение своего темперамента. Кот задумчиво смотрел на их беснование.

Заканчивая последние приготовления, Виктор вплыл в то место, где отражалась в спокойной реке светлая часть небес. «Включай, заводи, врубай», - раздались почти возмущённые голоса, подкрепляемые выражениями энергичными и непристойными. Ухмыльнувшись, Стенька процитировал любимого своего Гоголя: «Выражается сильно русский народ...» Агарь, не оборачиваясь, сказала «семейным» голосом: «А ты и уши развесил».

Нетерпеливые возгласы достигли почти истерической выразительности. Маша чуть-чуть улыбнулась: «Пожалуй, если он сейчас не взорвётся вместе со своим моторчиком, все будут весьма разочарованы». «Аха-аха», - торопливо кивала головой Агарь, сложив ладошки у тоненького своего горлышка.

Как ворот рубахи, Виктор рванул шнур и случилось самое обыкновенное: мотор застучал, вода завертелась, лодка пошла. Пошла, родимая... У меня, как от первого снега, посветлело на душе и, невольно хлопнув в ладоши, я смутился – меня никто не поддержал. Только Нагима Асхатовна просияла детской улыбкою, все же остальные были спокойны, равнодушны и, пожалуй, несколько разочарованы.

Мужики расходились, печально ссутулившись, и многие даже не обернулись на Белую. О, русская недоброжелательность. Как обычно, Маша оказалась права, и я посмотрел на неё с дружеской улыбкой, но она этого не заметила – была занята – в упор не видела Нагиму Асхатовну, которая, опустив немислимо прекрасное своё лицо, поднималась по косогору. Навстречу нам. Агарь заволновалась: «Упорный какой дядька... шестнадцать лет ведь трудился... А денег сколько... он бы на них пять моторов купил... Молодец...». «Да», - сказала Маша. И на неё было тяжело смотреть, Мысленно я поклялся, что никогда больше не пойду ночью в сарай Нагимы.

А Виктор Иванович, окаменев от радости, стремительно и звучно удалялся от нас в сторону вечерних сумерек – туда, где отражалась в спокойной реке громадная чёрная туча со светло-серыми на ней тучками. Мы пошли в наш двор. Несколько хулиганов из нашей школы нам встретились; увидев Агарь, они тотчас приняли позы самые экстравагантные и, закатывая глаза, вроде бы помирали в экстазе творческого вдохновения. Это было время славы: ещё весной Агарь стала чемпионкой школы (а затем и района) по художественной гимнастике, что произвело на школьные умы весьма сильное впечатление: «Такая пи-га-ли-ца...» И вела себя Агарь по-чемпионски – даже не посмотрела на мучения ребят. Машина школа – это она исподволь приучала нас не видеть того, что недостойно созерцания, и не слышать того, что оскорбляет слух и приличие.

Не дозвавшись Юру, который разговаривал на берегу с Рашидом Назаровичем, мы вошли в наш двор. Скандал. Маленькая Рабига всё так же сидела на завалинке и съёжившись смотрела и слушала, как тётка клеймила Ирку Пачикайте самыми грозными словами – даже небо стало ниже, темнее и ненадёжнее – упадёт ещё... Откашлявшись, тётка продолжала свирепеть: «Ты что же это – в про-

ститутки что-ли нацелилась... Хабалка ты болотная... лахудра се-мибатюшная... сучка обнюханная...»

Рабига сидела совсем грустная – сандалики её, казалось более чем обычно, не доставали до земли. Как всегда поэзия жизни выглядела сиротою рядом с её прозою. И, как волнушка о борт лодки, плеснулось мне в душу сочувствие к маленькой Рабиге: «Держись, дружочек, – груба жизнь...»

С выражением наглого достоинства на красном лице Ирма подошла к нам и сказала громче, чем нужно: «Вот дура старая – житья от неё нету, ну никакого житья». Агарь, успокаивая, тронула её руку: «Ируш, Ируш...» Маша, как ни в чём не бывало, дружелюбно спросила её о чём-то постороннем, и Ирка оттаяла: «Пошли в кино, ребята...» Мы согласились, а Ирка крутанулась: «Щас, я только Юру позову...» Маша и Агарь обменялись взглядом такой потрясающей многозначительности, что мы со Стенькой тотчас почувствовали себя малолетками. Шепотком на ушко Маша пояснила мне всю важность этого обмена взглядами: «Дружков надо выбирать по возрасту – он же на десять лет старше её». Я тотчас вспомнил недавнюю беседу отца с Николаем Андреевичем: «А вот Рубенс ровно на сорок лет был старше своей второй жены Елены и ничего плохого – четверо румяных детей...» Как обычно, Маша поняла всё по-своему: «Поздние дети – ранние сироты...» Разговоры о возрастных границах любви, нежности и дружбы всегда раздражали меня, и я заметил: «А вот ты постарше меня – и ничего...» Не без – даже не знаю чего – Маша закрыла и открыла желтенькие, наивные свои глаза: «На десять часов, и потом... мы не дружки, а у нас судьба». Маша сказала это с таким совершенно особым выражением лица и голоса, что Агарь изобразила на своём узеньком и удивительно милом личике что-то уж совсем неземное – нечто вроде святого и светлого уныния. Стёпа незаметно мне подмигнул – эта политика, мол, не для средних умов. Маша и Агарь всё это заметили и приняли вид очень даже достойный.

Наконец, Рашид Назарович и Юра закончили беседу о духовном убожестве Запада, и мы отправились в кино. «Это ж такой фильм, - почти пела Агарь, - обстановочный, про заграничную старину... Жерар Филипп и всё такое благородное... Это ж не про пэ-тэушников и не про кубанских колхозников...» «А что, - сказала Маша, - «Кубанские казаки» - неплохой фильм... Ну, приукрашенный... ну, мечтательный.., но зато: веселье, отвага, простодушие – русское кино».

Конечно же, распорились. С любопытством и улыбочками мы со Стенькой слушали спорящих, и чего мы только не услышали – и «правда», и «ложь», и даже мавзолейное слово «коммунизм». Юра оглянулся – «Тут все свои» - и невесело сказал, что совершенное общество, как его там ни называй, построить невозможно, ибо несовершенна сама природа человека. А «природу» эту меняют не годы и даже не столетия – тут нужны... Юра просто рукой махнул. «Ой-ёй-ёй, - запричитала раскрасневшаяся и весёлая Агарь. - Вы, Юрьвасилич, просто мизантроп...» Юра прочитал такое количество исторических и мудрых книг, так много думал о судьбе человечества во время дежурств на своей «спасалке», что даже не стал «все-понимающей мудростью» оформлять весёлую свою улыбку: «Точно, Гаренька, точно...»

Ладошкой, шейкой и бровями Агарь дала понять, что все правы и все останутся при своих мнениях. Покрасневшая Маша не находила места своей косе, и только Ирка, утратившая от дружбы с Юрой весь свой «экстремизм», улыбалась с лукавой безмятежностью. Тербя чуб, Стенька явно готовил шуточку, но «выдать» её не успел – фильм начался: под быструю и очень тревожную музыку молодой человек, во всём чёрном, гнал и гнал коня, даже не оглядываясь на пролетавшие мимо красоты Италии. Почти касаясь губами моего уха, Маша шепнула: «Жерар Филипп... - Добавила: - Я чувствую – это особенный фильм».

Ах, какой это был фильм. Единственный и на всю жизнь. Полузнакомые, но легко узнаваемые его чувства – «чувства, похожие на нежные, изящные цветы», - удивили меня нерусским, хорошо взвешенным, выражением. Красота и утонченность этого выражения превращали печаль фильма в прелесть ранее неведомых чувств - чувств благородных и возвышенных. «Пармская обитель» - муаровый фильм, как свежо и странно смотрелся он среди усмешливой немоты и угрюмого фантазёрства сутулой нашей окраины. Родные, убогие домики, древние камни Пармы, ранее неведомые чувства – цепенея, я о чём-то догадывался – «Сам не знаю о чём...» Клелия Конти и Фабрицио дель Донго – замирал дух от непривычной красоты их лиц, благородства их душ и несчастья их судьбы. Как давний сон, я словно бы припоминал что-то: «Я как будто бы снова возле дома родного...» Два любящих и, конечно же, разлучённых сердца. И смирение их перед судьбою. Какое смирение: неявная его сила была кроткой и спокойною, не выглядела непугливой дурочкой, как в России, а была миловидна и благородна, убедительна и стройна, как всё соразмерное. И Клелия, и Фабрицио покорялись судьбе, лишь печалась глазами, но не опуская головы и не теряя человеческого достоинства. Стиснув ладони перед горлом, Клелия молилась: «О, мадонна, Святая Дева непорочная, защити».

На мгновение я оглянулся на девочек: Агарь тоже стиснула ладошки перед горлышком, а Маша плакала.

Сказочная природа, удивительные дворцы, прекрасные большеглазые лица, нежные, благородные сердца – и никакой надежды на счастье. Как и у нас среди грязи, грубейших нравов, ватников, кирзы, мата... Как и у нас... Не братья ли мы, не сёстры ли... Неясные свои ощущения я не решился сказать вслух, когда мы выходили из «Луча» в тёмное царство позднего вечера. Вздохнул только: «Хорошо». Маша чуть сильнее сжала мой локоть, а Юра быстро согласился: «Ещё бы – другой мир, - и немного погода добавил печально: - Благородство...» Стеня, как обычно, разминая резиновое

колечко эспандера, помалкивал раздумчиво и сочувственно. Молчали и девочки, очевидно взволнованные и самим фильмом, и последней его фразой: «Так кончилась эта погоня за счастьем».

То с Машей, то один я ходил на этот фильм много раз, как на свидание с чем-то родным, но никогда не виденным. Вероятно, так чувствует себя круглый сирота, впервые в жизни увидевший фотографию своих родителей.

## 6

Этот фильм поразил меня. Провожая Машу, я помалкивал, переполненный волнениями разнообразными, чудесными и совершенно новыми. Едва я собирался что-то сказать, сам себя останавливал - не сумею. Осмелился я только возле её дома: «Удивительно, особенно их лица». Маша прижалась к моей щеке своею щечкой – так мы прощались - и сказала: «Необыкновенный фильм; я ещё долго-долго буду его анализировать». На последнее слово я невольно крикнул, и Маша тотчас поправилась: «Ну, думать... Ну, размышлять... Хотя анализировать – точнее».

Вошли во двор. В свете окна Софья Николаевна делала что-то на грядке огурцов; она ласково и распевно со мною поздоровалась и сказала Маше: «Творог на столе, молоко в холодильнике. Ешь, доченька, и ложись – завтра нам рано вставать, совсем огород забросили». Она передала привет моей маме, и я рассеянно побрёл домой, сожалея, что не предложил Софье Николаевне сходить на этот удивительный фильм: а то заржавеет она со своими огурцами-помидорами...

От меня, как от Ноздрёва, вероятно, пахло собаками, и бродячий пёс за мной увязался. Мы шли в таком тихом и дружеском согласии, что мне захотелось его порадовать, и я стал тихонечко напевать мелодию, которая почти весь фильм звучала в моей душе: «Ночь коротка... спят облака...» «Как странно, - думалось мне, -

нежная фронтовая песня ... а фильм-то совсем иной...» Улыбнулся: «Но тоже нежный...» Это объясняло всё. Пёс понял, что я желаю его развлечь и замахал хвостом. В свете фонаря я увидел брови домиком и потрясающие глаза сироты. Я присел, и он, постеснявшись немного, всё же дал мне лапу. «И лежит у меня на ладони незнакомая Ваша рука»... Мне захотелось плакать: «Сам не знаю о чём...» Пошли дальше. Возле сутолочного моста нас разлучила некая сучка. Собака.

Я немного постоял на берегу; пахло рекою, мазутом и свежестью – особенной, нежной свежестью тьмы. Ночь была совершенно чёрною, только близкая пристань ярко светилась бирюзовыми своими кружевами, и далёкий малиновый бакен уводил взор и душу в неясность настроений, пространств и времён. Тишина; еле слышная течь реки делала её совершенною. Свежая тьма. Вероятно, расширенные глаза чувствовали движение воздуха. Машинально поглаживая локоть, который весь вечер держала Маша, я вошёл в наш двор. Ирма с Юрой сидели на завалинке, тихонько беседуя. Она, согласно обычаю, набросила на плечи Юрин пиджак, но сидела, положив ногу на ногу, что у наших девушек было неприято. Обмениваясь с друзьями тихими вечерними фразами, я невольно поглядывал в освещенное окно Виктора Ивановича.

Жена его Анна Степановна собирала на стол. Это была худущая, смуглая и нескладная женщина, но у неё были такие светлые, сладкие и ласковые глаза, что все невольно улыбались, беседуя с нею. Прямая, честная и справедливая, она лучше всех известных мне людей осознавала греховность человеческой сущности. «Вы достукаетесь», - часто (и уместно) говорила она, с очень редким на этой земле дружелюбным и ласковым спокойствием. Эти венчающие человеческую мудрость слова сказала она и нам с Нагимою, заметив, как мы отворачиваемся друг от друга или опускаем при встрече смущённые и повинные свои головы. «Вы достукаетесь», -

эту фразу можно было сказать не только мне и Нагиме Асхатовне, но и всему роду человеческому. Это утешало.

Виктор Иванович устало сидел перед полным стаканчиком, очевидно не привыкнув ещё к успешному завершению многолетних своих трудов. Очевидно, ему не верилось... Три маленькие его дочки смирёхонько сидели рядом с ним; Зойка-снегурка, вероятно сомневаясь в неотразимости своего отражения, насупившись, испепеляла взором туманное зеркало. Несмотря на хмурый вид, она всё время делала некие танцевальные движения. Анна Степановна принесла из кухонного закутка кастрюльку воспарящей картошки и присела к столу. Виктор взял в руку стаканчик, в другую огурчик и задумался. Мать накладывала картошку на тарелки девочек; у меня сжалось сердце – всем по одной.

Муж с женою подняли стаканчики, чокнулись и улыбнулись, вроде бы виновато. Я и не пытался понять, о чём они сейчас думают – это знает Господь, который подарил им этот маленький, но большой праздник. Победы. Я простился с друзьями и пошёл домой, даже не думая, что такого вот праздника у меня никогда не будет.

Остановился: в соседнем окошке маленькая Рабига ужинала вместе с мамой; мир и покой маленькой семьи был так выразителен и совершенен, как всё небольшое, простое и естественное. Удивился: и чего её все жалеют – «мать-одиночка»... Ну и что? Рабига оглянулась на меня, всмотрелась, узнала, улыбнулась и опять приняла достойно-семейный вид. Я улыбнулся, опустив голову, и вошёл в дом. Все уже спали.

По старой памяти я устроился спать на печи – мне захотелось вспомнить святые дни войны и детства. Вероятно, после сегодняшнего «постановления» душа хотела окрепнуть от воспоминаний. Выразительных, чистых и несомненных. О, как мне хотелось несомненности, и я с надеждой смотрел на чистые-чистые звёздочки, с которыми познакомился ещё в дни войны. Удивился: откуда они –

небо же в тучах; улыбнулся, значит, Господь их раздвинул, звёздочки освободил. Бывало, гремел Левитан – гремел радостно: «Нашими героическими войсками освобождён от немецко-фашистских захватчиков город Смоленск, Белгород, ... Харьков...» Я смотрел на звёздочки в окошке – они туманились: «Ночь коротка, спят облака»... Война. Сталин. Я заплакал.

Успокоившись, я стал вспоминать сегодняшний день – такой несомненный и благостный, когда мы пилили дрова, а потом такой неожиданный и странный. Странным было всё: бессовестная клевета на вождя, нежная родственность «Пармской обители», намекающая на сиротство моей души, и та удивительная загадка, которая росла вместе с Машенькой. Я задумался: отчего к маленькой Маше привыкать было не нужно, а вот к Маше растущей и расцветающей привыкать приходилось чуть ли не каждый год. Конечно, я понимал, в чём суть дела, но суть эта была для других – Маши она не касалась: с ней я дружил с шести лет. Уже десять лет...

Вдруг на самое краткое мгновение ослепительное, бесстыдно раскинувшееся нагое тело Нагимы в какой-то безумно-недоступной связи с Машею сверкнуло и погасло от жутко-преступной запретности.

«Меж девушкой и бабой – пропасть», - сказал нам однажды Юра Караваев, и такая печаль, такое смирение и такой опыт аукнулись в его словах, что мы со Стенькой поняли: дело серьёзное. Юра товарищеским тоном посоветовал: - Девушкам своим целочек сейчас не ломайте – дождитесь, пока они сами этого не попросят. У них чутьё есть – есть у них чутьё – и тогда всё у вас получится вовремя, по-хорошему и без пакости».

Я подумал, что в последнее время Маша всё чаще устраивает вроде бы случайные взаимокасания. Вздохнул: конечно, ей тоже хочется, но рано ещё – школьница. (Позже, однажды ночью, Маша сказала мне попросту: «А я тебя давно уже хотела – когда ещё мя-

чик твой проколола...» Я улыбнулся: «Де-душ-ка Фрейд...» Маша почти пропела в тон мне: «Он самый».)

Звёздочки за окошком опять спрятались, а я смутно догадывался, что с маленькой Машей у нас были простые, ясные, совершенно бескорыстные отношения двух маленьких, но людей. «Товарисчей». Потом с неотвратимостью весны меж нами зарумянилось то, что подчинило нас общему порядку вещей. Природе, в конце концов... Я не говорю (о. нет), но всё же: самым хорошим, простым и добрым; самым сердечным, трогательным и садняще-родственным останется между нами самое святое – маленькая, простенькая Маша. Маша, которая то расширяла желтенькие глаза, то таинственно замедляла речь и, помогая себе ручками, – кругленькими, волшебными ручками – рассказывала мне после уроков в пустом классе «Сампо-лопарчонка» (вообще-то, «лопарёнка», но – так говорила Маша). Это будет всегда, это будет над нами: как она пыталась кротким, детским своим глазам придать гордый олений взор. Господи, какое у неё было личико, как она старалась. Напрасно: взор получился просто внимательным. Не гордым – внимательным.

Так – тихо и внимательно – она и прожила недолгую свою жизнь.

Маша, прости меня – я всё ещё живу. А когда настанет мой черёд уходить с этой печальной без тебя земли и мы вновь с тобой встретимся, я встревожусь, что при «первом» нашем свидании увижу не детскую святость родных твоих глаз, а гордый олений взор. Мне страшно, что будущая жизнь пойдёт по законам этой – этой, где люди бездумно и легкомысленно стареют от гордости, утрачивая в себе святую простоту детства.

Я знаю, что Маша самой первой прочтёт эти строки, вероятно, в момент их написания. И знаете, ничего–то она не скажет – только попереживает бровями, склонив голову, и затуманятся простые её глаза.

Выражением лица переживая возню воробьёв на школьном подоконнике, Маша спросила меня вроде бы между прочим: «А кем ты хочешь быть?» В мечтах я блуждал, бывало, вокруг этого вопроса и отвечал – «животным» - с быстрой и легкомысленной отвагой. Маша не успела ответить – стекло аж дрогнуло от рёва, воплей и стонов внезапного счастья.

Знаете ли вы, что такое радость? Не знаете, если не видели, как вырывается на свободу первая смена младшеклассников. Мужского пола. Потрясённые птицы покидают пределы Уфы, подброшенные к небесам шапки не падают на землю, а молоденькие учительницы закрывают нежные свои очи. Изображая женщин, пауков, собак и артиллерию, полчище сатанело по мере своей эмансипации: кувыркаясь, хохоча, взывая, тараща глаза, вываливая языки и колотя портфелями по башкам; прыгая, декламируя и пукая, превращая тулупы в салазки, а кашне в кляпы, орда вываливалась за ворота, уволакивая с собой пленных и раненных.

Через паузу появилось само «Приличие» - степенно беседуя, девочки чинно отправились по домам. Я смотрел в окно, не догадываясь, что вижу модель двуполого мира. Вернее, двух разных миров.

Когда всё утряслось, Маша повернула ко мне круглое своё лицо: «Животным?» Она никогда не сбивалась с темы. Я кивнул. «Не кривляйся, пожалуйста». И Маша посмотрела на меня вроде бы обиженно. А я не шутил: пронзительная естественность животных ощущалась мною как мера всех вещей. Мир животных казался мне единственно подлинным; о нашем же, человеческом, я старался не думать, догадываясь, что он ещё не законченный. Я смутно ощущал: строят они там чего-то, людишки, стараются... но до собак и лошадей им ещё охо-хо... Конечно, я не умел сказать всего этого маленькому своему «товарисчу» и только посмотрел на неё друже-

ским и собачьим, как мне казалось, взором. Маша отвечала мне взглядом человеческим – простеньким. Сказала тихонечко: «Пойдём в буфет».

В дружеском и молчаливом степенстве мы съели по две сосиски с пюре и выпили по стакану молока. Перед уходом Маша собрала со стола шкурки, отнесла к стойке тарелки со стаканами и сказала: «Спасибо, Зухра Камильевна».

По дороге в класс она сказала, что сегодня надо позаниматься «как следует, а то Елена Васильевна с меня же спрашивать будет». Машу, как отличницу, «прикрепили» ко мне не только для исправления двоек по математике, но для всеобщего моего исправления. Мы сели за парту, Маша открыла учебник и приняла «взрослый» вид, а я приготовился к радости – тишайшей радости обращенного на тебя внимания. Я был обыкновенным, совершенно незаметным мальчишкой – на меня редко обращали внимание, и если обращали, то я опускал голову от радости – радости уютной и совсем лишенной человеческой гордыни.

Маша нарисовала прямоугольничек: «Вот это бассейн... в него вливается...» Я слушал уютные её объяснения, смотрел на плавные её ручки и мне было очень радостно – так радостно, что я стал изображать тупость в самом чистом её виде. Маша ударила меня карандашиком: «Не паясничай». А я не кривлялся – мне нужно было скрыть необъяснимую свою радость. Медленно и ясно растолковав мне задачку, Маша сказала, поправив синенький атласный бантик: «Всё равно ведь не будешь животным, а арифметику нужно знать. - Возмутилась кротко и мелодически: - Ты даже сдачу посчитать не можешь... Галина Фёдоровна рассказывала моей маме... А я чуть со стыда не сгорела».

Неожиданно проскрипела дверь и в класс, хромая, вошла Агарь и села на ближайшую парту: «Ногу ушибла. Анатолий Егорыч отпустил с тренировки... Вы быстрее занимайтесь – скоро вторая смена завалится...»

Агарь сидела такая расстроенная и усталая, что Маша, вычерчивая «колхозное поле», участки коего мне предстояло вычислять, спросила-сказала: «И зачем себя так мучить?» Гаря вздохнула: «Я, Маш, подрасти хочу, а то меня прям за детсадовку принимают... Пигалица я несчастная – меня перед школой, в Хабаровске, даже к врачу водили – думали, что я карлик. Врач сказал – нет, просто миниатюрная девочка – не лилипутка». Я встрял: «Да, Сергеевна,.. да, а то бы ты сейчас на ярмарках и сабантуях на канате плясала вместе с друзьями лилипутами. Под гармонь... Не повезло тебе, Гаря, не повезло...» Агарь, осматривая больную ступню, протяжно согласилась: «Не повезло-о...»

Маленькая, милая, родная моя Агарь – ласковый, добрый человечек... Ровно через четверть века ты, рвя зубами «похоронку», забьёшься в страшной, звериной истерике: «Сте-ни-ч-ка...» И не будет на свете Маши, чтобы тебя утешить... А что я мог с нелепым своим стаканом воды... Потом, после судорог, рыданий и тихих, почти спокойных слёз, ты окаменеешь в невыносимо жалкой и странной позе. Маленькая-маленькая. Я укрою тебя пледом и полуслышу, полудогадаюсь: «Не повезло-о... Стенюшка... Как же... Господи, за что-о?» Маленькая, милая, родная моя Агарь...

Маша тронула меня за рукав: «Смотри, двадцать гектар засеяли пшеницей, а одну пятаю...» Агарь ухромала переодеваться, а я внимательно слушал Машу, мысленно восхищаясь порядку и точности уютного её разума: она не отвлекалась на попутные размышления – какого цвета был участок клевера, какого – люцерны... Глядя в ребячески-назидательные, удивительно красивые глаза Машеньки, я, в качестве варианта, предположил, что девочки гораздо правильнее и нужнее мальчиков – лучше учатся, не дерутся, не вопят и всем хотят помочь. Впоследствии жизнь превратила детское это ощущение в убеждение твердое: человек – это женщина. Иной мир – мир добра и порядка – возможен, если вручить его сер-

дечным и хозяйственным женщинам, отобрав его у мятежных и легкомысленных (как Ленин) мужичков-фантазеров.

Сравните: война, бунт, бардак, водка – молоко, уют, семья, мир. Поняли?

Закрыв бирюзовую тетрадь, Маша сказала: «Вот и разобрались», - и приняла несколько смущенный вид, словно бы ее хвалили. Я спохватился: «Разобрались, - решился. – Спасибо, Маш, ты помогла... Наверное, учительницей будешь, да?» Маша возвела очи с кокетством таинственной значительности и, шевеля головою, дала понять, что такой вариант не исключен.

Только года через два (уже в шестом классе), сделав не улыбочивые ямочки на персиковых, румяных своих щеках и трогая белой ручкой ослепительно белый кружевной воротничок, она сказала нам простенько: «Я учительницей буду. – Серьезно сказала. Тихонечко. Опустив голову, совсем шепотом добавила: - Литературы». Агарь, взволнованная возможностью события, чопорно опустила длиннющие свои ресницы и с удивительной, едва заметной нежностью чуть коснулась своим плечиком откылка Машиного фартука.

Утонченность девичьей дружбы – как греет она женские сердца в случаях согбенной, бытовой тоски... Девочки, девушки, женщины – да благословит Господь нежные сердца ваши – все вы просты и святы.

В течение длинного (и короткого) школьного десятилетия мы не раз возвращались к вопросу о будущем нашем поприще, но неисчерпаемость (казалось тогда) нашего будущего делала эти беседы вялыми, небрежными, и все мы уклончиво и смутно улыбались, как ребенок, не желающий просыпаться.

Очень трудно просыпаться человеку от чудесных снов ребячества – так трудно, что даже в зрелые годы уставших людей клонит порою в золотой сон отрочества.

Канителясь с лыжными креплениями, Маша приговаривала с почти семейной ворчливостью: «Весна скоро... Школу кончаем... А поприще твое... в облаках. – Справившись с желто-зеленым ремешком, проверила второй и спросила обычным своим голоском: - Куда поступать-то будешь?» Подняла лицо, отуманенное вопросительной бессмыслицей «будущего» и вроде бы растерялась от вероятной его грандиозности.

Вдруг увидя, что Агарь со Стенькой, фехтуя лыжными палками, отступают к опасному месту, я заорал: «Там полынья!» Агарь от страха присела на корточки, а Стенька, на манер Джона Силвера, отдал нам честь с величайшим изяществом. Не провалился. Склонив голову и разглаживая на руках серо-красные рукавички, Маша ожидала моего ответа. Лыжный, с начесом, ее костюм дымчато синел, а румяное лицо было неожиданно, как спелое яблоко на фоне молодых снегов. Тумана не было, но был виден цвет воздуха – нежно-сизоватый, очень похожий на один из отцовских пейзажей. Порой я путал то, что видел наяву, в природе, с тем, что видел на картинах мастеров.

Маша улыбочиво ко мне качнулась: «Очнись». Надо отвечать: «Я, Маш, хочу заниматься естественным делом – не только для себя естественным, но и вообще». Маша отвела от меня взор; приволье бежевых ее бровей стало как будто меньше, и она не спросила, но подумала: «Как это?» Не отрываясь, я смотрел на Машу и не мог отвести взора. В какой уже раз я переживал ее лицо, как переживаешь тишость летнего вечера, ясность весеннего утра или медленность утешающего, как молитва, снегопада. Удивительное лицо: почти постоянное его выражение кротости и примиренного с судьбою приличия неожиданно и плавно вплетались в почти суровую неуступчивость молчаливой русской раскольницы. Как умел, я сказал об этом Машеньке. Она отвечала легко, беззаботно и, видимо,

не подумавши: «Я самая обыкновенная девушка, с очень простым лицом». Хотелось возразить ей, но, вероятно, не пришло еще время и не созрели мои объяснения, что «простота» ее лица изысканна, как простота небес, детей и «Капитанской дочки». Я вздохнул от своей немоты и коснулся колечком своей палки серого, низкозагнутого ее валеночка – пошли, мол.

По дороге я думал (или чувствовал), что Маша – человек правильный, как природа. Летом она была летнею, зимой зимнею девушкой. Мир не вызывал у неё удивления и любопытства: он был ей знаком. Когда и как она с ним познакомилась? Я спросил у неё и почувствовал, что она тронута тем, что я только о ней и думаю, но отвечала Маша совсем простенько: «В детстве». И потупилась – потупилась, милая, как щенок перед внезапно появившейся косточкой. Я опустил голову, и опять промелькнуло в душе – мне без неё не жить. Необычайно напрягшись разумом, я сказал ей слова, о которых до сих пор вспоминаю с удовольствием: «Маш, ты не явление природы, ты – сама природа». Поджав губы, Маша кивнула: «Угу. - Вероятно, через четверть версты, она вопросительно выгнула шейку: - Однако, что означает дело естественное вообще?»

Я обрадовался её утончённой вежливости (полчаса о моих словах думала) и очень легко и просто сказал давно обдуманное и частично ей знакомое: «Вот, Маш, дело естественное – это такое дело, которое делается в одиночку и не требует общих усилий. В «коллективы», как в шайки, люди сбиваются только для зла. А зло – не естественно». Я воодушевился несомненной правотой своих слов и, чувствуя несомненную её заинтересованность – несколько раз она даже переспрашивала, – старался говорить проще и понятнее: «В одиночку человек не построит авианосец, танк, истребитель, трактор – орудия зла, - и не смотри на меня так, - трактор – орудие зла, ибо лишает людей естественного физического усилия... А для чего, Маш, люди сбиваются во всяческие «союзы» - коммунистов, фашистов, писателей, изобретателей и так далее... Только

для одного – разобщать людей, творить зло. Естественно, ковать подкову, топор, косу и одному можно. А вот линкор слепить – шайку надо. Толстой прав: «То, что трудно – не нужно, а то, что не нужно – трудно». Не естественно, Маш, делать пулемёт на заводе, писать справки в конторе, учить вранью в школе, лечить в больнице, извираться в суде; а вот рисовать естественно – и дети рисуют, и простодушные варвары... Я тоже, Маш, этим займусь...»

Явно не зная, что сказать, Маша в сокрушённом восхищении покачала опущенной головой и вдруг глянула на меня с дружеской, чуть печальной, ласковостью. Как мать. Мысленно я растрогался – «Защитница ты моя» - и прибавил ходу.

Наконец мы догнали Агарь со Стенькою и стали играть в снежки. Смеялись, особенно я – даже в снежки Маша играла с весьма серьёзным лицом и лишь иногда, от веселья, морщила свой небольшой носик. Пошли домой. Агарь, вероятно проголодавшись, пела на мотив классической какой-то арии: «Робин-бобин барабек скушал сорок человек». Стеня вежливо осведомился: «Это Женечка тебя текстами снабжает?» Гаря шмыгнула носом: «Ага-а... такая девка... прям пострел.... В четвёртом классе ещё, а уж другом обзавелась... В школу вместе ходят и из школы... оба сутулые от этих ранцев, горбаченькие... молчат-сопят... а друг-то... меньше своих соплей. «Хрущёв, - назидательно сказал Стеня, - говорит, что любви все возрасты покорны». Маша прищурилась: «Кстати, анекдот... О конкурсе на памятник Пушкину. - Подняла рукавичку: - Пушкину... Ну, сначала, объявили третью премию – Пушкин читает программу КПСС; затем вторая премия – Хрущёв читает Пушкина; и наконец, первая премия – Хрущёв читает Программу КПСС».

Сгибаясь-разгибаясь, я расхохотался так невоздержанно, что Маша, никого не стесняясь, успокаивающе поцеловала меня в щёку и похлопала вдоль хребта: «Проглотил?» Отхихикав, Агарь сотворила мечтательное личико: «Интересно, сколько классов окончил этот Хрущёв – один, два?» Маша снисходительно улыбнулась: «Да

нисколько... так... свиней в хлев загнал, кнут на гвоздик повесил и в Кремль... коммунизм строить». Я обрадовался, что Маша повторяет мои шуточки, а Стеня вздохнул: «Ленин четыре языка знал...» «А Сталин...» - начал было я, но Агарь весело меня прервала: «Молчи, молчи, все они там долбаные».

Мы прибавили ходу – все захотели есть.

У ворот ремзавода, в шапке, сдвинутой на затылок, сидел на лавочке курносый, лобастый, сократоподобный сторож Рашид Назарович и, вытянув ноги, читал газету «Правда». Читал он с таким иронично-проницательным видом, словно в те ещё времена постиг, что суть газеты не имеет ничего общего с её названием. Сей сторож окончил философский факультет университета и, порвав с лживой суетой академической среды, пошёл в гущу народных масс созерцать несовершенство мира. Даже облик его, излучая иронию и цинизм, скепсис и величайшее уныние, без всяких слов, яснее ясного говорил о том, что жизнь человеческая слагается из суммы прискорбных безобразий – безобразий необоримых и фатальных. Обычно он над всем подшучивал, но порою, напившись до самоудивления, недвижно смотрел на реку – грустил и думал. Странно: по-татарски он никогда не говорил и по взглядам своим склонялся к великорусскому шовинизму. С Юрой Караваевым он беседовал на такие высочайшие темы, что мы со Стенькой совсем уж ничего не понимали. Когда мы бродили вдоль берега с «рукотворными» своими удочками, он, встретив нас, вздыхал: «Ловите, пока рыба есть... скоро её не будет – сдохнет: вода отравлена...» Мы отдавали философу свои окурки, втайне надеясь, что на наш век рыбы всё-таки хватит. Не хватило.

Ещё издалека я увидел в газете чёрную траурную рамку вокруг портрета, судя по рябенькому костюму, военного. Я вежливо поздоровался и попросил газету «на секундочку». Пока я пробежал глазами – «От Центрального Комитета... Герой Советского Союза... Маршал Советского Союза...», - сторож не сводил с меня на-

стырно-проницательный вроде бы насмешливый взгляд. «Скорбишь?» – спросил он, когда я возвращал газету. «Скорблю, - отвечал я попросту и стал догонять ребят.

Маша вопросительно на меня посмотрела – что там... «Говоров умер, - отвечал я её взгляду, - Леонид Александрович».

Пошли медленней. Степан стянул вязаную свою шапочку, расправил её, помолчал и надел. Маша прищурилась на далеко голубеющий железнодорожный мост. «По-моему, он командовал Ленинградским фронтом... что-то я помню с детства...» Слезы молчаливой благодарности выступили мне в глаза и, опустив голову, я сказал: «Да, Ленинградским... он и нёс его знамя на параде Победы...»

Все четверо, мы родились в тридцать девятом году, и имена железных сталинских маршалов стали частью нашего детства. И в русской грамоте мы упражнялись, разбирая по складам приказы нашего Главнокомандующего. Мы хлопали в ладоши, когда русская (тогда она называлась Красною) армия освобождала от немцев русские города и, подражая старикам, затихали, когда кто-нибудь, в очередь, получал «похоронку». Двое из нас остались без отцов, наше детство совпало с тягчайшим на нашей земле горем и величайшей над ним Победой. Мы были маленькие и оборванные и совершенно чистые – страшные муки России и бессознательный (как всё вечное) её подвиг, спасли нас от проклятия цинизма, нигилизма и подлости.

Спасибо тебе, Родина.

Вероятно, от того что волнения выпускных экзаменов были сильнее впечатлений от сияющих летних дней, мне казалось, что школу мы окончили ночью, ибо по ночам мы корпели над «билетами» и учебниками и под утро закончился выпускной «вечер», с кое-

го Стенька и Агарь возвращались домой с приключениями. Подхватив, вероятно, от экзаменационных переживаний «нервную - как улыбался Степан – горячку», Маша на вечер не пошла – лежала с высокой температурой. Я, в знак солидарности, тоже остался дома, лежал на печи – думал, читал и опять думал.

Утром, то смеясь, то горюя, Агарь рассказывала нам с Машею о «позорном» поведении Стеньки на вечере. Он напился до того, что всю дорогу приставал к ней с нелепыми вопросами: «У кого четыре колена; какое отчество у Татьяны Лариной; и кто – ну вот кто, прям, из наших футболистов играет не хуже Пеле?» «В конце концов, - улыбнулась Маша, - сказала бы ему – Маношин». Я сказал: «Стрельцов». Стеня покачал головой: «Воинов». После вопросов, уже на кладбище, Стенька, вырываясь от нее, устроился спать под скамейкою со словами: «Дайте и мне умереть». Не умер. Сейчас, утром, щупая белую свою голову, вздыхал: «Жизнь началась». Вращая градусник, Маша спросила: «Как же ты его дотащила?» Агарь понурилась: «Растолкала – сам пошел.- Подняла голову вверх, вздохнула: - Ирод». Маша приподняла брови: «Боялась на кладбище-то, ночью?» Махнула ручкою Гаря: «Не-а, я сама поддавая была... - Глаза расширила: - Интересно, Маш, было, рассвет такой... розовый... Под лавкой Стеня сопит, а на деревьях птички запели...»

Степа сидел грустный и старался ни на кого не смотреть. Я предложил: «Пойдем к Юре, Стень, он тебя подлечит». Маша на меня уставилась: «Си-ди». Спросила строго: «А ты чем на вечере отличился?» Не без торопливой и восхищенной Гарькиной помощи я объяснил, что на вечер не ходил, а провел его на печи в благочестивых размышлениях. «Не мог же я идти без тебя, - сказал я ей попросту и, через паузу, добавил с «надрывом»: - Не мог же я упиваться вином и веселием в то время, когда ты лежишь на ложе страдания». Последнее слово я произнес с особенной жуткостью, а Стеня кивал: «Да... да...»

Маша лежала красная и молчаливая, но на совсем краткий миг глянула на меня вроде бы со слезою и так, что я понял – случай этот для нее очень важен и она его не забудет.

Не забыла.

Позже, уже во взрослой жизни, когда я «запретил» ей разговаривать с «любим, кто в штанах», она, выслушав меня, подняла ресницы и спокойно сказала: «Не беспокойся, я не слабее тебя». И в ее еще совсем молодых глазах промелькнула та женская, рассеянная усталость души, которая – хочешь, не хочешь – делает ее всепонимающей и доброй. Мы встали со скамейки; Маша поправила мое и свое пальто и без улыбки сказала: «Ластик, ты ревнив – это хорошо, но на свете есть масса других развлечений». Я улыбнулся, и мы пошли по осенней Уфе, переговариваясь легко, дружески и не очень серьезно. Шутили, почти одновременно прищуриваясь на солнечное, полуголое, золотисто-сизое прощание осени – октябрь... Почти головокружение взаимной симпатии порой чуть пошатывало нас, и мы касались друг друга плечами, не только душой, но и телом, вспоминая «всенощное» наше единение. Единение это, правда в другом качестве, продолжалось и сейчас, и было оно, как прозрачный осенний воздух – с легкой дымкой необъяснимых надежд молодости. И вдруг в благости этого настроения стало намечаться некое темное пятнышко. День был хорош; Маша, как обычно, еще лучше, были деньги после недавнего заказа и здоров был как бык – все вроде нормально, но вот душа не находила себе места. Что-то печально и смутно всплывало в памяти, как полуутопленная льдинка и, не успев осознаться, тонуло в беспомысленности, словно в глубине вод. Маша замедлила шаги и, глядя на острые носки своих сапожек, спросила ласково, мелодически и очень медленно: «Что с тобой?» Медленно и почти торжественно Маша подняла вверх широкое свое лицо, чуть отвернувшись от осеннего света (на краткий миг ее ресницы странно озолотились солнцем) и, всколыхнув приволье бежевых бровей, осторожно сказала: «Да... я за-

метила: ты весь день – вероятно, машинально – посматриваешь в ту сторону, где вы раньше жили... на Белой». Внезапно, как вспоминаешь о смерти, я осознал: «Дом». Поежившись от удивительной ее наблюдательности, я вздохнул: «Поехали». «Сейчас, - сказала Маша, - вон скамеечка у сельхозинститута – посидим немного...»

Всю ночь, ни разу не задремав, мы упивались с Машей телесным счастьем, и посему она часто садилась отдыхать. Вот и сейчас она, осторожно (не помять пальто) и уютно усевшись, прищурилась с улыбчивым изнеможением: «Силушек нету». Вытянув красивые ноги и постукав сапожком о сапожок, Маша сказала не с обычным простеньким своим видом, а посмотрела на меня «женским» взглядом: «Знаешь, Лась, мне иногда кажется, что к моему телу ты относишься как-то по-другому, чем ко мне – не лучше, не хуже, - но несколько иначе...» Я понял, что Маша хочет отвлечь меня от печали разрушенного дома и сказал, что вопрос обдумаю и отвечу на него ночью, в постели.

Как-то незаметно она перешла на бытовые темы и стала толковать о банках помидоров, кои я должен помочь ей привезти от Софьи Николаевны: «Завтра – обязательно, а то послезавтра мама к тете Ксене уезжает... - Глаза расширила. – Мы у матушки еще кусок окорока стырим...» «Выпросим,- улыбнулся я, почувствовав, что душа моя уже готовится к встрече с тем местом, которое навсегда останется для меня родным. И больным.

Удивительно: наш дом снесли еще тогда, когда я учился на втором курсе и, приезжая на каникулы в новый дом, я ни разу не сходил на место гибели старого. Душа, вероятно, была не готова. И вот, через шесть лет, краем уха услышав от Маши, что останки дома валяются возле школы, в которой она работала, я, как всегда с опозданием, встрепенулся. Очевидно, давно не испытывая печалей и, вероятно, чувствуя в них потребность, я решил во что бы то ни стало увидеть все.

В полупустом троллейбусе Маша с уютным своим видом рассказывала о школьных своих делах. Она сняла перчатки и, как обычно, у меня чуть не закружилась голова от красоты ее рук. Совершенные, плавные, нежные руки с ямочкой под каждым пальцем. Это было как волшебство – трехлетняя девичья ручка в размерах взрослой женской руки. Удивлялся: Маша стирала, мыла полы, чистила картоху, а рученьки – именно «рученьки»...

Нежный ее голосок прервал мои восхищения: «Это невежливо – не слушать даму». И видом своим, и голосом я уверил ее: «Слушаю, Маш, слушаю: Нигматуллина – ортодокс, Гоголь – гений, а Яровенко – хабалка... И все это на фоне недорослей, кои, открыв рот, внимают вещему твоему слову... - Маша улыбнулась, а я продолжал: - Но все это земное, дружочек, и посему я залюбовался небесным – твоими руками. Право, Маш, когда я буду давать дуба, то последним, что мелькнет в угасающем моем сознании, будет твоя ручка – ручка из волшебного сна детства». Ее взгляд обещал улыбку, но она не улыбнулась, а усмехнулась горько: «Без дуба ты не можешь – что за манера... - Отсердившись, сказала: - Ластик, ты насчет смерти прекрати, а насчет «ручек» - пойми. Я педагог, и вид моих рук – одна из форм воспитания, ну, хотя бы девочек». «Это очень славно, Маш, что ты несешь свою свечечку, а привычка – душа не только держав, особенно привычка к добру и красоте».

«Приехали», - сказала Маша, глянув в окно, и стала надевать перчатки – кнопки их щёлкнули уже на остановке, осенённой монументом «Дружбы народов».

Мы неспешно пошли дорогою, которой ходили в детстве тысячи раз. Когда мы перешли мост через Сутолоку, я обернулся налево: церковь наша стояла среди золотисто-сизой тихости – голубая, стройненькая и радостная самой себе. Я хотел было снять кепочку и, как тот возница, который давным-давно перевозил нас на новую квартиру, перекреститься на храм, но не посмел. Мы свер-

нули направо, опустились к реке и не без волнения подходили туда, где уже не было нашего дома.

Подошли. Совершенно ровное место. Свежий асфальт и каток в углу бывшего нашего двора. Было неловко, странно и совестно, как всегда, когда своими глазами видишь неотвратимость смерти. И сарайки снесли. И наш, и Елены Григорьевны, и тот, в котором Виктор Иванович «слагал» свой мотор, и тот, в котором Нагима Асхатовна открывала мне жгучие тайны женского тела. Всё снесли и могилку Лобика заасфальтировали. И тополь убили. Я молчал, сжав кулаки в карманах пальто. Потом снял кепочку. Сам удивился: как на кладбище... Подумав, я негромко сказал: «Если рабочий класс не остановить, он всю Россию превратит в погост». Переступив с ноги на ногу, Маша сказала тихо и медленно: «Да... рабочий класс самый реакционнейший, он ничем не связан с вечностью – ни землёй, ни собственностью, ни людьми, ни памятью... Ни своей работой: все его поделки устаревают через пять-десять лет. Класс, работающий на свалку, – отсюда психология временщиков: после нас хоть потоп... Это не крестьяне: умирать собрался, а рожь сей... Это пьяные временщики, у которых нет ничего святого... Даже отечества... Даже надежд – их заменяют автоматы... роботы... Вот они и беснуются...»

Я окаменел от железной логики молоденькой учительницы: Маша говорила всё это в первый раз, но как давным-давно продуманное и взвешенное – говорила, имея перед глазами наглядное доказательство своим словам.

Маша не спросила, а просто поёжилась: «Кому он мешал?» Внешне спокойно, а внутренне сотрясаясь, я отвечал притихшей Машеньке: «А ты помнишь, Маш, с какой любовью и каким тщанием был построен наш дом... Дом красивый, как Россия...» Маша вздохнула: «Вечная ему – и ей – память».

Во время нашей беседы у асфальтового катка появилось трое парней – за перевёрнутым ящиком они стали выпивать и закусывать. Галантные ребята: во время очередного возлияния один приподнял пол-литру (пили из горла) и крикнул: «За Ваше здоровье, девушка». Маша тронула меня за рукав: «Пойдём». «Эй, парень! - крикнули нам вслед. Я обернулся. - Тебе повезло, - и три больших пальца вознеслись к небесам, - красивая у тебя девка!» Я подумал: «Красивая – это что; умная – вот это да».

Пока мы ходили-ездили, небо и солнце стали заволакивать лёгонькие, вкрадчивые облачка и на земле стало смирнее и уютнее. Мы постояли на берегу. «Помнишь, Маш, я тебе показывал репродукцию с картины Нестерова – «Амазонка» - это дочь его Ольга Шретер... в чёрном костюме, красной шапочке... Ты улыбалась: «На меня похожа»... и правда, чем-то похожа... Позируя отцу, она стояла вот здесь и смотрела на наш дом. Может быть, в него заходила...» Маша недвижно смотрела на Белую: «Не надо, Ластик, пойдём». Она поправила мне кашне, а я возмутился: «Жизнь, Маша, это война с забвением, а эта падаль – я кивнул на лесопилку – воюет с памятью, да с каждой собачкой они воюют, с каждым деревом, со всем, что живёт и дышит». Совсем уж тихонечко, почти шёпотом, Маша выдохнула: «Пойдём».

Пошли, постепенно успокаиваясь ритмом согласных шагов. Помявшись, я сказал: «Ты говорила, что дом где-то возле твоей школы валяется – пойдём, Маш, испьём до дна чашу сию». Она поспешно кивнула: прищурилась с бытовой пронизательностью: «Так...на тринадцатом, мы пуленькой...»

В автобусе Маша тронула меня своей торопливой предупредительностью – старалась, милая, чтобы мне стало полегче. Кивнула: «Сейчас выйдем; шагов пятнадцать, перед оврагом, – и посмотрела так, словно сказала: «Ну, ничего, ничего...заживёт».

Действительно, рядом с её школою, на большом пустыре лежало то, что осталось от родного моего дома. Одна сотая, наверное, - растащили, пожгли, надругались... Сильно стучало сердце – «Наполеон, Гитлер – экий вздор, внутренний враг, враг, враг...»

Позже Маша сказала, что я оскалился совсем по-волчьему. «Более страшного удара, чем коммунисты, России не наносил никто, никогда... - Я чуть не взвыл, но сказал почти шёпотом: - Ведь даже линии фронта нет – враг в тылу...»

Только шесть брёвен от дома осталось... Только шесть – крашенных нежно-розовой краской по белому-белому левкасу: дом грунтовали, как икону. Фрагмент ажурного, дивно-резного балкончика остался... Сколько рассветов я встречал вместе с ним, сколько закатов... Сколько снегопадов, сколько дождей... Впервые-впервые осознанных... Часть тёмно-красной крыши с вырезом для трубы. Я очищал эту крышу от снега в одном сереньком свитере, и тулупчик мой лежал на трубе. Был март, впервые припекало солнце... Я щурился на ослепительный снег с ярко-голубыми тенями и бессловесными движениями души догадывался, что я и круглолицая девочка Маша совсем не похожи на всех остальных людей. Думал тогда: «Маша исключительно хорошая и красивая девочка – таких нет не только в нашем пятом «А» классе, но и вообще нигде». От внезапного этого открытия я сел прямо в снег и стал его есть. Внизу, у сарая, Стенька, надев шапку на валенок, ходил на руках по снегу. Без рукавиц...

Маша тронула меня за рукав: «Чему ты улыбаешься?» Я подал плечами: «Так...»

Смотрел: впереди, через овраг, в сизой предвечерней дымке таяли плавные холмы Уфы. Единственной, нежной моей родины.

Маша надела на плечо ремешок сумки и крепко взяла меня под руку: «Пойдём». По дороге сказала: «Сегодня у меня ночевать будем, а то этот Кубик твой меня просто раздражает – сидит и смотрит – нахал эдакий. Смущаюсь я, Лася. А когда вчера в ванной

душ принимала, он тоже в щёлочку смотрел...» Я хохотнул: «Маш, за то, что умеешь так славно снимать напряжение – тебе пятёрку по поведению, но, знаешь, Маш, чего-то я выпить захотел» Маша согласилась: «Вот сегодня можно, только я сама в магазин пойду, а ты опять всякой чепухи нахватываешь. Деньги-то с собой? Я отдал ей кошелёк и стал поджидать, по привычке вникая в цвет и состояние небес. Кто-то со мной поздоровался, я машинально ответил, сравнивая взглядом западную и восточную часть неба. Физически (я изучал) закат ничем не отличается от рассвета. А рассвет – от заката. Что-то шевельнулось во мне: «Может, и в жизни так же?»»

Как обычно, Маша появилась совсем тихонечко (как умудрялась – ведь сапожки на стальных шпильках) и отдала мне тяжёлую уже сумку: «Пошли скорее, кушать хочу».

Однокомнатная квартирка Маши всегда вызывала у меня улыбку – в ней было до оторопи аккуратно и до смешного чисто. И уютно. Стены украшали портрет Чехова и левитановское «Над вечным покоем». На столике – кувшин с двумя кувшинятами. В большом – большой кленовый лист, в маленьких – маленькие. «Всё путём», - как говорит Мария Михайловна.

Я сел в кресло, взял на колени кота Митрофана и стал поджидать, пока Маша примет душ. Очень хотелось есть и я стал злобно чихать: «Ка-а-ждый день моется – на кой чёрт...» Это я и спросил у Маши, когда она – сияющая, в махровом халате и с полотенцем на голове – появилась из «мыльни». «А на кой чёрт, сэр, вы каждый день гири свои таскаете?»

Наконец уселись за стол. Маша иногда пила вино, но «Пшеничную» попробовала первый раз в жизни – удивилась: «Сурово». «Я, Маш, несчастный – вот если бы я купил эту ветчину, в ней были бы жилы и хрящи всякие.. А вот ты купила – и это пища богов». Куриным движением Маша вытянула и втянула белую-белую свою шейку: «Сам виноват: чего тебе отрежут, то ты тащишь в умилении, а я вот из-за этой ветчины продавщицу до белого каления до-

вела и очередь возмутила – выбирала». Прожевав скандально-прекрасную ветчину, я спросил: «Как ты, такая интеллигентная, тихая и кроткая, обрела такую цепкость житейскую?» Пожала плечиком: «Я ж ничего не утратила».

Зазвонил телефон; Маша показала – «меня нет». Поговорив, я доложил: «Некая Соловьёва, Мария Иосифовна, из школы, просила позвонить, когда придёшь». Маша померкла: «Завуч это, в общественную работу запрягать будет. - Возмутилась: - Всё на меня – Мария Михайловна, вы не замужем, у Вас детей нет... уж вы, пожалуйста... - Маша гордо помолчала и вдруг сказала такое, от чего я чуть не подавился: - А у меня вообще времени нет – я книгу пишу». Растерявшись, я, как обычно, глянул в окно, на небо – явно собирался дождь.

## 11

«Обожди, не пей, - воскликнула Маша, - я сейчас пельмешки принесу. - Принесла. Пельмени дымились, как Бородино. – Ты не бойся, это не фабричные, я сама лепила вчера по рецепту Галины Фёдоровны». Оправившись от разнообразных удивлений, я сказал: «Маш, объяснись с книгой-то, а то у меня от любопытства лопнет чего-нибудь». Маша осторожно поперчила и мою, и свою тарелки и сказала с протяжной рассудительностью: «Не лопнет... всё путём – вот покушаем, и я всё как на духу тебе поведаю».

Откушали. Вздохнули; я взял на колени вальяжного и пресыщенного Митрофана: «Слушаю, душечка». Дабы я не отвлекался от темы созерцанием умопомрачительной ложбинки меж потрясающих грудей, Маша застегнула верхнюю пуговичку полосатого халата и выпрямилась в кресле – скромная и серьёзная, как примерная ученица. За окном пошёл дождь. Маша на него посмотрела: «Вот... немного я смущаюсь... - Решилась: - А знаешь, Ластик, я давно, чуть ли не на втором курсе, стала догадываться, что Чехов – гений,

и гений не только литературный, но и не до конца нами понятый, высочайший нравственный ориентир... Да... вот... Двадцатый век, в общем-то, его проглядел – ну, войны, там,... революции всякие... Он писатель двадцать первого века... Если опять чего-нибудь не случится. - Чуть прищурясь, Маша катала хлебный катышек и продолжала с редким для неё растущим воодушевлением – даже голосок зазвенел: - Понимаешь, художественный его талант был не стихией, а освещён той самой «общей идеей», которой так не хватало герою его «Скучной истории» старому профессору Николаю Степановичу – моего дедушку так звали. - Полуулыбкой она «повинилась» за это своё отступление и паузой и тоном выделила: - А у самого Чехова была эта самая «общая идея»... Была... - Шевельнув головой, приподняла брови: - Но он не был таким наглым, как Толстой или Достоевский – был истинно смиренен и эту «общую» свою «идею» нигде и никогда не декларировал. Но она, эта идея, по крупицам разбросана во всех его произведениях – и в рассказах (даже самых маленьких и смешных), и в повестях; очень много её в пьесах и особенно в удивительных его письмах, и особенно в интереснейших письмах к Суворину... Даже в записных книжках... они есть... И вот..., - Маша встала, прошлась и опять скромненько села: - Вот я хочу эти крупички собрать. - Помолчала немного: - Собрать, прокомментировать по своему разумению и скомпоновать так, чтобы получилась книга под условным названием «Этика Чехова». - Оглянулась на дождь за окном: - Я понимаю, это дело не двух, и даже не трёх лет... Но оно, это дело, мне кажется важным и нужным. «Сей-час» - наступает время не скандальных идейных битв, а время тихой и сосредоточенной работы – чеховское время. - Вздохнула и посмотрела на меня вопросительно и вроде бы прося «прощение» за дерзновенные свои помыслы. Сказала тихо-тихо: - Я не от гордости это затеяла... Мне кажется, я понимаю Чехова...» Подумав, я спросил: «А как, в самых общих чертах, тебе представляется философия Чехова?» Маша задумалась, и взор её долго не мог

остановиться; наконец остановился, расширился, посветлел: «В самых общих чертах... Ну-у, скажем так – удобный стоицизм. Да, комфортный стоицизм культуры. - Склонив голову, соединила ладошки. - И ещё: Чехов единственный наш писатель, который понимал, что дело не в социальных и общественных идеях, которые неизбежно ссорят людей, не в «направлениях», которые тоже их разобщают, а в постоянном – как жизнедеятельность живого организма – нравственном усилии. - Посмотрела с недоумением: - И только. «Все мы народ, и всё то лучшее, что мы делаем, есть дело народное»... Эти его слова висят у меня в классе. На многие ребячьи вопросы я показываю на них рукой... И знаешь, Лась, - дети понимают. Они всё понимают...»

Маша стала смотреть в окно. От чистой – совершенно чистой радости я покраснел (даже уши горели) и сказал: «Маша, поверь, ты – удивительный, ты прекрасный, ты настоящий человек... Маша махнула ручкою – «ну уж» - невзначай расстегнула верхнюю пуговичку халата и вдруг обрадованно: «Так ты думаешь, что стоит работать над рукописью?» Я даже отвечать не стал, по лицу она прекрасно поняла – стоит. Мне очень хотелось её обнять, поцеловать, перекрестить... но... почему-то я застеснялся – не посмел. Первый раз в жизни. Нашей жизни. Я наполнил крохотные стаканчики: «Мария... Михайловна... вот за это стоит поднять тост». Маша взяла свой стаканчик стоя и потупилась. Я тоже встал; мы чокнулись, и я сказал: «Удачи тебе, родная...» Маша опустила голову, желая скрыть влагу в глазах, и вдруг подняла её, улыбнулась: «Спасибо». Выпили. Сели. Помолчали. Был хорошо слышен дождь.

Темнело. Маша зажгла свечи и стала раскладывать пасьянс. Я лежал на диване и, почёсывая Митрофану горлышко, рассуждал вслух: «Я хорошо тебя понимаю, Маш, понимаю, над чем ты хо-

чешь работать... Вот в «Трёх сёстрах», например, в третьем действии – пожар, Ольга Сергеевна отдаёт Анфисе вещи всякие, для погорельцев: «И это бери, няня, и это... и кофточку тоже» - всё нормально, всё по-человечески, всё, как ты говоришь, путём... Но вот когда попозже, сестра её Маша желает ей (и Ирине) покаяться в своей любви к Вершинину, пожаловаться сёстрам на своё несчастье – а полюбить замужней женатого – это несчастье, то Ольга говорит Маше: «Оставь это. Я всё равно не слышу». У человека не стул, не кофточка – душа сгорела: не желаю слушать, видите ли...»

Задумчиво и улыбочиво щурясь, Маша смешала карты, медленно кивая головою. «Вот тут, Маш, Чехов без всякого нажима даёт понять, что Ольга Прозорова интеллигентна на бытовом, самом пошлом уровне: кофточку можно отдать (наглядно же), а вот до конца понять человека, уяснить его резоны, посочувствовать – чего-то не хватает. Чего? Это, дружочек, вопрос Чехова». Уже несколько секунд Маша держала направленный на меня указательный пальчик: «Вот... вот... вот... - Она встала, взяла с письменного стола бежевую тетрадь, полистала: - Это мои наброски к рукописи... Вот читай...»

Мизинец её с ноготком, покрытым бесцветным лаком, указал мне нужное место, и Маша включила настольную лампу. Вздохла и сделала шаг назад. Уже не удивляясь, я прочёл: «Три сестры»; третье действие, пожар. Ольга отдаёт вещи погорельцам, но не желает слушать о смятении Машиной души. Узость чувств и разума. Чехов осуждает конформизм».

Я поднял голову. Маша, взвешивая на ладонях тоненькое, русое окончание своей гривы, ожидала моей реакции. Мы обменялись взглядами, которые не нуждались в словах: дружили-то с шести лет – уже двадцать. Маша улыбнулась и приняла таинственный вид: «Попьём чайку... с тортом... Сама пекла, между прочим...» Торт, естественно, получился «нерукотворный», и я, вспоминая всё новые и новые синонимы, подвывал ему слова восхищенные и по-

хвальные. Маша цвела. Неявно, но цвела. Вдруг она ойкнула, то ли чаем обжѣгшись, то ли горячей темой. Темой: «Совсем забыла... на днях Агарь звонила, очень встревоженная – твой Степан орден получил «Боевого Красного Знамени»... Гаря ужасается – «боевого» - значит, воюет майор Курпей». Я засомневался: «Какие бои, Маш, где... А Стенька так... вероятно, обучает своему ремеслу кубинских или вьетнамских лѣтчиков... А вообще-то Стѣпа молчаливый и храбрый – чего случись, он Героя Советского Союза получит непременно - стальной хлопчик». Маша усмехнулась с печально рассеянной иронией: «Этот герой о жене бы лучше подумал – по восемь месяцев Гарюха одна спит». Я улыбнулся:

«Дружочек, Стеньке не разрешает думать устав воинский – за него генералы думают; куда пошлют – будь любезен». Маша исказила гримаской румяную свою щѣку: «Да и деньги тут, пожалуй, не последнюю роль играют: вон Агарь в сентябре себе шубку купила за две тысячи – это ж больше моей годовой зарплаты...»

Я вздохнул. Изредка мурлыкая, Митрофан уселся рядом со мною, и я тоже стал мурлыкать: «Когда ещё я не пил слѣз из чаши бытия... Зачем тогда в венке из роз, к теням не отбыл я...» Маша на кухне перестала звенеть посудой. «Зачем, - обратился я к важному Митрофану,- вы начертались так на памяти моей, единый молодости знак, вы, песни прежних дней...»

Вытирая руки, Маша появилась в комнате и осторожно села в кресло. Смотрела в пол. Я уже не мурлыкал, а почти пел: «Не нарушайте ж, я молю, Вы сна души моей...» Маша подняла голову и сказала с ласковой, но всё-таки строгостью: «Ластик, возьми себя в руки – дом не вернёшь». Я отдал ей честь с величайшим изяществом. Круглое её личико сделалось совсем детским: «Ты чѣ?» Руки её лежали на коленях совершенно беспомощно. Взор её становился рассеянным, а ресницы смежались – она явно хотела спать.

Даже не прибрав со стола, что очень редко случалось, Маша разобрала постель и, удалив на кухню Митрофана, неторопливо об-

нажилась – не отворачиваясь и даже не потушив свечей. Глаза её были совершенно сонными. Мы обнялись... Позже, когда дыхание успокоилось, Маша прошептала: «Дождик прошёл... - с детской совсем интонацией. Шёлковая её ручка, едва касаясь, медленно двигалась по мне и вдруг остановилась, вжалась.- Всё хорошо, родной... - нежный, тающий, засыпающий голосочек. – Всё... хорошо...»

Я лежал, смотрел на бледное – через шторы – пятно фонаря за окном и, не чувствуя, где её нога, где моя, туманно осознавал, что во мне, рождаясь, нежно корчится фраза – фраза, с которой я начал эту книгу – «Ах, какой это был дом»...

### 13

Фонарь погас. Маша спала. Я лежал и думал о фатальной неотвратимости утрат – утрат тем более печальных, что были они совершенно бессмысленны. Это понятно, когда волк загрызает ягнёнка – он хочет есть. Но слесаря, пополам распилившие Лобика, были сытыми, а «люди», разрушившие мой дом, не собирались его сжигать, желая согреть у его огня своих детей. Просто так: убили – и всё, сломали – и всё... «Убивать и ломать, ломать и убивать» - неужели это в крови людской?

Что думает Господь? Оставит ли он людям право на существование или, к рваной матери, сотрёт их с лица земли, чтобы спасти её – несчастную, изгаженную, поруганную эту землю. Господи, покарай взрослых, но пощади детей. Пощади, Отче наш, даже зная, что вряд ли они свернут с дороги отцов своих.

Как обычно, в своих рассуждениях я всегда доходил до самых крайних крайностей, и Маша всегда бессловесно печалилась о «ярости» моего сердца. Я положил себе на лицо лёгкие, душистые её волосы и подумал: «А если глубже – причём слесаря и коммунисты? А Лев Толстой – «Бога – не надо, Царя – не надо»... А что на-

до?» Я вздохнул: «Прельщенье гордого ума» - Священный Синод правильно постановил... Тоже мне, гений-землепашец, граф-большевик... Старик уж – помирать пора, а он всё людей ссорил: «Не могу молчать», видите ли... А его письма к Столыпину – о, фарисей...»

Вероятно, от сердитых моих мыслей Маша проснулась и атласная её ручка вновь поплыла по мне, а ресницы стали щекотать плечо. Я взбодрился: «Маш, я кушать хочу». Маша давно привыкла к ночным моим «закускам» и, накинув халат, ушла на кухню. Когда она перестала хлопать дверью холодильника, я громко спросил: «Маш, а как ты насчёт Толстого?» В ответ она зашипела – очевидно, яичницей – и проскандировала: «Бо-о-льшой талант, но его не любили женщины и он стал мизантропом... ну... занудой». Я почесал щёку – неопровержимо... Выпущенный на свободу Митрофан взобрался на шифоньер и смотрел оттуда надмирным взглядом номенклатурного «работника». Маша есть отказалась, но за стол села: «Посмотрю на тебя».

Я восхитился: «Яичница с беконом – писча благородных и мудрых англичан...- Поев, сказал: - Боже, благослови Англию!» - и поцеловал Машину ручку за ночные её хлопоты.

Подперев кулачком голову, она смотрела на меня сонливо и ласково улыбаясь: «А я давно заметила – ты неравнодушен к англичанам: читаешь только английских авторов, слушаешь только «Би-Би-Си»; я уж молчу о футболе,.. – показывая восхищение, Маша закрыла глаза. – «Ах, Чарлтон, ах, Болл, ах, Стайлз, ах... ах...» Я ей улыбнулся: «Ещё бы, Мери, ещё бы: зрелый, твёрдый, культурный, очень гуманный народ, уважающий закон и человеческое достоинство. Ты знаешь, зайныка, что в годы войны английские лётчики писали на фюзеляжах своих самолётов: «За Сталинград и за Ковентри». Степан аж побледнел, когда мне это рассказывал. - Я вздохнул: Вот наши никогда бы не догадались написать: «За Ковентри и за Сталинград». Маша тоже вздохнула: «Догадаться бы

догадались, но начальство бы не позволило... Кстати, а что бы ты написал на своём самолёте? Я не долго думал: «За Машу Миронову, за Агнесс Уикфилд». «У-у... а мы и правда с Агнесс чем-то похожи...» Маша поудобнее устроилась в кресле, очевидно, собираясь поболтать – даже сон слетел с домашнего, ночного, до озноба родного её личика. Даже чайник на газ поставила. «Торт, без ложной скромности, очень даже ничего – чайку выкушаем, да, Лася...»

Ещё печаль: «За Сталинград и за Ковентри» - как жаль, что я не рассказал Маше, что, будучи в ссылке и получив известие о смерти Байрона, Пушкин, в деревенской церквушке заказал панихиду по рабу божьему Георгию (Джорджу). Отстоял её. Конечно же, он и предположить не мог, что волнующие нас слова «За Сталинград и за Ковентри» будут сродни жёлтенькой, тоненькой, поминальной его свечечке...

Шутили, говорили, вспоминали сегодняшний день, и вдруг с совершенно серьёзным и даже строгим лицом Маша, не без очень милого затруднения, сказала: «Если ты будешь всё на свете так близко принимать к сердцу, близко до боли – я же вижу, – то ты превратишься в совершенно беззащитное существо... Абсолютно беззащитное...» Я поднял голову: «А с кем война-то, Маш?»

Ставшее невеселым лицо Марии повернулось ко мне с усталым спокойствием: «Со злом, милый: кто убил твоего Лобика, кто срубил твой тополь, кто разрушил твой дом, кто надругался над твоею рекою, кто пытал твоего деда, кто затоптал моего? – На лице её не было никакого выражения. - Как бы там они себя ни называли...» Маша говорила медленно и так безнадежно-спокойно, что мне стало не по себе. На совсем краткий миг что-то тяжёлое, угрюмо-раскольничье и совсем необъяснимое сделало милое её лицо почти неузнаваемым. Возмутилась Маша: «Ведь даже художники, коллеги твои, не всегда интеллигентны; сколько среди них алкашей – ни-ка-кой чести, ни совести, ни таланта... С кем ты общаешься?»

Я улыбнулся: «Мне, Машенька, можно общаться с любыми представителями рода человеческого; я – святой».

Маша на меня посмотрела; от горлышка до середины тела она провела ручкою по своему халату и склонила к плечу простоволосую голову: «А это?» Я взял в руки кусок белого хлеба и показал ей: «А это?» Оголив до локтей кругленькие свои ручки, Маша подняла вверх обе ладошки: «Сдаюсь», - и, как деревце под ветерком, стала уклончиво коситься в сторону постели.

Мы улеглись, продолжая беседу о хрупкой дружбе духовного и телесного счастья – дружбе, требующей особой виртуозности чувств и доступной только людям лёгким и весёлым, умным и очень талантливым. «Как мы», - прошептала Маша, и я почувствовал, что она улыбается. Постепенно паузы между затихающими фразами становились всё продолжительнее и, как обычно, осязание оказалось гораздо могущественней наших рассуждений. Простодушные её ласки были трогательны. Бархатные ручки не останавливались, и она сочиняла и шептала ласковые, совершенно бессмысленные словечки – «стоналки», которые чудились мне таинственным голосом самого естества. После Машенька сказала с лёгонькой хрипотцою: «Всё, хватит на сегодня, а то я... - проглотив слюну, она неожиданно, тихонечко и мелодически пропела, - помру-у...»

Отдохнув, отыскали одеяло, укрылись и крепко-крепко обнявшись, затихли, «как зверушки». Невидная во тьме, улыбка её явно таяла в истоме дремотной и ласковой: «Спи, Ластик, спи, мой хороший...»

Я думал-вспоминал сквозь дремоту. Неужели это та самая, маленькая, чуть косолапенькая девочка Маша с беленькими бантиками, которая, рассказывая на уроке истории войны Петра, ввергла класс в молчаливое и весёлое переглядывание: «В это время на Россию напал шведский король Карл аж двенадцатый...» Недоумевая, смотрела она то на ребячье хихиканье, то на учительницу, не-

уверенно теребя свои ручки. И глаза... потрясающие глаза растерявшейся невинности. Уже тогда я понял, что без неё - мне не жить.

В полусонной, в полубезумной какой-то надежде я осторожно и нежно потрогал милую засыпающую её голову – бантиков не было. Я передвинул пониже свою подушку, положил щёку на её грудь и закрыл глаза. Сладость «осеннего сна» туманила мне сознание, и на краткое мгновение возникали в нём картины яркие, неожиданные и чёткие, как хорошая цветная фотография: то собачья верная мордочка возносила брови «домиком», то Сталин в мавзолее никак не мог приподнять железные свои руки, то улица с самыми мельчайшими подробностями – улица, которую (клянусь) я никогда в этой жизни не видел; возникали родные и совсем не известные мне лица. Выразительность и почти пугающий реализм мысленных видений были воистину удивительными. Я засыпал. Последним, что всплыло в гаснущем моём сознании, была Маша – маленькая, зимняя Маша: с простеньким своим видом она пила чай с баранкою и смотрела на морозно-узорное окно школьного буфета с рассуждающей о чём-то безмятежностью. Растворяясь в небытии, я не подумал, а почувствовал: «До свидания, ма-лень-ка-я...»

Утром я поведал ей о ночном свидании с тем, что, увы, не вернёшь.

Разливая утренний шиповник, Маша удивилась: «Почему «увы»? С тех пор, Лася, я ничуть не изменилась – ни душой, ни нравом, совсем ничем... разве вот только телом...» - и она коснулась мизинцем всплывающего из великолепия бежевых кружев белого совершенства своей груди. Тихая, ласковая, нежнейшая радость клокотала во мне, и я зевнул, потянувшись: «Собирайся, дружочек. Пора... на трудовую вахту». С шустрым изяществом Маша прибрала со стола и, хлопнув окаянной дверцей холодильника, стала окончательно одеваться. Я вздохнул – «бабьи сборы – гусиный век» - и, заглядевшись на сочетание бежевых кружев и белого тела, чуть не сел на Митрофана. Одеваясь, она приговаривала:

«Тебе хорошо: заправил свитер в джинсы и – готов; а вот мне, в целях воспитательных, нужно ежедневно быть куколкой. - Закрыла один глаз: - Ты ещё почивал, а я уже вертела «классическую» - для класса – причёску; а ка-а-к же: один раз я на субботник «явилась» простоволосой, как «колдунья», так Нигматуллину валерьянкой отпаивали и под руки водили, как архиерея... Ладно Мария Иосифовна мне шпилек дала: «Заколись, Маш, а то помрёт ещё»... Маша надела бежево-дымчатую блузочку с рюшами, темно-синюю юбку (не короткую) и тёмно-синий пиджачок с тёмно-бронзовыми пуговичками. Я застонал: «Шарман... вяжите меня, православные».

Ещё раз были проверены газ, вода и мисочка Митрофана; проскрипели молнии на сапожках, щёлкнул дверной замок – пошли. Спускаясь по лестничному маршу, конечно же, встретили соседа – совсем белого старичка с уныло-недвижной физиономией. Он осторожно посторонился, уступая нам дорогу, и поздоровался с потрясающей душу политичностью. Маша вежливо наклонила голову: «Здравствуйте, Иван Сергеевич». Спустившись пониже, я поднял ладонь вверх: «Почти Тургенев». Маша хихикнула: «Почти Берия, - и, расширив глаза, огрубела голос – почётный чекист» Я козырнул славному титулу, и мы вышли в тускло-сияющее золото полуголой уже осени. Маша глянула на свои и, проверяючи, на мои часы: «У-у... пойдём пешком – успеем, а возле гимназии ты на дилижанс сядешь – лады?» «Лады», - отвечал я.

По дороге, с изысканным изяществом товарищеской простоты, она сказала, что идёт в школу с радостью и даже нетерпением; сказала, что среди её старшеклассников есть много интересных и талантливых людей. «И знаешь, почти все – девочки... «Литературу» любят... Особенно в восьмом «А» есть такая чудо-девочка – Даша Крыльцова. Очень хорошая, горячая и сердечная девочка – не такая, как все: много читает и много думает. Сестричка у неё есть младшая, Настенька – она так трогательно, так интересно о ней мне рассказывает... - Маша ласково и с оттенком тайной гордости при-

щурилась. - В четверг в коридоре меня остановила: «Мария Михайловна, вот Вы нам объясняли, что Татьяна Ларина – хороший человек, а я думаю, что она – человек нехороший». Я сначала опешила, а потом говорю: «Вы, Даша, объясните, почему?» Она, знаешь, глазёнки такие праведные горят: «Злая она: любовь свою, Онегина, и, наверное, своего мужа она погубила... Любовь погубила... Злопамятная она». – Цитирует: - «Когда в саду, в аллее нас Судьба свела, и так смиренно урок Ваш выслушала я? Сегодня очередь моя». Ведь это.., Мария Михайловна, это жестоко: сегодня «очередь» моя... Это спорт, что ли? Она же не за поручика замуж вышла, а за богатого «генерала» и сидела, подлая, и ждала, когда сможет ответить ударом на удар. Она не знала милосердия, а ведь Онегин благородно поступил с её неопытностью... Она врунья: «я другому отдана» - её что, в цепях под венец тащили? Онегин хоть раскаялся в своём хладнокровии, а она даже не знала прощения и его радости... Бессердечная она и всё». Ты знаешь, Лась, я чуть перед ней не всплакнула – отвернулась, а потом говорю: «Вы, Дашенька, по своему правы, но лично мне кажется, что для Татьяны Лариной самым главным в жизни была не любовь, а человеческое достоинство и она была верна ему до конца». – А Даша: «Я, Мария Михайловна, всё обдумаю и потом вам скажу своё, - Маша чуть улыбнулась, - решение». Вот такая девочка», - и она посмотрела на меня вопросительно. Я вздохнул: «Хорошая. - Закурил. – По-моему, вы обе правы – просто вы разные люди разных времён: ты видишь в Лариной неуступчивую душевную чистоту русских революционерок-фанатичек (а она из их породы), которые до страдания были верны неизвестно чему. Ларина, например, мужу, который её купил – купил, как крепостную девку...» Маша оскорблённо шевельнула плечами и гордо посмотрела на вывеску овощного магазина, под которой человекообразные грузчики недоверчиво смотрели на машину с капустою. - А простодушная и «горячая» девочка Даша, вполне резонно, видит в этой особе убийцу самого святого на земле – люб-

ви». С некоторой оторопью Маша спросила: «По-твоему выходит, что Татьяна Ларина – мерзавка?» «Нет, - отвечал я,- она жертва заблуждений чистой, очень гордой и не в меру требовательной души – души, умеющей влюбляться, но не умеющей любить... Как, впрочем, и весь русский народ...» Маша покраснела от удовольствия, но покачала головой, сомневаясь: «И всё ж Татьяна хорошая – она образец женской и человеческой чистоты, как Зоя Космодемьянская». Я улыбнулся: «Маш, Ларина – ханжа, и Пушкин сочинил холодную её «чистоту», устав от проституток вроде Нюрки Керн. – Вздохнув, продолжал: - Пойми, дружок, что Таня и Зоя – это исключительно русское явление: они «чисты»; они умеют быть верными своей «идее» и даже умереть за неё, но жить – не умеют. А жить – это значит любить. Всё. Всех. Всегда. Ага-а-а». Неожиданно Маша улыбнулась не без хитрецы: «Ну, Лась, а вот кто, по-твоему, из пушкинских героев мог бы стать идеальной парой для Лариной?» «Пугачёв, - убеждённо отвечал я и, подумав, добавил: - Дубровский».

Маша шевельнула бровями: «однако», и, раздумчиво опустив голову, шагов через десять догадалась: «Но... ведь это в известном смысле и произошло во время Октябрьской революции». Я вздохнул: «То-то и оно». Помолчав-подумав, она сказала с учительской важностью: «Даже если ты не прав – это исключительно интересно». «Горд», - отвечал я.

Тонкая, гибкая, очень красивая девушка-старшеклассница обогнала нас, учтиво обернувшись к Маше: «Здравствуйте, Мария Михайловна». Маша на меня глянула: «Не узнал?» Я пожал плечами. Она просияла:

«Это ведь Женя Маношина – сестра Агарь; помнишь маленькую чудилку – в какую лебёдушку превратилась... Да, кстати, ты сегодня обязательно позвони Агарь, утешь, успокой её насчёт Степана, ты умеешь... не забудь, пожалуйста...» Я достал красно-

белую пачку «Лиры», оторвал у одной сигареты желтенький фильтр и сказал: «Не забуду».

В начале школьной аллеи тополей Маша замедлила шаги: «Поцелуй меня здесь, а то, знаешь, в каждом втором школьном окне – по Пришибеевой. - Поправляя своё и моё пальто, Маша говорила семейным голосом: - Я приеду к тебе ровнёхонько в восемь, ты чайку к тому времени сочинишь, да, Ластик? Я ночевать останусь, Кубу на кухню сошлём, а рукопись свою захвачу – потолкуем. Еды купи, только ради бога не хватай ничего лишнего... Я просто падаю от бессмысленных этих трат...»

Две девочки обогнали нас и поздоровались. Маша шепнула мне тихонечко и значительно: «В чёрной шапочке – Крыльцова». Я посмотрел внимательно: узенькая, сутуловатая спина, дешёвенькое пальтецо и походка... - походка малыша или простого, хорошего человека... Всё ясно: «Сестра»...

Внезапно Маша остановилась: «Батюшки, да сегодня же девятнадцатое октября – Пушкин – лицейская годовщина... Надо же...» Я мгновенно вообразил белизну колонн и манерность статуй среди чёткой зелени аллеи и кудрявого, светлоглазого и губастого мальчика в синей курточке с красным воротником. Ещё весёлого-весёлого... Лицейская годовщина... Девятнадцатое октября... Надежды и... И я ещё не знал, что ровно через восемнадцать лет, именно в этот день моя мама покинет эту землю. День – в день. И не знал я ещё, что, начиная с сегодняшнего числа, Маше осталось жить ровно тысячу дней – двадцать четыре тысячи часов.

Я стоял и смотрел, как моя кровиночка с ребяческой важностью идёт в школу. Перед самым крыльцом она обернулась на мой взгляд, и осветилось улыбчивой тихостью её небесной простоты лицо. Не без робости она показала мне бежевую замшевую свою перчатку – пока, мол. Солнышко моё.

По дороге к остановке «дилижанса» я с такой саднящей нежностью думал о Маше, что тёмное облачко страха надвинулось на тот ясный свет, которым постоянно, ровно и бессознательно светила эта удивительная девочка-девушка-женщина. Облачко страха постепенно становилось тучею. Душа томилась и терялась: что с ней будет? Ужас остановил меня: или она умрёт, или найдёт другого. Растерялся: что делать-то буду? Вздохнув, пошёл дальше, утешая себя простеньким малодушием: ничего с ней не случится; вон она какая румяная, пышногрудая, кровь с молоком... По молодости своей, я не догадывался, что животная моя жизнерадостность и подлая энергия жизни были врагами моих самых пронизательных чувств и предчувствий.

Павильончик остановки поражал воображение циклопической мощью бетонных стен, которые были расположены так хитро, что, конечно же, не спасали людей ни от ветра, ни от дождя, ни от сумятицы русской метели – резвились архитекторы. «Сучата», - подумал я почти с теплотою о своих почти коллегах. Однако страх не проходил, и я позвонил в школу. «Мария Михайловна на уроке», - сообщил безнадёжно скучный голос. Я повесил трубку и голову. На остановке, как ни странно, почти никого не было. Почти: в темноватом уголке противотанкового сооружения скромненько белел машенькин сосед Иван Сергеевич – «почётный чекист». Рядом с ним на могучей несокрушимости стены краснела надпись, взывающая к бессмертию: «Марат и Альберт были здесь – блондины». Ясно. Увидев меня, соратник Берии, вроде бы не двигаясь, минут через пять как-то оказался рядом. Седые, жиденькие его брови дружелюбно поднялись вверх, навстречу случайному моему взгляду. Добрые, светлые старческие глаза слезились деликатнейшей вопросительностью: «Молодой человек, - слабый его голос подрагивал, - я так полагаю, что моя соседка Мария Михайловна замуж вышла?»

Я почесал щёку: «Мы друзья, дедушка, но ещё не расписались, и документов у нас нету». Слабо улыбаясь, старичок как-то поник: «Документы... Печать... Дым это». Мысленно я горячо с ним согласился. Он поднял голову и доброжелательно покивал: «Желаю вам обоим... всего-всего... Мария Михайловна очень достойная девушка... очень. – Помолчал, подумал и добавил: - С высшим образованием». Он стоял старенький, высохший, вероятно, одинокий – с бутылкой кефира и полубатоном чёрного хлеба в синенькой авоське. У меня сжалось сердце: «Бедный старик – во всех смыслах – бедный».

Не без иронии обзрел я бирюзово-зеленоватые небеса с розовыми на них облачками: краса, для членов Союза художников. В троллейбусе я, как всегда, неожиданно решил: заскочу-ка к родителям – давно не был. Да и есть уже захотелось.

В нашем переулке встретил маму. Она торопилась в свою (и Машину) школу, но остановилась на минутку: «Вот сынок: бабушка дома, отец в мастерской, фасоль в холодильнике; Маша очень хорошая, обязательная девушка – бабушке лекарство достала дефицитное, у Сонечки (Софьи Николаевны) в среду день рождения – подарок купи, поздравь – «тёща» важнее жены. Пока, сынок... завтра к тебе приеду – на два дня сварю». «Мам, Маше привет передай». Мама обернулась с улыбкой ласковой и поощрительной: «Естественно...» Простые слова, простые события – чего бы я ни дал, чтобы хоть на день, хоть на час, хоть на миг вернулось ко мне родное и обыкновенное...

Не без сердечного движения открыл я калитку осеннего сада – среди жёлтых, похудевших его деревьев стоял наш ярко-коричневый дом под серой черепичной крышей. Из-под кустов сирени бросился мне навстречу чёрненький ушастенький Муртазик и, узнав меня, чуть не помер от радости. Я присел: карие, навывкате его глазки только на долю секунды встречались с моим взглядом – он прыгал, вертелся, скулил; безостановочно махал хвостом, клал мне на грудь

лапки, ползал на брюшке, стремительно убегал и прибегал и даже уписился. Рад был. Душа мояплы-ла-а...

В глубине сада, под яблонькой, в шезлонге сидела бабушка в моём стареньком зимнем пальто и с толстенною книгой на коленях. «Шоу». Сквозь пенсне, она ласково щурилась на меня и, морща губы, явно готовила шуточку. Я поцеловал могучую её руку, потом щёку и смиренно слушал. «Где это вы пропадали, молодой человек – кутили, гусарили во всю ивановскую?» «Работал, - отвечал я, - заказ срочный был. Мозаика в детсадике – дело кропотливое». «Это мы знаем – Мария Михайловна на днях заходила – принесла мне лекарство и журнальчик со статьёй про инопланетян. «В творческом экстазе», - сказала про тебя. Ладно, думаем мы, - хорошо, что не в другом...» «Другой экстаз, - сказал я с важностью, - делу не помеха, напротив, укрепляет творческий дух». Бабушка охотно согласилась: «Конечно-конечно, Машенька очаровательная особа». Я вздохнул: «У неё ещё и душа хорошая». Бабушка улыбнулась с большой мудростью и небольшим весельем: «У неё ещё детская душа, а вот будет у вас двое-трое детей, тогда ты и узнаешь, какая душа у твоей душеньки. - С угасающей улыбкой она смотрела на беготню Муртазика и сказала уже совершенно серьёзно: - Учти, внучек, она очень твёрдая девочка, и с холостыми привычками тебе придётся расстаться навсегда. – Уточнила: - Ночные бдения над эскизами, две пачки сигарет в день, выпивки с дикарями – всё побоку, мон ами». Я шмыгнул носом: «С какими дикарями выпивки?» Бабушка удивилась: «А с коллегами твоими – художниками... Боже-е мой, это ж форменные дети - дети испорченные: ничего не знают, ничего не читали, всё «чувствуют» и – «острят». Я согласился: «Да, таких – много, но есть и исключения: например, Алексей Кузнецов – очень талантливый человек, прекрасный художник, очень осторожный и оригинальный ум; добрый, хороший человек с идеалами». Бабушка подняла брови: «Кузнецова не знаю, но слышала, что у него семь жён». «Четыре, - отвечал я, - и все такие искусницы –

сами салфетки ткут и делают прекрасные разговоры». Бабушка улыбнулась: «Не «остри» и не вставляй в одну фразу две цитаты – из Гоголя и Толстого. - Встала, рассеянно и улыбочиво озираясь на осень. – Мило-то как... «...и на всём Та кроткая улыбка увяданья, что в существе разумном мы зовём Божественной стыдливостью страданья». Я изобразил вопрос. Бабушка глянула на меня без насмешки, но: молодой, мол, ещё. «Это Тютчев. Пойдём, внучек, в наши чертоги – я тебе фасоль согрею, чаем напою, книгу неси – тяжёлая».

По дороге она сказала, что в «машенькином» журнальчике нахалы с этой планеты с необычайной развязанностью называют инопланетян «братьями по разуму». «Они, - бабушка указала в небо, - могут оскорбиться, как, впрочем, и мы, если обезьяны будут фамильярничать с нами. - Поднявшись на крыльцо и переведя дух, она сказала: - Конечно, всё это вздор (я и Машеньке твоей сказала) и никаких инопланетян в природе не существует – это их несчастные американцы выдумали, чтобы поднять тираж газет». «А почему, бабушка, американцы несчастные?» Удивление: «Да потому что дикие... Мой дядя Митрофан в Америке ещё до революции по делам был; вернувшись, шесть часов веником в парилке выколачивал из себя американские впечатления... Грустил и удивлялся: окаянная, совершенно бездуховная страна – там даже дети только о деньгах и кумекают, непродажного и непродажных – нет, женщины как солдаты, и душевнобольные на свободе мыкаются – сумасшедших домов тоже нет. Наглость американцев неопишная... Отпетая страна... От брезгливости бабушка передёрнула плечами, и мы вошли в дом – Муртаз впереди всех. Раздеваясь, бабушка приговаривала: - Я удивляюсь, как Сталин – человек всё ж серьёзный и твёрдый – не урезонил этих зарвавшихся нуворишей – то-то бы услужил человечеству... Конечно, спекулянты эти воевать с нами не будут, но купить наших дурачков попробуют... Деньги у них есть...»

Я ел суп и пил чай, почти не переставая тихо улыбаться на характерность бабушкиного необыкновения. Штопая чулок, она легко, свободно, словно размышляя вслух, говорила мне и порой Муртазику: «А в общем-то и у нас, и у американцев беда общая – демократизация культуры; всё больше простонародья приобщаются к ней, превращая её в нечто себе противоположное. Культура и пошлость – несовместимы; а пошлость – идеал плебса, он понизит (это застанешь ещё ты) уровень культуры до самых примитивнейших инстинктов. Драки, приключения, порнография – вот простенькая триада массовой «культуры» американского образца. А наши мартышки – в очках и без оных – всё старательно копируют: «Они сильнее-с, они – богаче –с...». Женщина, которая принадлежит всем... Кто она? Так и культура. Её создают избранники небес, а не распущенные и вечно пьяные мерзавцы, вроде Хеменгуэя – «Покажите, покажите, как мучается убиваемое людьми животное – могу заплатить...» Бабушка попросила меня вставить в иглу новую ниточку и продолжала: «Император Павел в одночасье превратил некоего брадобрея в графа... удостоил, видите ли. Я спрашиваю тебя, где род графов Кутайсовых? Зачах, ибо не было у брадобрея тех шести поколений, которые превращают в подобие человеческое. Американские плебеи так торопились, что, застряв на Томе Сойере, стряпают свою «духовность» под этого мальчика. И никому никогда не приходит в голову, что маленький Том – оборотистый мерзавец – будущий спекулянт недвижимостью или директор публичного дома. Чехов говорил: «Рак – это не зло, это – рак». Это же самое можно сказать и об этой стране, и о подражающих ей наших мартышках. - Бабушка презрительно усмехнулась.- На-ци-я». Я улыбнулся: «Бабушка, ты что – шовинист?» Она подняла брови: «Никак не могу им быть. Капитан Шовен – француз, а я русская и горжусь этим». Я опустил голову – неожиданные слёзы стояли в светлых её глазах. Она поморгала, успокоилась, присела ко мне за стол, и мы стали пить чай вдвоём.

Разговаривали то шутя, то серьёзно. Вроде бы «меж дел» бабушка ещё раз похвалила Машу – «девочка с принципами», и пошутила, что я не замечаю этих принципов, ослеплённый чисто женской её прелестью. Вздохнула: «И вправду, немудрено ослепнуть: нежная, женственная. Пушкин бы тебя на дуэль вызвал из-за таких ножек...» Я улыбнулся: «И не было бы у вас Пушкина». Бабушка изумилась: «Ты поднял бы руку на гения?» «Нет, бабушка. На кобеля». Она долго и задумчиво улыбалась, потом головой качнула: «Молодец». Припомнила девиз русской гвардии: «Жизнь – Родине, честь – никому» и добавила, что с потерей чести русские потеряли и Отечество. Я слушал её с обострённым вниманием чувств и одновременно думал о том, что из всех, кого я знаю, моя бабушка – единственный человек, который жил – сознательно жил – в живой ещё России.

«Это очень хорошо, что Мария с ней дружит, - думал я по дороге домой. – Со своей чуткостью и разумом она многое почерпнет у неё и не прервётся дней связующая нить». Решил: а звонить ей не буду. Ну что я ей скажу: «Маш, ты умирать не собираешься? Изменять не намерена?» Как она меня дурака ещё терпит? Я закурил и вспомнил: а вот госпоже Курпей надо позвонить. Из первой же красно-жёлтой будочки я передал Гаре привет от Маши и моей бабушки – «моему Гаврошику», а потом минут пять говорил нечто утешительное и, по-моему, весьма разумное, насчёт Степана. Вроде, успокоил. В конце разговора Агарь восхитилась: «А я вот только вчера твою последнюю работу увидела – мозаику на детсадишке витаминного завода... Маша там, ну прям как живая – увековечил милую». Я усмехнулся: «А Маша об этом ещё не знает – я её по памяти рисовал». Агарь была потрясена: «А как похожа-а... Молодец... Ой, я прям сейчас ей в школу позвоню...»

Обрадовать человека, сообщить ему нечто приятное – было просто-таки потребностью этой светлой и доброжелательной души. Вешая трубку, я мимолётно подумал: «Евреи на три тысячи лет

старше нас – опыт страданий превратился в опыт сострадания... Сочувствия... да-а. А впрочем, причём тут народ... Агарь важней народа».

15

Дома было хорошо. Привычно. Теперь привычно: купив эту квартиру, я не вдруг в ней освоился – часто, особенно летом, стараюсь быть в родительской «усадебке». Невероятно трудно привыкал я ко всему новому – даже к новым книгам (я любил перечитывать) и даже к новой одежде. Общаться с новым знакомым (знакомой) было для меня испытанием. Не без труда приспособился я к новому своему жилью – работал над своей картиной, вернее над эскизами к ней. Дома было хорошо. Тишина. Покой. Машина шпилька лежала на столике. Я её приласкал. Кубик, попрыгав на радостях, сидел на своём матрасике с видом весьма значительным. Думал. Я тоже задумался.

«Детство - думал я, - детство... Почему нам обоим оно так щемит душу – ведь нам нет ещё тридцати... Ведь не может же быть, чтобы Маша оборачивалась назад потому, что ей не разрешают преподавать детям Ахматову и Пастернаку, Цветаеву и Мандельштаму... Господи, они даже Есенина не проходят... Ну ладно, она говорит – все врут. А когда не врал? Лицемерие кругом, и всегда так было. Её принуждают врать про Джамбула и прочих верно-подданных... И я лгу – росписи делаю эти обкомовские – румяные колхозницы, сурово-вдохновенные рабочие, нефтяные вышки, знамёна, гербы – маразм... Ну ладно – это деньги, картину пишу «для себя» - ребёнок в концлагере... Старый (ещё с детства) друг Николай Андреевич говорит «дружески»: «Ну ни один выставком и смотреть не будет твоей картины – напиши ты её хоть как Рублёв – ведь неясно же, чей лагерь...» Я отвечал: «Да это вообще не важно – чей лагерь, советский или фашистский – важно, что на земле есть

концлагеря, где сидят дети... Де-ти, Николай Андреевич, де-ти». Он отводил опытные карие свои глаза: «Понятно, но пришьют тебе абстрактный гуманизм... Ведь они могут простить тебе любые (любы-е) формалистические изыски, но сострадание, милосердие – не простят никогда... Это исключено. Запомни, малыш, гуманизм в наших условиях – самое тяжкое преступление». «Как же вы, Николай Андреевич, в такой партии состоите?» «А я, малыш, не в эту партию – партию карьеристов и взяточников – вступал, а вступал я двадцатилетним, в 42 году под Сталинградом. Вступал в ту партию, которая сказала: «За Волгой – для нас земли нет». И партбилет мне вручал не какойнибудь прохиндей, а политрук Крыльцов, и я знал, что, вынув из кобуры наган и заорав: «За Родину, за Сталина!», он не вернётся в блиндаж к связистке Зинке, а первый выскочит под пули и, мешая слова святые и матерные, будет с нами до конца – атаки или жизни. Убили его, конечно... А его и помянуть некому: холостяк он, круглый сирота, подкидыш – его на крыльце нашли... Давай, малыш, помянем Петю Крыльцова...» Мы выпили, не чокаясь. «Спи спокойно, Петро Крыльцов, – подумалось мне, - мы тебя помним... добром, парень, помним». «Николай Андреевич, а что бы сейчас делал ваш политрук – в наше вот время?» Николай Андреевич отвечал весомо и, к моему удивлению, совершенно спокойно: «Прямой он был, честный – спился бы... или в кичман попал». «Кес ке се – кичман?» Он горько усмехнулся: «Острог, тюрьма, лагерь – свято место для русских правдоискателей - пусто не бывает». В тот вечер я долго размышлял, и получалось, что всерьёз, от души, ничего делать нельзя, а разрешалось делать (всем – всем) только сиюминутный вздор, понятный только обкомовским «батюшкам» и посильный для бесталанной и пронырливой сволочи.

Поудобнее устраиваясь в кресле, улыбнулся: как неверный муж возвращается к родной и любимой жене, так и я после никчёмности (кроме денег), суеты и маразма «заказа» возвращался к родной своей картине. Давно я не видел эскизов к ней, но не спе-

шил открывать большущую папку, в которой они, как мне чудилось, скучали обо мне (ну, как Кубик) и лежали смирёхонько, даже не споря меж собою, как случалось всегда, когда я выпускал их на волю. Но открывать «эту» папку было ещё рано: душа была не готова. Эскизы рождались в такой одинокой и стройной тишине души – тишине отчуждения от всего мирского, что, не остыв от нервогрёпки «заказа» и так называемых «реалий жизни» («жизни» – словно в одиночестве человек не живёт), сгоряча мог засомневаться в том, в чём колебаться не следовало: в нежности, трогательности, сострадании и в спокойном смирении перед волей Бога. Конечно же, не в чувствах бы этих я засомневался – Богом и матерью, как цвет глаз, они были даны мне навечно; нет – я мог заколебаться в живописном, зрительном их подобии. «Эквиваленте» - как говорят наши мудрецы. Я не стал смотреть на эскизы, но их понял. Так, на одном варианте – дитя стоит; на другом – сидит. Что лучше? «Встань и иди», - сказал Христос дочери Иаира и девочка – мёртвая – встала и пошла... Было ли в истории человечества более важное мгновение?

«Встань и иди»...

«Встань»... Сидит – лучше: «встань». Ох, литература это. Да нет: маленькая, сидящая фигурка выглядит беззащитной и трогательной, особенно когда ручкой трогает землю. Как слепая... А дети все слепые – они видят душой. Да, сидит – это лучше. Для чего лучше? Для изображения или чувств? Если для «чувств», то мне надо в монастырь идти или рассказы писать. Живопись, изображение – самодостаточны... Я «мудрил». Я ещё не знал, что творчество, как и смерть близких, постигается не сразу и вовсе не разумом и не чувствами даже, а органической совокупностью тончайших полуотвлечённостей и едва заметных промельков получувств, полувоспоминаний, полупредвкушений и надежд – надежд на энергию самой жизни. Думал: надо сделать реальным то, что не видят глаза. Вот я вижу шпильку, а вспоминаю Машу. Что реальнее? Щурился:

«Реализм – какая загадочная вещь... Для осмысления его требовалось время. Реализм сиюминутности – это одно, а реализм воспоминаний – это нечто совсем иное. Когда я видел Машу, я видел её «внешность» - внешность простенькую, как небо, и сложнейшую, как вселенная; но когда я её вспоминал, то я видел суть её естества – естества правильного, кроткого и очень твёрдого. Даже лаская отзывчивую нежность её тела, я невероятно возбуждался не от сиюминутных её стонов, а вспоминая вчерашнюю истому изнывающего её голоса. «Вчерашняя её истома»... Я вспомнил и её, удивляясь, что в мои рассуждения о творчестве часто вплетаются воспоминания о простодушной многовариантности постельных Машенькиных радостей. Голубушка моя, какая она была счастливая, молчаливая и свободная...

Я задумался. «Голубушка» - это кто? Милая женщина? Жена голубя? А как её изобразить? Как нарисовать-то?.. Вздохнул: «Дело тонкое, внесознательное...»

Заглянул в холодильник – не густо – одно мясо; надо идти в магазин... Обрадовался: вот и позвоню Машеньке.

Одевшись, я надел на Кубика «охапку» (шлейку) и почти побежал за могучими рывками лохматого моего друга. Несмотря на спешку, Кубик виртуозно задирает заднюю лапу почти под каждой вертикалью, и я имел время подумать, что же я ей скажу – про «смерть» умолчу, конечно, и чего-нибудь придумаю – лишь бы услышать её голосочек.

Конечно же, школьный телефон был занят и, конечно же, хулиган Кубик написал в будке. Пришлось перебираться в соседнюю. Маша не удивилась, а обрадовалась: «При-и-вет... что случилось?» Даже её голосок вызывал у меня возбуждение, и я сказал попросту: «Маш, я тебя хочу». Судя по паузе, Маша боролась с улыбкою и, судя по всему, одержала над ней частичную победу: «Я тебя – тоже, но ведь я приеду ровно в восемь... Или мне, может, прямо сейчас с уроков отпроситься, объяснить – так мол и так...» Я хохот-

нул: «А что, Маш, представляешь, какие у них будут рожи... Особенно у Нигматуллиной...» «Ты что... массовые инфаркты и по-вальные инсульты. Нетушки» Уже ночью, в постели, когда сбылись наши «мечты», Маша мне поведала, что во время урока, вспомнив сексуальную нашу гипотезу, она рассмеялась так неожиданно и откровенно, что хулиган Баранов впал в протрацию, а трещотка Ахмадеева замолкла навеки. Весёлый разговор Маша, очевидно торопясь на урок, конечно же, закончила наставлениями: «Не работай – отдохнуть надо; в магазине не безумствуй и жди меня... Пока, умный Лася, хорошо, что позвонил – я сама жду не дождусь вечера...»

Я привязал Кубика к батарее и, стоя в очереди, живо представил, как Маша говорила сейчас со мною – то поглядывая на тесно сомкнутые (школьные) белые «лодочки», то, несколько исподлобья, на своих коллег. Печально улыбаясь, Маша недавно пожаловалась: «Понимаешь, Лася, они неплохие люди – есть добрые, сердечные, порядочные; но: интересы их зачастую оставляют желать лучшего... А дети очень тонко чувствуют отсутствие общей культуры – очень тонко, и не верят таким...»

Наливаясь желчью, я отстоял все очереди и, препираясь с разными продавщицами, набрал великое множество пищи – начиная с двух бутылок красного вина (и сыра к нему) и кончая сметаной в гробике. Спohватившись, вернулся и взял торт. Вернул: розочка замордована. Видя, что я в хозяйственном экстазе, торт заменили. Взял три пачки «Лиры». Всё. Ух. Чувствуя, что за всю эту «бакалею» мне здорово влетит от положительной и мудрой Машеньки, я совершенно машинально шёл из магазина осторожным и крадущимся шагом. Посторонний наблюдатель мог бы подумать, что я шерлок-холмничаю и Кубик ведёт меня по следу опасного и жестокого преступника.

Дома было хорошо. Тихо-тихо. Кубик прилёг отдохнуть, а я внимательно смотрел на ходики: до Маши оставалось три часа и сорок... пять минут. Я совершенно не сомневался в том, что она

придёт ровно в восемь – мешчанские ужимки советских дурочек были презираемы ею и отвергались с такой великолепной снисходительностью, которой позавидовали бы все короли и королевы Европы. Маша даже ходила, как королева, и никогда, даже опаздывая на трамвай, не прибавляла шагу. Я просто не мог себе представить Машу бегущей, кричащей, суетящейся: всё спокойно, медленно, с достоинством. И только ночью, со мною, она была открытой, естественной и совершенно свободной.

Я нарезал сыру палочками, наполнил стакан вина и сел у окна смотреть на осень. И не только смотреть, но и вспоминать осенние пейзажи любимого нами Левитана.

Бордовый стакан на бело-глянцевом подоконнике хорошо смотрелся вместе с красными кленовыми листьями, доживающими за окошком свои последние дни, часы и минуты. Один лист ворохнулся под ветерком, сорвался и, снижаясь, поплыл... Я следил за ним взглядом: «До свидания, дружок, будущей весной...» - и догадался: это будет уже не он... Ещё один лист пролетел – шустрый такой.... И ещё один – очень медленный.... Думал: «Эх, научиться бы у них – так простенько уходить в иное своё состояние...» Улыбнулся.

Кубик подошёл к балконной двери и стоял перед нею терпеливо и вдумчиво. Это означало: «Хочу проветриться». Я открыл дверь и сказал: «На пять минут – холодно». Замёрзнув в одной футболке, я порылся в шифоньере и, отвергнув всё своё, надел голубую толстовязанную Машину кофту. Бог знает почему. Это не мистика, но в её кофте мысли мои приобрели «правильное» Машенькино направление – направление рассудительное, внимательное и смирное. От нежной и душистой кофты стало ещё тише, стало ещё покойнее. Ребёнок с моих эскизов несмело взглянул в меня. Я улыбнулся: «Маленький мой... - Выпив забытое вино, я закусил его палочкой сыра и, уютней устроившись в кресле, мысленно спросил его: - Как же ты без меня, деточка?»

Что мог ответить он мне, если из-за постоянных сомнений я не одушевил слабенькое, едва прорисованное его тельце и не нашёл – через позу – единственно возможную для него форму существования. Не дорисованный, он был жалок и вроде бы вытеснялся из моего воображения. И из подсознания всплыла в моё сознание только его головушка – на отдельном рисунке она была почти готова. Наголо стриженная, не покрытая полосатой шапочкой, она свети-лась не радостью, не печалью, а как у животных – сама собой. Как щенок, он смотрел не в «сейчас», а в последующее мгновение сво-его существования. Смотрел глазами, но видел своим естеством. Закрыв глаза, я улыбнулся – щенок человеческий, - утешенье моё. Такой маленький, а утешение. Всё маленькое: дети, щенки, воро-бы, цыплята – всегда мнились мне последней моей надеждою. Ко-гда становилось совсем уже неумоготу жить, я мечтал: «Эх, уйти бы в лес, уйти в далёкий-далёкий лес; схорониться в какую-нибудь берлогу, засыпаться опавшими листьями и в обнимку с маленьким-маленьким медвежонком притаиться и переждать, пока в Уфе отбе-сится Зло».

Я встал, походил, осмотрел бежевые свои стены. Слева сквозь пенсне на меня устало смотрел Чехов, а прямо передо мной плавно круглилась рублёвская «Троица». «Троица» - после собачьих и ло-шадиных глаз – это было моё самое сильное жизненное впечатле-ние. Навсегда. Как туманная радуга свечей, золото спелых хлебов, так и крестьянская её смуглость были просты и непостижимы, словно триединая суть Бога. В центре – Христос; он сидел склонив голову, - сидел, замороженный святой истомой усталости – так от-дыхают плотники...

Я долго стоял перед нею и вновь подошёл к окну: смеркалось, ветерок улетел в другие края и всё оцепенело, уясняя себе своё на-строение. Как Маша. Ма-ша...

Я вспомнил, как сегодня утром мы стояли с ней возле школы, провожая глазами любимую её ученицу с толстенкой подругою. К

ним из боковой аллеи присоединились двое парнишек и громко, без приятности запели песню – песню блудливую и печальную: «Жи-в-вёт Крыльцова Дарь-а-а в висока-а-м терему-у...» «В двенадцатиэтажке, вон в той... - стараясь не улыбаться, комментировала Маша. – Это Холодков и Лузянин – хорошие ребята; первый – дружит с Дашенькой». «Хорошие ребята» разливались: «Я знаю, у Крыльцовой есь стора-а-а-аж у крыльца, но он не загоро-одит доро-гу молодца»... Маша смежила ресницы: «Сучата». «Ты что, Маш, этим парнишкам поясной поклон отдать нужно – они русскую песню знают... их дети по-аглички петь будут...» Маша опять прищурилась и почти пропела на ещё слышный мотив: «Посмо-от-рим...-Улыбнулась. – Всё хорошо будет, Ластик – России и лету союзу нету; это не я говорю, а Платон Каратаев, суть – Лев Толстой...»

Я опять прошёлся, подтянул гири на часах, посмотрел: до Маши остался час и пятнадцать минут. За моей спиной за окном была осень. Я обернулся к ней и вспомнил: «и на всём Та кроткая улыбка увядания, что в существе разумном мы зовём Божественной стыдливостью страданья»... Вздохнул: «Снайпер». Сел в кресло, повертел стакан на подоконнике, наполнил – вино казалось почти чёрным. Вечер.

Думал: отчего так медленно движется моя картина; и движется ли? Вновь и вновь я сравнивал свои варианты, даже не допуская мысли, что я просто не родился художником и не призван переводить свои мысли и чувства – жизнь свою – на язык зрительных образов. Думал, сравнивал и опять думал. «Не художник». Только много лет спустя мне удалось понять это – понять постепенно, спокойно, без «трагедий», как осознаёшь с годами реальность смерти и несоответствие «реальной жизни» нашим о ней представлениям. Я схоронил к тому времени всех: Машу, бабушку, отца, маму. Схоронил Муртазика и Кубика. Приступы «творчества» сменялись комическими «заказами», заказы – судорожными, с оглядкой на деньги, попытками «творчества».

Время стояло – проходили мы, а маленькая, заключённая девочка – так и не вышла за пределы моей души. Может быть, к лучшему и для неё и для меня: «Да будет воля Твоя». Однажды, уже весною восемьдесят пятого года, я взгляделся в хорошо прорисованное, почти родное её личико, попытался поулыбаться за многолетнее наше сотрудничество и сказал, почему-то вслух: «Прощай, дитя». Тихонько, почти про себя, насвистывая полонез Огинского, вымыл все кисти – предстояла новая попытка – очередной «заказ». Я походил по комнате, не зная, что делать, но руки мои уже собирались, раскладывая по карманам деньги, сигареты, спички. Надел плащ, подмигнул Ластикю, который, склонив голову набочок, сидел на хвосте, меня провожая, и вышел из дому. Не давая себе отчёта, дождался первого номера троллейбуса и поехал на то место, где я начал присматриваться к этому миру. Последний раз я был здесь девятнадцать лет назад. Вместе с Машенькой. Осенью.

Не шевелясь, я осмотрелся: изменилось всё. Несмотря на разлив, Белая была почти в старом своём русле. Остров исчез. Берег покрылся тяжкими бетонными плитами. Очень осторожно я обернулся к тому месту, где жили мои родные – тополь и дом – оно ещё не зажило и по-прежнему было чужим и странным.

На крыше несокрушимой лесопилки – большой портрет нового «Генерального секретаря». Изображала его слабая и, вероятно, злобная кисть: благообразное и твёрдое лицо Горбачёва было неузнаваемо – некто, похожий на Чичикова, с высокомерием лилипута взирал на кофейного цвета Белую. Я вздохнул: «Эк они его» - и сочувственно улыбнулся портрету, мысленно вспомнив Александра Сергеевича – «О, мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, на высоте, уздой железной Россию поднял на дыбы?»

Мелькнуло: «На дыбы... дыба – судьба российская». Судьба.

Я стоял на том самом месте, где стоял и сорок лет назад, провожая глазами милого мне пленного немца. Где он сейчас? Впервые я вспомнил о нём не с печалью, а улыбкою и ясно-ясно представил

нерусское, внимательное его лицо. Тихое, скромное такое лицо. Как у Маши. Господь, внимание и тишина были сейчас со мною, превращая в нечто иное печаль этих двух потерь. Потери, находки – как отличить их друг от друга после многих и многих лет... Конечно же, я не потерял, а милостью Божией нашёл и продолжаю находить их обоих – милых, родных и освещённых вопрошающими глазами детства. Маленькая, правильная, трогательная Маша-первоклассница исчезла, перестала быть, превратившись в правильную, разумную, очень красивую и нежную женщину, которая, перестав быть, превратилась...

Я смотрел на реку: во что?

Веял лёгонький ветерок, и рябь волнушек на Белой бежала налево к ремзаводу, против течения, и почудилось мне, что река течёт не направо, как испокон веков, а – как время – неизвестно куда. Я задумался: время... Время. Наше, земное время идёт к смерти – это ясно; бессмертные души останавливает небесное время – его там попросту нет; но третье время – время между мной и Машей – вероятно существует? Какое оно, это время – время между живыми и мёртвыми? Я ничегошеньки не понимал и тревожился: как же там, на небесах – где всё иное – Машина и моя душа узнают друг друга? Ведь Маша навсегда (на-всег-да) останется двадцатидевятилетней, а сколько проживу я – неизвестно. Как мы узнаем друг друга? Очевидно, там, на небесах, Маша обо мне вспомнила и, как всегда, и как на земле, решила помочь мне: маленькая Маша – Маша первой нашей встречи – неожиданно в меня заглянула, вроде бы выплывая из образа ещё не созданной маленькой заключённой девочки. Я просто-таки видел её – первоклассницу – с бантиками, чернильным пятнышком на среднем пальчике и простеньким взором щенка, принимающим к сведенью окружающий хаос сущего. Она пошевелила русой своей головою, и наконец мы встретились взорами. Желтенькие глаза её смотрели на меня совершенно обыкновенно,

заменяя собою все вопросы как этой, так и той, предстоящей нам с ней жизни.

«Вот и ответ», - вздохнул я и, почувствовав невыразимую свежесть и простоту иного, чем на земле, счастья, захотел помолиться за всех и за всё.

Я вынул руки из карманов плаща и мысленно помолился, глядя туда, куда смотрел всё своё детство – на «тот» берег.

Много-много лет назад мы со Стёпой поднимались вон там – с удочками, но без улова. А вот здесь, где я стою, стояли Агарь с Машею: «Ничё не поймали?» Я вздохнул: «Ничё». А Стеня отвёл со лба белые, прямые свои вихры: «Пой-ма-ем». Маленькие девочки встретились взорами и развели их в разные стороны, с «женской» покорностью судьбе.

А небо было серенькое, лёгонькое... И тогда, и сейчас. И вдруг где-то слабо почувствовалось солнце – всё неярко изменилось вокруг, словно небеса несуетно поведали мне о простенькой, сердечной и домашней сути совершенно иных миров. Или Господь, подумалось мне, так улыбочиво ответил на мою молитву и молчаливо призвал к терпению.

Я медленно пошёл домой. Вероятно, от цвета реки весна казалась бежево-дымчатой, как та блузочка Маши, которую она носила во дни нашего счастья; и так же, как нежнейшая её ткань, весна скрывала под своим покровом тайну самого высокого на этой земле счастья – счастья цветения, зрелости и увядания. Сейчас Маше было бы сорок шесть лет, и я очень живо представил, какой изысканной прелестью и тончайшей поэзией увяданья простодушничали бы круглые её груди – груди, освещённые сердечной сорокалетней дружбою.

Господь подарил нам двадцать три года.

Спасибо: и этого могло не быть.

Могло? Могло ли?

Глядя в землю, я шёл очень медленно и вдруг поднял голову, словно меня окликнули. Стройная, очень красивая женщина в кожаном пальто и мохеровой чалме, говорила что-то маленькому мальчику, показывая рукой на Белую. Я тотчас узнал младшую сестру Агарь – уже не «Женечку», а Евгению Сергеевну Лузянину. Подошёл: мы вежливо, смутно и почему-то печально улыбаясь, разговорились об общих воспоминаниях. Мне нравились товарищеская простота общения, изящные интонации её голоса и подчёркнутая внимательность к собеседнику, сквозившая в каждой её фразе. Смотрел: голубоглазая брюнетка, похожая на итальянскую кинозвезду, излучала не апломб женской красоты, а чуть печальную, чуть ироничную усталость нашей интеллигенции. Думал: неужели это та самая крошка, которая в далёкий мартовский день несла букетик живых и самодельных цветов к памятнику Иосифа Виссарионовича. Калошки сняла перед ним – чудилка маленькая...

Заканчивая беседу, я улыбнулся малышу: «Ваш?» «Да, младшенький, а старшая, Маша, в шестом классе – перед зеркалом уже задерживается...» Я нагнулся к оранжевому комбинезончику: «Как тебя зовут, дружок?» Мальчик потупился, вобрал в себя губы и опустил голову. Молчал и сопел тихонечко. А мама его сказала тихо, осторожно и раздумчиво: «Стёпой его зовут – Агарь, тётя – просила – у них же детей не было, и вот – полный тёзка её Степана Петровича...» Я улыбнулся: «Выше нос, Стеня, ты – тёзка Героя Советского Союза». Евгения Сергеевна печально опустила голову и не сказала, но явно подумала: «Посмертно»...

Прощаясь, она протянула мне холёную свою ручку с бронзовым маникюром и бирюзовым перстеньком. Мы обменялись рукопожатием первый раз в жизни. «Звоните», - полунастойчиво, полупросительно сказала она очень тихонечко и протянула мне визитную свою карточку. Я улыбнулся, кивнул ей, Степану и пошёл к остановке, осенённой монументом «Дружбы народов». Закуривая, я

отвернулся от ветра и увидел, что она смотрит на меня, а Стеня созерцает реку. А в реке отражается светлая, желтоватая часть небес.

Очередной «русский мальчик» и вечная течь реки...

16

Всё это было почти двадцать лет спустя...

А сейчас, глянув на часы, я пошёл на кухню готовиться к приходу Машеньки. Дабы кулинарный экстаз закончился благополучно, я живо представил, как она, с простодушно-рассеянным выражением лица, но королевской осанкою, неспешно подходит сейчас к бастионам остановки, на которой отставной чекист пожелал нам счастья на заре дня сего. Мне страшно захотелось обрадовать Машу, и я хлопотал у газовой плиты с почти поэтическим воодушевлением. Она «очень» любила жареное мясо и я, максимально сосредоточившись, принялся стряпать то, что Пушкин воспел как «ростбиф окровавленный». Сотворение ростбифов, тем более из мороженого мяса, деликатнейшее дело: не дожарить – смешно, пережарить – плачевно. Опыт у меня был, но мяса больше не было – ошибка исключалась. Совсем. Маша в таких случаях говорила: «А вдруг прилетит метеорит»... «Тогда туда нам и дорога», - думал я, с хирургической осторожностью регулируя краник газовой горелки.

Кубик мне помогал. Морально: окаменев от внимания, он недвижно смотрел на сковороду, поддерживая тем самым рабочее настроение коллектива. Нюхал.

Я осенил себя крестным знаменем и, молниеносно перевернув шипучие куски, стал считать до сорока, непрерывно убавляя и прибавляя пламя. От напряжения у меня свело губы и, вероятно, изменилась физиономия – во всяком случае, Кубик посмотрел на меня с удивлением... Сорок. Всё. Укропом посыпал. Перцем. Получилось очень даже ничего. Симпатично. От восхищения буду-

щей, молчаливой и большеглазой её радостью, я, как от озноба, передёрнул плечами и стал осыпать щедротами помощника – Кубика. Это надо было сделать сейчас, до прихода строгой и справедливой (как закон) Марии Михайловны, которая очень принципиально относилась к «обжорству» и «баловству» собак. «Собак» - видите ли. Но Кубик был не собакой, а «представителем» иного, милого мира, которому, по мнению Маши, не хватало только рогов и копыт, чтобы называться «князем тьмы». Но это так... всуе говорилось, а, в общем-то, они дружили. Кусочки мяса, колбасы он сожрал тотчас же, а косточку, урча и пригибаясь, уволок в светлицу и «закопал» под своим матрасиком.

Я продолжил приятные свои хлопоты: вскрыл консервы, нарезал тоненько ветчину, колбасу, сыр, хлеб. Раскладывая всю эту красоту по розовым и синеньким тарелочкам, я живо представил, как Маша едет сейчас в троллейбусе: спокойное, совершенно бесстрастное лицо, которое, однако, с быстрой вежливой и совсем ребяческой готовностью реагирует на любое обращение. У меня всегда сжималось сердце, когда я видел Машу в диком и хамском совдеповском многолюдье: даже бойкая Наталья Ростова «страдала и замирала» в толпе, а Маша Миронова никогда не была бойкою...

Я достал из холодильника «Гамзу», довёл до лучезарья вилки, ножи, стаканчики и устроил перекур. Думал: а не посоветовать ли Маше взять в соавторы текстолога-чеховеда – и работа будет профессиональнее, и книгу вдвоём пробивать будет легче... Ну, если не в соавторы, то в консультанты...

Я ещё думал, а голова моя уже покачивалась отрицательно. Как всегда подсознание оказалось проницательней «сознания». Решил: нет, не стоит советовать: книга её может утратить самое ценное – цельность и прелесть личного взгляда. (Толстовское «Боро-

дино» гораздо важнее, чем Бородино реальное и не только потому, что оно вечное, но и потому, что личное).

Размышляя, я подошёл к окну. Постоял и наконец прозрел: увидел вечер. Вспомнил: в детстве я часто запрокидывал голову и смотрел, как над островерхими башенками родного дома исчезало вечером наше земное небо – таяло... угасало... И появлялся над башнями чуждый, холодный звёздный неуют космоса, делая и башенки, и дом, и всю землю ещё уютнее и ещё роднее. И островерхие башенки, и весь, стремящийся к небесам, наш милый дом с ребяческой воинственностью противостоял, казалось, тому, что не окинешь взором и не поймёшь душой...

Смотрел: на земле были сумерки, почти темно, но небо ещё светилось. Что-то загадочное и странное было в нём. Непонятное. Но оно светилось. И душа моя тихо и небесно осветилась: очевидно, Маша вошла в наш двор и неспешно идёт по опавшей листве, чуть склонив лобастую голову «винчианской» мадонны.

Дрогнуло сердце моё: «Батюшки, а чай-то»...

Сбегал, поставил на газ чайник и нарезал веером тёмно-коричневый, замшевый торт с наивной розочкой в центре. Радость не гасла: вероятно, Маша вошла в дом и поднималась на пятый наш этаж, держа в левой руке подобранный во дворе опавший кленовый лист.

Чайник уже «шумел». Я расставил чайные принадлежности на голубом пластике стола, прищурил на них один глаз и вспомнил: «Небо что-то там... непонятное»...

Вернулся к окну, всмотрелся: как обычно вечернее небо было огромным, неоглядным... тихим... Значительным... Торжественным...

А-а, догадался: жалким – на него никто не смотрел... Не пришлось и мне: учуяв далёкие-далёкие позывные «Маяка», я услышал условленный, чёткий, двукратный звонок Машеньки. Успел гля-

нуть на ходики – ровно восемь. Я улыбнулся венценосной её точности, и вместе с Кубиком мы поспешили открывать дверь. Несмотря на краткость пути, во мне успело прозвучать слабое эхо вчерашней ночи: «Ах, какой это был дом».

Конец повести.

*Пётр Храмов.*  
*Январь 1966 - 12 октября 1993 г.*

# Приложение

## «ОСТАНОВИВШИМСЯ ВЗОРОМ ПАМЯТИ...»

### Образ смиренномудрой детской души в автобиографическом романе Петра Храмова «Инок»

Роман уфимского писателя Петра Алексеевича Храмова «Инок» (впервые опубликованный в 2003 г. в журнале «Крещатик») практически не получил глубокой и полной оценки в современной литературной критике и литературоведении и требует сегодня всестороннего рассмотрения. В чём заключается специфика романного мышления уфимского автора в его автобиографическом произведении «Инок»? В отличие от классической традиции писатель показывает нам «биографию» героя не только в аспекте социально-психологическом, но прежде всего онтологическом и аксиологическом. Автор выстраивает перед читателем (по мере постижения героем мира) систему нравственных ценностей, предлагая модель мироздания глазами ребёнка, а затем и взрослого человека, который ищет истинно Божественный Смысл, Божественную мудрость во всём, что его окружает.

Читателю даётся в романе не линейная и исторически мотивированная биография героя-повествователя, а поток образов, художественно изображённых картин действительности, пропущенных через призму сознания героя и поэтому во многом субъективно окрашенных. В основу детских впечатлений героя положено не всегда осознанное понимание, что всё в этом мире проникнуто Божественной гармонией и красотой и только невинная и по-настоящему смиренномудрая душа ребёнка способна открыть и вобрать их в себя. Поэтому автор произведения сохраняет чистое, незамутнённое, детское начало и в душе главного героя, и душах близких ему людей, в каком бы возрасте они ни были.

Основой восприятия окружающей действительности героя-повествователя, как человека с художественно-поэтическим

и христианско-православным мышлением, является одновременно иррационально-рациональное начало. В связи с этим роман распадается и на цикл живописных этюдов, и последовательных мозаичных картин, которые отражают ступени духовного развития и становления героя. Своеобразные зарисовки с натуры, связанные между собой внутренней сюжетной логикой, подчинены логике роста души человека, который в начале романа предстаёт шестилетним мальчиком, затем подростком, потом двадцатидевятилетним и в финале романа сорокашестилетним мужчиной.

«Жизнь – это война с забвением...», – замечает повествователь. Категории времени и памяти, безусловно, центральные в романе П.А. Храмова. В связи с этим важную роль в «Иноке», по замыслу автора, играют мифологемы дома, сада, Древа жизни и Вечной Женственности. Благодаря этим мифологемам в произведении возникает оппозиция вечного и сиюминутного, незыблемо целостного и дискретного, прошлого и настоящего. Писатель практически создаёт новые мифы и новую мифологию, являющуюся зачастую оппозиционным откликом на конкретные исторические события (уничтожение интеллигенции, сталинские репрессии и мн. др.). В характеристиках современного мира неуклонно звучит мысль о кризисе общественных процессов. Герой-повествователь замечает: «Книжное и музейное Отечество станет впоследствии для меня единственным: взрослея, я видел и понимал, что все окружающее не Россия, не Родина, а «савецка влась» – бевсовское наваждение нашего народа – народа несчастного и детски доверчивого».

Для героя дом, тополь, сад, красота женской руки, завораживающая прелесть женского лица становятся неким абсолютом, вневременным ориентиром, к которому на протяжении всей жизни он снова и снова возвращается, осознавая его безусловную непреходящую ценность. Вот одно из детских впечатлений мальчика, столкнувшегося с совершенной женской красотой: «Что-то откры-

лось у меня в душе, и что-то не то в неё впорхнуло, не то из неё выпорхнуло – я увидел неземную красоту. Впервые в жизни. У неё был чистый, выпуклый серьёзный лоб с детскими подвижными бровями, небольшой нос, губы с ребяческим складом, широкие и высокие скулы с немыслимой плавностью вливались в детское простодушие щёк, щёк не улыбающихся, но молчаливо приветливых. При некоторых поворотах лицо её казалось совершенно европейским, а при других было несомненно – это башкирка, это гордо-смирная женственность Азии. И вот это редкое сочетание черт зрелой женственности с видом простодушно ребяческим, это тончайшее созвучие форм европейской правильности с пластикой азиатской выразительности и было, видимо, той уводящей из этого мира прелестью, которой невольно светило её божественно прекрасное лицо. Свет женственности освещал, казалось, не только её облик, но и всех нас, таких обычных, всю нашу окраину и весь весенний, ещё не прогретый белый свет». И ещё (хотя это впечатление связано уже с другой героиней романа): «Долго не мог я отвести взора от света простоты, ясности и милovidности, даже не предполагая, что только такие женские лица будут волновать меня всю оставшуюся жизнь».

Из названных выше мифологем мифологема дома одновременно ключевая и сквозная в тексте произведения: она вбирает в себя смыслы, благодаря которым раскрываются аксиологические значения, заложенные в романе. В индивидуально-творческом сознании П.А. Храмова дом – это дом детства, родовое гнездо, нравственная опора, связанная с дорогими и близкими ему по духу людьми. И хотя герой романа растёт в советской стране в военное и послевоенное время, для него значимы его родовые дворянские корни. Благородство души, несокрушимая внутренняя сила и красота, человеческое достоинство – основные черты характера, которыми обладают его бабушка, дедушка, крёстная и другие чистые сердцем люди их круга. В них заключён «застенчивый

и деликатный стоицизм русской интеллигенции». Герой вспоминает: «Бабушка, едва я научился говорить, всегда внушала мне, что злоба, направленная наружу, – яд и она перестаёт быть ядом, если направлена вовнутрь, против своих грехов».

Сообразуясь с этой ёмкой формулой, формируются важнейшие православные добродетели – кротость и смирение, которые дают силы храмовским героям противостоять социальной машине зла, питают мужество для каждодневного подвига, соблюдения и сохранения души в чистоте и целомудрии. Благодаря этой внутренней силе, наткнувшись на спокойный и светлый взгляд бабушки, вдруг перестал буянить и материться сосед-коммунист, в пьяном угаре рвущийся в комнату, где жила семья маленького мальчика. Благодаря глубокой вере Елена Григорьевна (крёстная героя) вышла с иконкой на крыльцо, «пытаясь спасти дом от искр многочисленных и губительных» во время пожара на лесопилке, трогательно укрывая руками от соседа-милиционера святой образ. Благодаря стоицизму выжил дедушка, когда лагерный врач-изувер, избивая его «куском колючей проволоки – бил по лицу» и «кричал что-то про яичницу-глазунью», которую, вероятно, хотел сделать из глаз заключённого.

Дом, семья – центральное звено авторских биографических описаний, духовный феномен, источник формирования нравственного потенциала героя. Именно семья, история судеб бабушки и дедушки, отца и матери, крестной, формирует и закрепляет нравственный кодекс поведения главного героя романа.

В произведении родовые корни автобиографического героя представлены, через истории конкретной семьи и семей близких ему людей, историю страны, судьбы русской интеллигенции в Советской России. Так в «Иноке» бытовое время сопряжено и тесно переплетено со временем историческим. В автобиографическом романе последовательно и концентрированно раскрываются автор-

ские взгляды, субъективно трактуются житейские исторические факты.

Семья и дом героя символизируют собой в «Иноке» родовое дворянское гнездо. А какое же дворянское гнездо без усадьбы и сада? Поэтому так причудлив дом в храмовском тексте, с его описания и начинается роман. Семья героя уютится только в одной из комнатушек большой коммунальной квартиры, находящейся в этом сказочном доме. Пожалуй, только маленький мальчик по-настоящему может оценить красоту дома, который одновременно напоминает терем из сказки о царе Салтане, вальтерскоттовский замок и чеховский дом с мезонином, он как бы весь, замечает повествователь, «стремился к небесам и походил на остановившееся пламя».

Рядом с домом во дворе есть чудесный тополь и сад. Правда, сад поруган: он находится за забором, в нём давно ничего не цветёт, и принадлежит этот сад особой советской семья, «сочетавшей в себе патриархальщину, уголовщину и «патриотическое» доносительство». Противопоставлен этому мёртвому саду неоднократно упоминаемый в романе чеховский сад. Тема чеховского сада (традиционная для русской литературы) звучит рефреном в тексте произведения, как своеобразный символический аккорд, который взаимосвязан с темой разрушения, уничтожения дворянских гнёзд.

Тополь в романе – Древо Жизни, символ мироздания, который объединяет в тексте пространственные и временные координаты. Именно с тополем герой соотносит практически все значительные и, казалось бы, на первый взгляд самые обыденные события своей жизни: будь то густой туман утром, первый зимний снегопад, ледоход на реке, первая влюблённость и т.п. Герой говорит: «Состояния природы были совершенно неотделимы от состояния моей души». «Я пытался даже «соображать»: вот ведь – радостно мелькнуло в душе – вот я не вижу моего тополя, а он есть, и только туман мешает его видеть. А может, и не мешает, а так надо, чтобы знать, что

невидимое – есть». Что это, если не глубокое и естественное осознание Бога душой маленького мальчика – шестилетнего ребёнка, который интуитивно чувствует всю уродливость уклада жизни коммунистической России, открывая для себя гармоничность Божьего природного мира, существующего совсем по другим законам, нежели мир социальный. «Тут были и дожди – то кроткие, то вспыльчивые, тут был и таинственный туман, похожий на божье сотворение мира, и беспощадно ясное солнце, похожее на конец его. Тут были и замедляющие жизнь матовые морозы, и убыстряющие её, ослепительные ручьи; тут были и тревожащие мир мятежные птицы и успокаивающая его, на все согласная Белая – родная моя река. Тут были и неожиданные вспышки глубочайшей, головокружительно-внезапной нежности к людям, совсем разным, даже незнакомым прохожим. Была нежность даже к тому, с чем соприкасались их душа, тело, взор; так я испытывал любовь к пальтишку (я его даже гладил), которое согревало маму, и испытывал благодарность к своему тополю за то, что мама взглядывает на него порою, словно припоминая что-то хорошее и надежное». Благодаря тополю в романе к герою приходит понимание, что «мы – и люди, и деревья – одна семья, и судьба у нас, как видите, – общая».

Память о любимом доме, тополе герой пронесёт через всю свою жизнь и тяжело воспринимает их «смерть»: место, где когда-то стоял дивный дом, закатали в асфальт, а чудесный тополь срубили и отнесли вместе с другими деревьями к моргу. Дом, тополь, мотив чеховского сада неразрывно связаны в романе не только с уходящим в прошлое детством, но и с уходящей в прошлое Россией, чья судьба соединена с русской интеллигенцией, русским дворянством, православной верой.

Несмотря на то что в романе очень чётко очерчены географические, топонимические координаты (Башкирия: Уфа, Турбаслы, реки Белая и Сутолока, Монулет Дружбы, Сергеевская церковь, за-

вод горного оборудования, Цыганская поляна, улица Егора Сазонова («кстати, Россия – единственная в мире страна, где улицы называются именами бандитов») и т.д.), писатель создаёт образ России, российского провинциального города, нравственным стержнем которого, вопреки всему (атеистической коммунистической идеологии), является православная вера, православное мировосприятие. Так, рядом с людьми, несущими разрушение: соседом-милиционером, плюющим на икону; рабочими лесопилки, забившими насмерть лошадь и задумавшими распилить бездомного пса и т.п., – есть люди, живущие «скромно, улыбочиво и чисто». Например, старик возница (эпизодический герой в романе), помогавший перевезти небольшой скарб семьи мальчика в новый дом. «Телега наша спустилась под гору, на которой сейчас стоит Монумент Дружбы, и по гулкому под копытами мосту переехала малую речонку Сутолоку, коричневым блеском мерцающую на дне глубокого оврага. Из оврага тянуло сыростью и запахом шиповника. Налеву показалась церковь – стройненькая, голубая и радостная себе самой. Возница снял холщовую фуражку и перекрестился. Я подивился его смелости. Мама и бабушка замерли уважительно, но примеру его не последовали. Забоялись».

Дом, Дерево Жизни (тополь), сад, Вечная Женственность для П.А. Храмова – основа пространственно-временной и духовной памяти героя, составляющие некоего идеального мира, противопоставленного грубой бездушной, всё разрушающей, реальности. Реальности, находящейся на «другом берегу».

Категории времени и памяти, православные мотивы определяют особенности повествовательной структуры романа, лирическую субъективацию повествования, дискретность композиции и синтезированный характер хронотопа произведения. В эпическом храмовском тексте, действие в котором начинается в 1942-ом, а завершается примерно в 1985-х годах, соединяются разные пространственно-временные пласты, суждения маленького героя до-

полняются и расширяются взглядами зрелого повествователя, оценки которого вводятся в художественный текст с помощью таких фраз, как: «много лет спустя», «как я понял значительно позже...», «и тридцать лет спустя она продолжала верить...», «я думал-вспоминал сквозь дремоту» и т.п.

Поэтому так часто звучит в романе высказывание «я вспомнил», с которого часто начинается новый повествовательный фрагмент произведения: это обуславливает лейтмотивную композицию художественного текста, монтажные переходы между событиями в романе. Смысл названия полностью созвучен художественной идее храмовской книги. Писатель ставит перед собой задачу создать яркие, самобытные характеры иноков, людей глубоко верующих и хранящих крепкий нравственный стержень.

На место линейной сюжетной динамики выдвигаются ассоциативные механизмы памяти. Личные, глубоко интимные воспоминания героя подчас вбирают в себя прозрения об устройстве Вселенной и поворотах исторической жизни, глубокие обобщения и выводы, которые часто звучат афористично. Например: «Особая печаль непоправимости; я уже не догадывался, как в детстве, я уже знал, что суицид смущает наш народ – но зачем же тащить за собой всё живое. О, бесовское, о проклятое окаянство российского все-разрушения! Вечное, увы, окаянство»; «Это же просто, дружок: бессмертие души (Бог) и искусство (песня) – они же друг в друге находятся, ну как вода и кувшин»; «Детские ощущения всегда правы: только жизнь неколебимо убедила меня в злой бессмыслице любой борьбы и великой тщете любых побед».

С категорией времени и памяти непосредственно связан смысл финала романа. Не властно время над светлым, добрым, Божьим, поэтому и не исчезают из памяти героя образы родных и близких его сердцу людей: бабушки и дедушки, матери и отца, любимой с именем пушкинской героини Маши Мироновой, собаки Лобика, любимого тополя и родного дома, скромной церкви, стоящей в ти-

хом сиянии, лика нестеровского отрока, увиденного на незаконченном полотне художника в уфимском музее, и многое другое.

В ценностном строе памяти героя сквозным оказывается противопоставление прекрасного и безобразного, вечного и тленного. И вечным остаётся вопрос героя-повествователя о том, почему человек уничтожает прекрасное вокруг себя. «Убивать и ломать, ломать и убивать – неужели это в крови людской? Что думает Господь? Оставит ли он людям право на существование или, к рваной матери, сотрёт их с лица земли, чтобы спасти её – несчастную, изгаженную, поруганную эту землю. Господи, покарай взрослых, но пощади детей. Пощади, Отче наш, даже зная, что вряд ли они свернут с дороги отцов своих».

*Ирина Прокофьева*

## УФА ПЕТРА ХРАМОВА

### *Краткие краеведческие комментарии к роману «Инок»*

«Ах, какой это был дом!.. Весь деревянный, бревенчатый, с дивно вырезанным орнаментом наличников, карнизов и балкончиков, с крутой крышей и флюгером на ней, с островерхими ажурными башенками...», – одно лишь описание вызывает страстное желание увидеть этот дом. Но нет его, снесён давным-давно. Остались только фотографии. Одна, две... Целых три! Смотрит въедливый либо просто любознательный читатель на снимок и возникает у него уже не страстное, а просто вполне естественное желание, узнать – что за дом, кому принадлежал, почему снесён. Почему деревянный дом стал вдруг розовым, в конце-то концов?

Итак, всё по порядку. Красивейший деревянный дом на берегу Белой выше устья Сутолоки выстроил купец и промышленник В.А. Петунин. Цитата из рекламного объявления 1917 года: «Лесопильно-строгательный завод Василия Афанасьевича Петунина в Уфе. Торговля разным строевым лесом, разделочными тёсами и разной строганной обшивкой. Паровая, вальцовая механическая крупорушка и мельница». В других объявлениях Петунин сообщал также, что его фирма существует с 1894 г. Лесопильный завод Петунина, как и все другие подобные предприятия, находился в Никольском посёлке (Цыганская поляна). А вот указанная в объявлении мельница стояла в нескольких десятках метров от плашкоутного моста через Белую (между Оренбургским мостом и устьем Сутолоки – ул. Набережная, 54), в крайне удачном месте – она попала на многочисленные фотографии – как дореволюционные, так и советских лет. Кирпичное в четыре этажа здание в народе называли просто крупорушкой. Лушили там гречневую крупу, запах её чувствовался за сотни метров от здания. А рядом собирались тучи голубей. Самую большую в городе петунинскую мельницу в начале 80-х го-

дов прошлого века снесли, хотя здание было очень крепкое и его можно было использовать и дальше, например, перестроив под гостиницу. Сейчас на месте крупорушки – сквер с берёзками. Судьба же её бывшего хозяина до сих пор неизвестна.

Дом Петунина на набережной снесён в конце 1950-х (это отмечено и в романе). Ну а розовым он оказался по той просто причине, что наши домоуправы и завхозы почему-то очень любили (и любят?) белить или красить всё, что встречается на их «творческом» пути (почти как в мультике: «Но крашу, крашу я заборы, чтоб тунеядцем не прослыть»).

Пётр Храмов описывает и путь к чудо-дому, проходивший по улице Октябрьской Революции (бывшей Большой Казанской): «Я увидел много старинных и милых домов, их резные наличники и балконы осенялись тихими липами... Миновав белую пожарную каланчу, мы проехали мимо чёрного завода горного оборудования...». С наличниками и милыми домами согласен, но почему ж краснокирпичная каланча-то белая? Ах, да – завхозы...

Белая каланча (№ 69 по ул. Октябрьской революции) – чёрный завод: кажется, всё работает на эмоции впечатлительного мальчика. В годы войны завод горного оборудования выпускал снаряды и мины, а вообще-то история его началась ещё в 1898 году, когда купец первой гильдии Иосиф Иделевич Гутман открыл механическую мастерскую на улице Большой Казанской. Первоначально завод занимал большое двухэтажное здание, выстроенное ещё в первой половине XIX века. С 1933 г. он назывался заводом горного оборудования. В 2005 году производство переведено в Баймак, к лету 2007 г. все корпуса по красной линии улицы Октябрьской Революции, кроме заводоуправления, снесены. «Чёрного завода» не стало.

А вот дальше по тексту романа лично меня ждало недоумение: «Телега наша спустилась под гору, на которой сейчас стоит Монумент Дружбы... Налево показалась церковь – стройненькая, голубая и радостная себе самой». Всякому становится ясно, что речь

идёт о Сергиевской церкви. Начатую буквально на первых страницах тему этой церкви во второй части романа автор развивает через поход в Художественный музей и рассказ о Сергии Радонежском: «Из отцовских книг и разговоров я знал, что это "Видение отроку Варфоломею" – картина нашего земляка Михаила Васильевича Нестерова... В нашем музее был неоконченный её вариант».

«И что ж тут непонятного?», – спросят меня, процитировав М.И. Роднова: «При царе Алексее Михайловиче (правил с 1645 по 1676 годы) были выданы деньги "на церковное строение Рождественской церкви". Руф Игнатъев делает вывод: "Итак, первая церковь была построена стрельцами в честь Рождества Богородицы с приделом св. Сергия, но называлась всё-таки Сергиевскою"». Всё правильно, но как же Пётр Алексеевич «не заметил» Троицкой церкви, огромная колокольня которой возвышалась над Троицкой же площадью до 1956 года? На что грамотный читатель вполне резонно возразит: «А это вам не краеведческий трактат, а роман!» Так что я со своим недоумением смело могу, повторяя путь автора романа 1 сентября 1947 года, пройти мимо церкви. В сторону школы. Девятнадцатой.

«Я подошёл к молчаливо оглядчивой стайке мальчиков с такими, как у меня крохотными чёлочками», – читая книгу в первый раз, я даже не обратил внимания на эту деталь. А ведь точно, обучение в те годы было раздельным, существовали даже отдельные женские и мужские школы. В 19-й всё было гораздо веселее: мальчики и девочки просто учились в параллельных классах. Уж не знаю, была ли в этом заслуга тогдашнего директора Бориса Иосифовича Северинова или нет, но, скорее всего, выстроенная накануне войны огромная школа не собрала бы полного комплекта учеников одного пола.

Ещё лет сорок пять назад над Старой Уфой возвышались два главных силуэта – Сергиевской церкви и 19-й школы. Остальные строения попросту терялись в сравнении с ними. То, что в конце

1930-х школу начали строить неподалёку от храма, сегодня представляется едва ли не мистическим совпадением, тем не менее, вполне объяснимым: церковные храмы советская власть планировала заменить «храмами знаний». Вот и школа № 45 выросла рядышком с Никольской церковью, то же можно сказать о школе 39-й. А 10-я школа на Чернышевского и вовсе оказалась на месте снесённой церкви.

С началом Великой Отечественной новенькое здание 19-й школы занял госпиталь № 3887, ученики занимались в соседних стареньких домах. Директор её пошёл воевать, но под Сталинградом был ранен и попал в госпиталь. Ранение в голову оказалось тяжёлым, и его эвакуировали вглубь страны. Не было предела удивлению Северинова, когда он понял, что его привезли в Уфу. И уж вовсе он растрогался, оказавшись в своей родной 19-й, хотя бы и в больничной палате. Позже его комиссовали, и он вновь занял пост директора.

Итак, первое сентября семь десятилетий назад. Перед школой волнуется толпа учеников, многие из них здесь впервые. Внезапно появляется невысокий человек (далее идёт цитата из «Инока») «в сталинском кителе, галифе и сапогах. Вид начальника был почти стремительным и почти воинским.

- Все на мытынг, – сурово крикнул человек.
- Что за мудаки? – шепчутся мальчишки.
- Директор, – поясняют осведомлённые».

Так не без юмора описывал этот день Пётр Храмов. Давая словесный портрет Бориса Иосифовича, Храмов особенно много внимания уделил выражению его лица: улыбка была как бы чужда ему. Молодой директор (ему ведь не было ещё и сорока) образцом для поведения на людях избрал, как нетрудно догадаться, вождей. Зато дома весёлые розыгрыши оставались для него нормой до конца дней. Дочь Северинова Ольга Борисовна рассказывает, как однажды, ожидая подругу, попросила отца – он как раз собрался в ма-

газин – купить четыре «картошки» (популярное в те годы пирожное) к чаю. Он и принёс – четыре картофелины.

В 19-й у Пети работала мама, а вот как он попал в 40-ю школу (2-я часть романа), немного не ясно, наверное, просто ближе к дому. Располагавшаяся в одном из зданий бывшего Благовещенского женского монастыря (Сочинская, 12, ныне оно надстроено и его занимает Верховный суд РБ), школа эта была небольшой, но очень уютной: «Крутая лестница на второй этаж из литого ажурного железа походила на рисунок из учебника истории... Стены тоже поражали воображение – они были такими массивными, что маленькие мальчики могли возлежать на подоконниках не только вдоль, но и поперёк. И потолки были высокие... И эхо странное... На окнах первого этажа – решётки в виде пик и крестов в кружочках».

Кстати, здесь необходимо добавить, что и любимый тополь мальчика рос на территории бывшего монастыря, там же находился упомянутый в романе морг. Да и больница, в которой умирал Петин дедушка, тоже, судя по роману, стояла на его территории. Но это была больница многопрофильная (в конце 60-х она разрушилась), а вот городская туберкулёзная больница на улице Горького (Сочинской), если говорить честно, не была видна с берега Белой. Совсем рядом с ней, на Усольской, в здании, выстроенным легендарным книгоиздателем Николаем Блохиным, находилась ещё одна больница – тоже туберкулёзная, но уже республиканского подчинения. Но и её вряд ли можно было разглядеть с берега реки.

Да и кинотеатр «Луч» Пётр с друзьями никак не мог посетить в начале 50-х, ведь это здание было выстроено лишь в 56-м. Но нужна ли такая доскональная точность? Тем более, что Храмов безукоризнен в важных вопросах, деталях, которые подчёркивают основные черты, картины и даже запахи эпохи. А это главное.

*Анатолий Чечуха*

## УФИМСКИЕ МОЗАИКИ ПЕТРА ХРАМОВА

Наиболее яркими деталями уфимской архитектуры 1970-х годов, несомненно, являются монументальные мозаичные панно. А одним из самых талантливых художников-монументалистов этой был художник и писатель Петр Алексеевич Храмов.

Петр Храмов родился в 1939 году в Уфе, был сыном известного художника Алексея Васильевича Храмова. После окончания школы, учился в московском Строгановском художественно-промышленном училище, и в последствии как монументалист работал в Уфе и других городах республики. Это приносило ему достаточное материальное благополучие (заказы оплачивались очень неплохо), но не приносило творческого удовлетворения. Мозаики, во дворцах, главных зданиях предприятий были, пожалуй, наиболее идеологизированным видом советского искусства. Каждый эскиз проходил череду утверждений в горкомах, райкомах и прочих не склонных к художественным вольностям организациях. Об этом Храмов несколько раз упоминает на страницах, сейчас ставшего уже легендарным, романа «Инок». Но что, удивительно, находясь в условиях творческой резервации, талантливый писатель и художник, в своих монументальных работах сумел передать свое видение мира следующим поколениям, тем, кто будет читать его роман «Инок».

Петр Алексеевич Храмов в соавторстве с другими уфимскими живописцами работал над многими уфимскими мозаиками, но существуют три мозаичных композиции, которые являются индивидуальными работами художника. Находятся они на зданиях: Дворца культуры и техники (бывший ДК завода РТИ); Железнодорожного вокзала; и Детского сада № 245 (ул. Кирова, 37). И все три являются своеобразными иллюстрациями к «Иноку».

Панно на ДК РТИ было выполнено к 50-летию образования СССР. Можно предположить, что фигура молодой женщины, оли-

цветворяет главную республику – РСФСР, или саму страну. Но людям читавшим «Инок» совершенно ясно, что - это Маша. Круглое лицо, огромные «желтенькие» глаза. И странное дело... Ответственные работники, утверждавшие эскиз в более чем благополучной середине 1970-х, как-то упустили, или не заметили того, почему у женщины-олицетворения страны, такое сурово-тревожное выражение лица? Мысль, принадлежащая не мне – настоящий художник чувствует ветер, задолго до того как начинают клониться деревья. Пройдет совсем немного лет и нашу страну потрясут нелегкие испытания... Но у страны крупные, как у бабушки мальчика, крепкие ладони, в них она, - как надежду на спасение, держит ветвь. И эти мощные сильные руки, спасут, защитят, не дадут пропасть.

Еще одной иллюстрацией к «Иноку» в этой мозаике являются школьники, сидящие за партой – это мальчик и Маша. А юноша-солдат, по словам близких художника, - автопортрет самого Петра Храмова.

Еще одна особенность этого панно открылась мне внезапно. Мозаика выполнена не из смальты (кусочков цветного стекла) а из маленьких цветных керамических плиточек «ирисок». Кажется, что мозаика из них не так эффектна как из смальты. Но в один из весенних дней я оказалась здесь утром, когда яркие солнечные лучи ударили в эти плиточки лежащие каждая под чуть разным углом – вся композиция буквально горела, переливалась, жила!

Другая замечательная, очень нежная и камерная работа Петра Храмова, из мелкой керамической плитки и ее осколков, находится на здании детского сада бывшей «Витаминки» (Уфимского витаминного завода). Жаль, что она расположена во внутреннем дворике и с улицы почти не видна. На мозаике женщина с ребенком, - и это опять Маша. На панно напротив - мальчик. И, вот что меня удивило. На формально стандартной композиции счастливого советского детства, вдруг отдельно - две рыбки. В атеистические советские годы, и один из главных христианских символов!

В середине 1970-х Петр Храмов выполнил четыре мозаичных панно в строящемся здании нового Железнодорожного вокзала. На них нет человеческих фигур, но опять можно видеть многое, связанное с романом «Инок». Берег реки и холм – место очень похожее на берег реки Белой около Монумента Дружбы, где когда-то стоял чудесный дом-терем. На другом скачут уже навсегда свободные кони, и их гривы, струятся как волны. Еще несколько лет назад, одно из четырех панно (на стене, выходящий на платформы), от сырости и вибрации начало разрушаться. Работники вокзала своими силами пытались его реставрировать, обращались в союз художников, но никто не откликнулся. При начавшейся несколько лет назад реконструкции здания - оно было демонтировано.

Зимой 2015 года стало известно, что угроза уничтожения нависла и над другими композициями. В проекте реконструкции (разработанном давно, и не в Уфе) сохранение мозаик не было предусмотрено. В слабой надежде, что может что-то удастся сделать, я составила письмо к начальнику Куйбышевской железной дороги, которое подписали известные уфимские художники, литераторы, журналисты, в том числе участники литературного объединения УФЛИ и главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов,

Ответ от руководства РЖД оказался положительным, было принято решение – мозаики сохранить. Но при непосредственном проведении работ возникло множество сложностей. Реконструкцию необходимо было завершить до начала форума ШОС и БРИКС. Около одной из стен с мозаичным панно проектом предусматривалась установка шахты лифта для малоподвижных граждан. Из-за прокладки коммуникаций, установки нового оборудования, к большому сожалению, сохранить одну из мозаик не удалось. Возникли проблемы и с двумя другими, но было найдено техническое решение, при котором конструкции подвесного потолка не закрыли оставшиеся два панно. Руководство железнодорожного вокзала,

Башкирского отделения РЖД, строители - сделали все возможное. Спасибо им всем!

Наверное, многие помнят мрачные, грязно-серые стены старого вокзала. При новой отделке, на фоне бежевого мрамора, и при более ярком освещении, мозаики Петра Храмова заиграли совершенно по-другому. На средства строительной компании, проводившей работы, была установлена памятная доска – «Мозаики выполнены уфимским художником, писателем, автором романа «Инок» - Петром Алексеевичем Храмовым (1939-1995)».

*Янина Свице*

## БИБЛИОГРАФИЯ П.А. ХРАМОВА

1. Храмов, П. Инок : [фрагменты романа] // Крещатик : международный литературный журнал. – 2003. - № 22 ; 2004. - № 23 ; то же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kreschatik.kiev.ua>.

2. Храмов, П. Инок : роман-воспоминание // Бельские просторы. – 2008. - № 9. – С. 11-44 ; № 10. – С. 24-52.

3. Храмов, П. Инок : роман. Ч. 2 // Бельские просторы. – 2009. - № 10. – С. 9-29 ; № 11. – С. 8-33.

4. Храмов, П. Инок : роман. Ч. 3 // Бельские просторы. – 2011. - № 1. – С. 34-76.

5. Храмов, П. А. Инок : роман / П. А. Храмов. – Уфа : Китап, 2012. – 256 с. : ил.

6. Храмов, П. Инок : отрывок из романа // Истоки. – Уфа, 2012. - № 19 (10 мая). – С. 8-9.

7. Храмов, П. Инок : (отрывки из романа) // Современная уфимская художественная проза (1992-2012) : хрестоматия / сост. И. О. Прокофьева, П. И. Федоров ; редкол.: Л. Н. Голайденко, И. О. Прокофьева ; М-во образования и науки РФ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2013. – С. 20-42 ; то же: Современная уфимская художественная проза (1992-2012) : хрестоматия / отв. ред. В. В. Борисова ; сост.: И. О. Прокофьева, П. И. Федоров. – Уфа, 2015. – С. 20-42.

8. Храмов, П. Инок : отрывок из романа // Бельские просторы. – 2015. - № 7. – С. 13-21.

\* \* \*

9. Алмашева, Д. С. Образ Маши Мироновой в романе П. А. Храмова «Инок» // Литературная Россия Башкортостана в XXI веке / отв. ред. В. В. Борисова ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2015. – Вып. 2. – С. 7-12.

10. Борисова, В. В. Роман П. А. Храмова «Инок» в контексте традиции Ф. М. Достоевского и русской классической литературы : опыт изучения // Литературная Rossica Башкортостана в XXI веке / отв. ред. и сост. В. В. Борисова ; М-во образования и науки РФ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 8-14.

11. Борисова, В. В. Роман П. А. Храмова «Инок» в региональном и классическом измерении русской литературы // Литературная Rossica Башкортостана в XXI веке / отв. ред. В. В. Борисова ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2015. – Вып. 2. – С. 19-28.

12. Гафурова, С. Иная реальность «Инока» : [о романе «Инок» и его авторе] // Истоки. – Уфа, 2012. - № 49 (5 дек.). – С. 4.

13. Глинский, В. Долгая дорога от инобытия к любви : [о романе П. Храмова «Инок»] // Истоки. – Уфа, 2012. - № 20 (16 мая). – С. 11.

14. Каким на самом деле был Петр Храмов, автор романа «Инок»? : [беседа журналистки С. Гафуровой с уфимским художником Н. Пахомовым] // Истоки. – Уфа, 2013. - № 31 (7 авг.). – С. 4, 13.

15. Михайлова, А. Г. Столкновение двух моделей этической нормы в изображении войны в романе П. Храмова «Инок» // Система непрерывного педагогического образования: проблемы функционирования языков и литератур в полиэтническом Башкортостане : материалы региональной науч.-практ. конф., посвящ. Году Учителя и Республики Башкортостан / редкол.: Н. У. Халиуллина [и др.] ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2010. – Вып. 10. – С. 62-63.

16. Михайлова, А. Г. Этическая функция сакрально-богослужебной лексики в изображении войны в романе П. Храмова «Инок» // Инновационные потенциал молодежной науки : материалы респ. науч-практ. конф. 21 мая 2010 г. / под ред. А. Ф. Мустаева ; Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2010. – Т. 2. – С. 66-68.

17. О музыке и о жизни : [о выходе в издательстве «Китап» романа П. Храмова «Инок»] // Рампа. – Уфа, 2012. - № 4. – С. 3.

18. Петр Храмов: о времени и о себе : [о презентации кн. П. Храмова «Инок» в Национальной б-ке РБ им. А.-З. Валиди] // Рампа. – Уфа, 2012. - № 11. – С. 3.

19. Прокофьева, И. Инок : художественное своеобразие повести П. Храмова // Бельские просторы. – 2013. - № 12. – С. 163-168.

20. Спасенный шедевр : [о презентации кн. П. Храмова «Инок» в Национальной б-ке РБ им. А.-З. Валиди] / П. Федоров // Истоки. – Уфа, 2012. - № 45 (7 нояб.). – С. 2.

21. Тимирханов, В. Р. Эйдетика света в языковом пространстве уфимского романа П. Храмова "Инок" / В. Р. Тимирханов, А. Г. Михайлова // Слово на перекрестке языков и культур : межвуз. науч. сб. / отв. ред. Л. А. Сергеева ; Башк. гос. ун-т. – Уфа, 2011. – С. 125-128.

22. Федоров, П. Хрустальный крест : [о романе-воспоминании П. Храмова «Инок»] // Бельские просторы. – 2011. - № 1. – С. 83-88 ; то же: Литературная Russia Башкортостана в XXI веке / отв. ред. и сост. В. В. Борисова ; М-во образования и науки РФ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 98-110.

23. Федорова, Л. Н. Урок литературы по творчеству П. А. Храмова // Литературная Russia Башкортостана в XXI веке / отв. ред. и сост. В. В. Борисова ; М-во образования и науки РФ, Башк. гос. пед. ун-т им. М. Акмуллы. – Уфа, 2014. – С. 94-98.

24. Храмова, О. Художник, написавший книгу : воспоминания о П. А. Храмове // Истоки. – Уфа, 2015. - № 34 (26 авг.). – С. 12.

25. Ясенев, М. [Рец. на кн.: Храмов П. Инок / П. Храмов. – Уфа : Китап, 2012] // Бельские просторы. – 2012. - № 8. – С. 168.

*Составитель П.И. Фёдоров*

## СОДЕРЖАНИЕ

Фёдоров П. Летопись советских времён .....	3
Храмов П. Инок: роман-воспоминание .....	25
Часть первая .....	26
Часть вторая .....	146
Часть третья .....	243
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	321
Прокофьева И. «Остановившимся взором памяти...»: образ смиренномудрой детской души в автобиографическом романе Петра Храмова «Инок» .....	322
Чечуха А. Уфа Петра Храмова: краткие краеведческие комментарии к роману «Инок» .....	331
Свице Я. Уфимские мозаики Петра Храмова .....	336
Библиография П.А. Храмова .....	340

*Пётр Алексеевич Храмов*

## **ИНОК**

*Редактор-составитель: П.И. Фёдоров*

*Корректор: Л.И. Ильина*

*Дизайн обложки: А.В. Кондров*

*Компьютерная вёрстка: А.А. Словохотов*

Подписано в печать 05.03.18. Формат 60x90/16  
Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman  
Усл. печ. л. – 9,62 Тираж 20 экз.  
Заказ № 2/18

Отпечатано в издательстве А.А. Словохотова  
450052, Уфа, ул. Аксакова, д. 72